ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС



ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

•

КНИГА ПЕРВАЯ

ДЕМИДОВЫ



МИНСК
«ПОЛЫМЯ»
1988

ББК 84.4Р7
Ф33

Печатается по изданию:
Федоров Е. А. Каменный Пояс: В 3 кн. Кн. I: Демидовы.— М.; Л.: Худож. лит., 1964.— 391 с

Ф $\frac{4702010200-160}{М\ 306(03)-88}$ БЗ 3—88

ISBN 5—339—00128—8 (Кн. 1)
ISBN 5—339—00262—4



ЧАСТЬ 1

Глава первая

1

Время было неспокойное: готовились к войне с Туретчиной, бунтовали раскольники, уходили помещичьи тяглецы от невыносимого крепостного гнета, бежали люди от страшной рекрутчины, от воеводских притеснений и от поборов крапивного семени — приказных ярыжек. Беглые сбивались в шатучие ватажки; на путях-дорогах от них было тревожно и опасно.

Толмач Польского приказа Шафиров торопился по неотложному государеву делу в Тулу. Зима стояла морозная, вьюжистая. Под крытым возком тягуче поскрипывали полозья, сильно укачивало — сон слипал очи. Шафиров подремывал.

Сбоку возка, над голубыми снегами, катился месяц. Мимо бежали запорошенные снегом боры, ельники да придорожные кусты.

Под самой Тулой, когда приветливо замигали долгожданные огоньки, бородатый ямщик накрутил на руки вожжи, взвизгнул, загоготал и бесшабашно погнал коней под угорье. Возок с разбегу нырнул в ухаб, подпрыгнул, Шафирова подбросило; он вздрогнул и открыл глаза.

Впереди чернели оголенные кусты; на дороге стоял великан, растопырил ручищи и поджидал возок.

«Разбойник! — ожгла догадка Шафирова.— То-то разбойный посвист, то-то гогот!»

Храбрый и ловкий царский сподручный ездил всегда без охраны. Схватил он спросонья знатный дорожный пистолет — и по разбойнику.

А пистолет-то и не стрельнул, испортился.

«Эко, дьяволище, чем же теперь обороняться?» — струхнул Шафиров, и на лбу его выступил холодный пот.

— Э-ге-гей! — не примечая шафировского страха, заорал ямщик, кони взметнули и стрелой пронесли мимо дуплистого дерева, тянувшего над дорогой толстые узловатые сучья.

— Ух ты! — с шумом выдохнул Шафиров.—А я-то думал...

Толмач отвалился к спинке саней и облегченно закричал ямщику:

— Шибчей гони!

Огоньки Тулы замелькали чаще и приветливей, запахло дымком. На заставе сторожевые люди окрикнули:

— Стой, кто едет?

— Пади! — заорал ямщик и промчал мимо будочников; под тройкой закружилась снежная пыль.

На ночлеге Шафиров закручинился; добрый дорожный пистолет попортился, не работал. Пистолет тот был работы немецкого мастера Кухенрейтера, бил безотказно и метко.

В горнице, в которой расположился на ночлег вельможа, стояли жарынь и тишина; за печкой, шурша, ползали усатые тараканы, на столе в шандалах потрескивали сальные свечи. Подле них склонился тульский воевода в кургузом мундирчике и в буклях, посыпанных мукой, и рассматривал пистолет.

— Дивной работы,— удивлялся он,— а только извольте не кручиниться, враз горе изживем. В Кузнецкой слободке есть у нас кузнец Никита Антуфьев, так кузнец тот не токмо пистоль может исправить, а самого черта подкует!

Шафиров питал страсть к хорошим ружьям и пистолетам и, как заслышал про тульского кузнеца, обрадовался:

— Гони, воевода, холопьев до кузнечишки да накажи, ежели пистолет мой счинит — сто рублей жалую. Ежели испортит — будет бит плетями.

Перед Шафировым стоял полуштоф, на глиняном блюде — моченые рыжики. Сам Шафиров крепок, скуласт, низенький, но проворный, с влажными улыбающимися глазами, готовыми понять все на лету. В свое время он попался на глаза царю, и за башковитость и расторопность Петр Алексеевич быстро возвеличил его. Если что надумал Шафиров — вынь да положь! Скор он

был на дела и на руку. В ожидании тульского мастера гость принялся за ужин.

Тем временем за полночь разбудили кузнеца Никиту Антуфьева передать ему наказ царского посланца. Кузнец еле очухался от сна, поднялся, всклокоченный, злой:

— Пошто разбудили?

Ему в руки — пистолет работы мастера Кухенрейтера:

— Можешь починить?

Кузнец глянул на пистолет, разом соскочил сон; оружейник, положив на ладонь пистолет, залюбовался:

— Важнецкая работа, да-к... Непременно сделаю! Отчего же?

А сам глаз от пистолета оторвать не может: тонкая, диковинная работа приковала взор сметливого тульского кузнеца.

2

Спустя три дня в воеводскую избу явился кузнец Никита Антуфьев и настоял, чтобы его допустили к самому царскому посланцу. У Шафирова в ту пору шли важные государственные дела. По воеводским привольным горницам толкался народ. Потребовал к себе Шафиров знатных тульских служилых людей, купцов, подрядчиков, военных — ко всякому он имел неотложные поручения — и распекал нерадивых. Требовал срочного литья, от купцов — пеньки, добротного тесу. Затевал царский сподручный большие дела.

Со страхом доложили Шафирову:

— Пистолет кузнечишка припер, да со своих рук не спущает, самому передать намерение имеет.

Шафиров — дела в сторону:

— Веди!

Народ засуетился. Кузнеца Никиту Антуфьева ввели в горницу. Шафиров поднялся с кресла, невтерпеж: «Что стало с пистолетом столь знатной работы?»

Народ в стороны раздался. Стоит кузнец Никита Антуфьев один посреди горницы — высокий, голова под потолок, статный, плечистый, бородища — черной волной. На ладони — пистолет.

Шафиров подошел к рослому кузнецу, хлопнул его простецки по плечу:

— Сделал?

— Спытайте! — Кузнец протянул Шафирову пистолет.

Вельможа с жадным огоньком в глазах дорвался до пистолета. Военные, бородатые купчишки да приказные кругом сгрудились. И самим как-то лестно стало:

— Ай да тульский кузнец, такой пистолет наладил!

Шафиров повертел, покрутил в руках пистолет, крякнул от удовольствия:

— Гоже!

Тут он неожиданно хмуро сдвинул черные брови и строго посмотрел на кузнеца:

— И мой и не мой пистолет. На моем метка, а на этом — нет!

Кузнец улыбнулся, на закопченном лице блеснули крепкие зубы:

— Верно, боярин, пистолет этот не твой, а моей собственной работы!

Шафиров поднял на кузнеца изумленные глаза:

— Не может того быть!

Кузнец с хитринкой усмехнулся в цыганскую бороду.

— У твоего пистолета, боярин, попортилась затравка, постарался исправить. А чтобы не скучно было, не угодно ли тебе, боярин, взять два пистолета вместо одного.

Вынул кузнец из-под полы другой пистолет столь же отличной работы и совершенно под стать первому. Шафиров глянул на пистолет, глаза загорелись:

— Близнецы!

Стали испытывать и сверять пистолеты: стреляли, вертели в руках, приглядывались до боли в глазах и никакой разницы между пистолетами не нашли.

— Ой, как гоже!

— Ай да кузнец!

— Вот те ружейник! Не токмо солдатские фузеи[1] готовить может, но, статься, и пистолеты на немецкий лад.

— Сколь превосходные вещи! — развеселился вдруг Шафиров.

— А ты, сударь, получше вглядись в другой пистолет! — Кузнец поднял черные как уголья глаза на Шафирова, взял пистолеты из рук вельможи и показал секретную меточку. По ней-то Шафиров и признал, что один из пистолетов действительно подлинной работы

[1] Мушкеты, ружья.

Кухенрейтера, а другой сделан самим тульским кузнецом.

— Молодчага! — хлопнул кузнеца по плечу Шафиров.— Эй, чару!

Кузнец степенно поклонился, глаза посуровели:

— Благодарствую на том, не в обиду вам: хмельного в рот не беру.

— Гоже! — засиял вельможа, подошел к столу и выложил, как один, сто серебряных рублей.— Жалую за сметку.

Кузнец чинно, неторопливо собрал со стола деньги и уложил в карман.

Шел ружейник домой и ног не чуял под собой. Шутка ли — сто рублей! Вон куда метнуло!

В эти минуты вспомнилось кузнецу былое, как он с батей пришел по горести из родной деревеньки Павшино в Тулу, в Кузнецкую слободу, и стали они искать свое счастье. Батя, Демид Григорьевич Антуфьев, отличался отменным здоровьем, был крепок, в небольшом возрасте, всего под сорок годков, и с ранней юности занимался кузнечным мастерством. С давних-предавних времен Тула и весь обширный край славились рудами, окрестные крестьяне добывали их и плавили железо. Уже в шестнадцатом веке домашний способ производства железа из глыбовой руды[1] был широко распространен в этой местности. Ручные горны можно было встретить во многих домах крестьян и в Дедиловском районе и под самой Тулой, в деревне Павшино, в которой проживали Антуфьевы. Выплавляли крестьяне железо в примитивных печах-домницах и сбывали его тульским вольным кузнецам, которые выделывали из него пищали, самопалы, копья, сабли, плужники, ножи да топоры. Кустарным оружейным промыслом занимались из поколения в поколение и Антуфьевы. Когда подрос сын Никита и обучился у дьячка грамоте, он стал подбивать батю перебраться в Тулу, в Кузнецкую слободу. Славилась она старинными мастерами-самопальщиками, которые по тем временам достигли немалого искусства в изготовлении холодного и огнестрельного оружия. Умело и тонко они украшали его богатой резьбой, разнообразной чеканкой, именуемой тульской черныю. Влекло Антуфьева и то, что кузнецы этой слободы, внесенные в казенные списки — «казюки», освобождались от пода-

---

[1] Бурого железняка.

тей и земских повинностей. Произошло это лет сто тому назад, когда по челобитью тульских кузнецов царь Федор Иванович велел «их, кузнецов, устроить в Туле за острогом особою слободою, а никаким людям, опричь их, кузнецов, не жить, и к посаду ни в какие подати и в никакие земские службы от них, кузнецов, выбирать не велено».

Однако, несмотря на царский указ, наряду с «казюками» в слободе оставалось немало кузнецов и среди посадского люда. Постепенно и их привлекали к самопальной работе: некоторые из них были «взяты по ремеслу из посаду в самопальные мастера». Так постепенно, из года в год, из десятилетия в десятилетие складывалось тульское оружейное сословие, куда и стремились попасть Антуфьевы.

В ту пору, когда устроились Антуфьевы в Кузнецкой слободе, тульские самопальщики были подчинены Московской оружейной палате. Каждогодно по государеву наказу они доставляли в Москву две тысячи пищалей, по цене двадцать два алтына и две деньги[1] за пищаль.

Вся работа самопальщиками выполнялась по домам, и каждый знал только свое дело: одни делали ложа, другие занимались заваркой стволов, третьи мастерили замки и другие оружейные части. Самая трудная и главная работа была заварка ствола. Антуфьевы знали это дело хорошо. Нагретую длинную железную пластину батя ударами молота сгибал в трубку, а шов мастерски сваривал — вот и готово дуло! Никита приваривал к нему казенную часть ствола, а дальше шла отделка: канал сверлили ручными сверлами, поверхность отделывали напильниками и на точиле. К той поре на других дворах кузнецы ковали штык и части замковые, слесари-отдельщики отрабатывали их до блеска. А мастера-ложники по своим дворам делали ложа и производили сборку оружия. Никита был столь любознателен, что в скором времени сам научился все делать. Был он лих и горяч в работе. Суровые денечки выпали ему в Кузнецкой слободе, но могучий характер да золотые руки выручили кузнеца Антуфьева. Работа у тульских самопальщиков напряженная, все жилушки выматывала. То с молотом, то у горна, где жар да брызги раскаленных искр. От такой работы к вечеру пошатывало, как хмель-

[1] Шестьдесят семь копеек.

ного. Батя Демид Григорьевич не выдержал каторжной работы, вскоре занедужил и помер. Остался один Никита в Туле; он не сдался, крепко вгрызся в работу. Отличался он от других своих товарищей искусством да яростью в деле. Свирепо хотел выбиться в люди.

Хотя царские власти и не делали никакого различия между казенными и вольными кузнецами, однако сметил Никита Антуфьев, что кузнец от кузнеца рознился. Среди них выделялись «пожиточные» люди. Сами они оружейной работой не занимались, а поставляли оружие в казну, скупая его у своей братии, оскудевших кузнецов. Эти «скудные» оружейники и занимались выделкой оружия, а «пожиточные» завели многие лавки и торговые промыслы.

Хорошо оглядевшись и скопив небольшие деньги, Никита понемногу сам стал скупать оружейные части, а то сдавать работенку и наживаться потихоньку на труде других. Скупая у «скудных» самопальщиков стволы, замки, ложа, он быстро и как-то незаметно, без шума пошел в гору и вскоре обрел силу в Кузнецкой слободе. Прошло еще несколько лет, и его избрали слободским старостой.

Обретя влияние и силу в Кузнецкой слободе, Никита Антуфьев все же не отошел от мастерства, которому был предан всей душой. К этому времени он женился на статной и красивой слобожанке, принесшей ему приданое. Пошли дети, а среди них крепкий и сметливый Акинфка-сын, перенявший от отца оружейное искусство...

Было Никите сорок годков, когда он попал на глаза царскому посланцу Шафирову. Хотя он стал заметно лысеть, но силы был могучей, нравом веселый и цепкий в работе. В этот памятный день возвращался он весьма довольный встречей: в карманах побрякивали рубли.

«Вот они, сто целковиков! С них куда больше дело разгорится! Дороги деньги, да еще дороже честь!» — с гордостью думал кузнец...

Спустя несколько дней Шафиров возвращался по старой дороге из Тулы в Москву. Трещали январские морозы, блестели парчой снега, крутили-голосили метели. Запахнувшись в волчью шубу, Шафиров прощупывал упрятанные под ней два пистолета. От поскрипывания полозьев, от санного укачивания обуревал сон, но сквозь дрему Шафиров думал:

«Гляди-кось, наш тульский кузнец не хуже немчуры Кухенрейтера ладит пистоли! Поди, лучше, проворней. Ось-ка я мин герру Петру Алексеевичу о нем доложу».

3

Царь Петр Алексеевич в своем стремлении к морю на деле увидел, сколь бедна Россия фабриками и заводами. А между тем в стране все было для умножения производства. Кругом таились неисчерпаемые сокровища: горы, богатые рудами, дремучие леса, изобилующие драгоценным пушным зверем, многоводные рыбные озера и реки, неоглядные плодородные равнины. Но богатства эти из-за нерадивости бояр лежали втуне, равнины простирались незаселенными, плохо возделанными, городишки были редкие, деревянные, села разорены алчностью бояр. Уныние скребло душу Петра от этой неприглядной картины, еще горше ему стало, когда он столкнулся с положением горного дела. Нужны были пушки, ядра, фузеи, гвозди, и во всем этом была зависимость от иноземцев. Металлы, прежде всего железо, привозились из-за границы. Железо славилось свейское[1], провоз был труден, цены непомерные. Царю было очевидно, что в будущей войне со Швецией туго будет с железом. Хочешь не хочешь, а думай о своем металле. Россия — страна обширная, много в ней гор и рудных земель: и под Липецком, и под Тулой, и в Олонецком крае, и под Устюжной, и на востоке — Каменный Пояс, а в недрах их неисчерпаемые богатства. Ко всему этому русские люди были известны как рудознатцы, умеющие найти руды и плавить их. Многовековый опыт накопился в русском народе. В давние-предавние времена седой старины славяне с железными топорами, косами и сохами пробирались по лесам, занимали девственные земли, выжигая и выкорчевывая чащобы на участках под пашню, строили починки и деревни. Русские издавна выплавляли железо в сыродутных горнах с ручными мехами — получалось губчатое железо, и оно легко отделялось от посторонней примеси ручной проковкой железными молотами. Старинные умельцы строили и небольшие шахтные печи, которые получили название домниц. Одним из древнейших мест, где знали добычу и плавку железа, была Устюжна. Этот старинный русский

[1] Шведское.

город лежал при устье Ижины, впадающей в Мологу. С незапамятных времен жители Устюжны были кузнецами, плавили железо из руды. А руду эту добывали на восток от города, в урочище, которое звалось Железным Полем, поэтому и сама Устюжна получила прозвище «Железнопольской». Известно из летописей, что новгородцы издавна добывали железо в своей земле. По древним актам ведомо, что в очень давние времена в Печорском крае крестьяне сами делали медную посуду, а медь для этого выплавляли из местной руды. Эту посуду они доставляли в Архангельск для продажи иноземцам. Еще в первой половине тринадцатого века князь Даниил Галицкий имел «кузнецов меди». Они добывали медь и отливали медные колокола. Великий князь Иван III вызвал из Венеции известного мастера Аристотеля Фиораванти, который и начал в Москве в 1479 году литье пушек. По изготовлению оружия древняя Русь шла уже в шестнадцатом веке впереди Запада. В старинных мастерских русские изготовляли орудие, заряжавшееся с казенной части, и много было умного по идее, совершенного по исполнению. В этом же веке русские литейщики начинают вытеснять иноземных мастеров. Всему миру известны были искусные русские мастера Андрей Чохов, Булгак Наугорородов, Семен Дубинин и многие другие.

Все было в стране, чтобы развить горнозаводское дело. Царь Петр Алексеевич всерьез помышлял о горном деле. Он выписывал из-за границы знатоков, но все это было не то. Ему хотелось широко и по-хозяйски поставить горное дело. Не десятки и сотни пудов железа нужны были для затеянного им большого дела, а десятки и сотни тысяч. Притом рудознатные мастера из иноземцев хотя и знающие, но люди чужие и пришлые. Дело ж требовалось ставить по-иному: для разработки рудных богатств нужны были свои, сметливые, дерзкие и предприимчивые люди.

В 1696 году через Тулу в Воронеж проезжал царь Петр. Наслышавшись от Шафирова о тульских ружейных мастерах, он остановился на несколько дней в Туле. С собой Петр привез алебарду иноземного образца и пожелал заказать в Туле такие же алебарды.

Пригласили к царю тульского кузнеца Никиту Антуфьева. Царь увидел самопальщика и пленился высоким ростом, силой и статностью богатыря.

— Глядите,— показал он окружающим боярам и

купцам на кузнеца.— Вот молодец, годится в Преображенский полк!

Кузнец хмуро опустил голову.

— Ты что, оружейник, солдатчины испугался? — спросил царь.

— Никак нет, государь. Ремесло самопальное жаль оставить. Больно пó сердцу мастерство! — ответил Никита.

— Коли так, кузнец, сделай триста алебард по сему образцу. Видать, солдатом тебе не быть, другая стезя выпала!

Кузнец внимательно осмотрел иноземную алебарду, поднял на царя жгучие глаза.

— Ну как? — спросил царь.— Сможешь смастерить такие?

— Наши русские алебарды получше, государь, будут!

Петр засиял, сгреб кузнеца за плечи. Силы в нем — горы воротить, ростом вровень с кузнецом, засмеялся весело ему в лицо:

— Ладно! Только смотри, как бы не вышла пустая хвальбишка. За похвальбу самолично отхожу тебя. От меня, кузнец, никуда не укроешься — со дна морского сыщу. Слышишь?

— Слышу,— поклонился кузнец.— Разреши идти за дело браться?

Такая быстрота государю пришлась по душе.

4

Кузнец сдержал свое слово, работу исполнил вдвое скорее, чем назначил царь, и алебарды доставил в Воронеж.

Петр Алексеевич самолично осмотрел и проверил доставленные алебарды, остался весьма доволен их добротной отделкой, отпустил кузнецу Антуфьеву из государевой казны втрое против того, во что они обошлись. Сверх того пожаловал тульскому кузнецу важнецкий отрез сукна на платье и серебряный ковш да посулил на обратном пути в Москву заехать к нему в гости и испить из того ковша.

И царь сдержал свое слово. Проездом через Тулу он завернул в Кузнецкую слободу и среди бревенчатых строений отыскал кузницу Никиты.

...Двери кузницы были раскрыты настежь, косые лу-

чи солнца падали на утоптанную землю. В полутемной кузне пылали горны; кузнецы и молотобойцы, полуголые, в стоптанных лаптях, с засученными рукавами, проворно хлопотали у наковален. Шипели и охали мехи, звенели наковальни, из-под молотов дождем сыпались искры. Царь с любопытством разглядывал горячую работу. Кузнец Никита, в кожаном фартуке, держал раскаленное железо, а сын — плечистый, круглолицый Акинфка — бил молотом. Никита ухом не повел, завидя царя в кузнице, докончил дело, сунул скованное в бадью с водой — в ней зашипело, взвился пар.

— Здоро́во,— сказал Петр.

— Здоро́во, ваше величество,— степенно поклонился Никита.

Царь был долговяз; большие темные глаза слегка навыкате. От него пахло крепким табаком, водкой и едким по́том. На нем был поношенный темно-зеленый с медными пуговицами преображенский мундир.

— Дай-кось,— потянулся Петр к наковальне.— Дай-кось, кузнец, испробую.

Никита повел жесткой бровью, сын Акинфка проворно кинулся к нему, от отца — к наковальне. Гость повернулся к кузнецу:

— Показывай образец!

Никита вынул из бадейки закаленный багинет[1].

— Вот, ваше величество.

Царь вгляделся в образец и схватился за молот:

— Держи!

Посыпались искры; Петр ковал крепко и будто ладно, а когда показал Никите скованное, кузнец поморщился, сплюнул:

— Негоже, государь. Подмастерка не дам за такую работу.

Царь сбросил мундир, засучил рукава, обрядился в кожаный передник и рявкнул:

— Давай еще!

Акинфка со страхом поглядывал на царя. Огромный, плечистый, усы взъерошились, лицо заблестело от пота, перемазано в саже; освещенный красным заревом горна, Петр щурил выпуклые глаза и приговаривал:

— А-га-га... Ладно! — И ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались огненным дождем да наковальня дрожала и гудела, готовая, казалось, рассыпаться под молотом.

---

[1] Штык.

Акинфка сиял от восторга:

— Вот так царь! Даром не ест хлеба. Получше другого кого бьет молотом.

До полудня знатный гость проработал в кузнице Антуфьева. Царю по душе пришлось, что подмастерья и работные люди не толпились, не любопытствовали зря. Работа и при нем кипела своим чередом. Строгий взгляд Никиты никому не давал передышки: люди работали умело и споро.

В полдень Петр тут же умылся над бадейкой, надел преображенский мундир:

— Ну, кузнец, веди к столу.

Подергивая судорожно плечом, царь вышел из кузни и пошел вдоль улицы. Шел он солдатским шагом, помахивая на ходу правой рукой; шаги его были так быстры и широки, что кузнецы еле поспевали за ним.

В доме Никиты Антуфьева было чисто, опрятно; обстановка горницы — под стать хозяину: проста и сурова. Дубовый стол, крытый льняной скатертью; в углу иконы, перед ними — огоньки лампад; вдоль стен — дубовые скамьи, на полу — домотканые половики. На столе — немудрая еда: щи с бараниной, пирог с говядиной. Кузнец подошел к горке, вытащил даренный царем серебряный ковш и налил виноградного вина.

За цветной занавеской зашептались женщины. Петр покосился на занавеску и приложился к ковшу. В ту же минуту он поморщился, фыркнул и отставил ковш. На его лбу собрались морщинки; он повел бровью:

— Ну и дрянь! Не к лицу русскому кузнецу держать такое вино!

— Государь! — испуганно сказал Никита.— Ни в жизнь я не брал в рот хмельного. В металлах толк разумею, а в хмельном — что курица! И припас французское только для такой радости!

По правой щеке царя прошла легкая судорога:

— Отнеси ты, кузнец, это добро назад, а мне подай-ка лучше нашего русского простяка!

Никита живо поднес русской водки, гость выпил, крякнул; остался доволен.

— Где хозяйка? — спросил Петр.— Куда женку упрятал? Зови к столу.

Охота не охота, а пришлось кузнецу звать женку к столу. Вошла молодайка, румяная, круглая, с густой бровью, статная. Царь весело поглядел на бабу и пожелал:

— Хочу, хозяйка, из твоих рук меду испить.

Баба зарумянилась, поклонилась.

Выкушал гость из рук жены Никиты ковш меду, опять крякнул, обнял хозяйку и сочно поцеловал. У вспыхнувшей стыдливым румянцем женщины от царского поцелуя закружилась голова, пол заходил под ногами: «Эк как! Царь, а покрепче кузнеца целует!»

Отобедав, Петр уселся в свой возок и повелел Никите вместе с ним ехать в воеводскую избу. Там он показал иноземное хорошо сработанное ружье и спросил:

— Что, Демидыч, можешь ли ты такие сделать?

Никита взял в руки немецкое ружье, пытливо, с пристрастием осмотрел его; по губам скользнула улыбка.

— Ружьишко справное, ваше величество,— повел черными глазами Никита.— Однако наши тульские кузнецы не уступят немцам. И сделаю я тебе, государь, получше этого — с меньшей отдачей!

В голосе кузнеца звучала уверенность. Царь взглянул на туляка и улыбнулся:

— Руки у тебя, Демидыч, золотые. Смотри не осрамись! Поджидаю тебя в Москву в гости с теми ружьями.

— Будет по-твоему, государь,— твердо сказал кузнец.

Оба засмеялись, довольные друг другом.

Глава вторая

I

Тульский кузнец Никита Антуфьев крепко помнил царский наказ. А тут еще в Тулу дошли слухи о предстоящей войне со шведами; на заводы наехали дьяки и подьячие Пушкарского приказа, торопили с литьем. От них-то дознался Никита, что царь достает солдатские ружья с великой нуждой, платя иноземцам за каждое по двенадцать, а то и по пятнадцать рублей.

Никита заторопился. Из последних сил выбивались ружейники, от натуги в грудях хрипело; родной сын хозяина Акинфка с лица спал от каторжной работы, однако не сдавал. Мать, жалея сына, отговаривала:

— А ты не дюжай. Неровен час, сломишься. Полегче!

Акинфка только плечом повел:

— Ништо, сдюжаю. Шутка ли, ружья самому царю свезем. Небось приветит.

Скуластому большеглазому Акинфке сильно по душе пришелся царь. Нравилось молодому кузнецу, что Петр Алексеевич был прост, добрый работяга, на слова и на руку крепок. Таил про себя Акинфка большую мечту: ежели такому царю по душе рассказать, что́ он, Акинфка, в мыслях держит, то, поди, разом по-иному повернется жизнь!

Молодой кузнец пошел в отца: крепкий, смекалистый. Тульские купчишки и знатные кузнецы, имевшие на выданье дочерей, невзначай забрасывали словечко Никите:

— Молодчага у тебя сынок, Никитушка. Такому бычку да на веревочке быть... Любая девка обрадуется.

Кузнец сурово сдвигал черные косматые брови; по его большому лбу рябью ходили легкие морщинки.

— Сам знаю. Рано жениться ему! Работать надо, мастерству учиться. Во как!

В Туле в брусяных хоромах купца Громова, обнесенных дубовым тыном, двадцатую неделю проживал дьяк Пушкарского приказа Утенков. Наехал он на ружейные заводы торопить с заказами и поставками. Дабы не скучать, навез с собой дьяк челядь, мясистую женку и дочку — румяную да смешливую девку с глазами что чернослив. Ее-то на богомолье заметил Акинфка и сразу решил:

«Стащу у дьяка дочку!»

Боязно было говорить с батей, грозный больно. В горнице притихали все, когда входил батя. Одного только Акинфку и жаловал кузнец.

— Ну, что сопишь, аль опять неполадка в кузне? — как-то наморщил лоб Никита.

Акинфка собрался с духом, поднял на батю серые глаза:

— Жениться хочу!

— Ишь ты! — улыбнулся Никита и запустил пятерню в смоляную бороду.

Сын потупил глаза в землю.

— Да-к,— крякнул кузнец.— Кого же приметил?

— Дьяка Утенкова дочку.

Кузнец схватился за бока:

— Ха-ха-ха... Мать, а мать, сын-то на дьякову дочь зарится. Слышишь, что ли, мать? А-ха-ха...

Дородная женщина неторопливо вышла из-за пестрой занавески и обиженно поглядела на мужа:

— А чем наш Акинфка не пара дьяковой дочке?

Никита ухмыльнулся в бороду, сказал едко:

— Губа не дура! Ин, к какому кусине тянется. Да-а... У дьяка вотчина, крепостные людишки, домишки да торговлишка на Москве, а дочка одна... Ловко!

Женщина осмелела, подняла серые глаза с черной бровью, и тут Никита в который раз заметил, до чего сынок схож с ней.

— Что же, что одна у дьяка дочка. Так и сынок у нас, Демидыч, не простофиля...

— Ой-ох-х, ну вас к богу,— отмахнулся Никита.— Не поднимайте сором на посадье. Поди, засмеют шабры. Я тебе, брат,— тут батька снова сердито нахмурился,— я тебе сватом не буду. Хочешь дьякову дочку — сватай сам...

Акинфка выпрямился, повел серыми глазами:

— Что ж? Сосватаю и сам.

— Ишь ты! — Тут батьке рассердиться бы, но упорство сынка пришлось по душе, он встал со скамьи.— Храбер бобер! А глазами весь в тебя, матка...

Женка Демидова зарделась: «Ишь разошелся батян».

Акинфка дел в долгий ящик не откладывал. Обрядился он в новину и пожаловал на купецкий двор. Дворовые холопы пристали с допросом: «Куда да зачем?»

Твердый характером Акинфка осадил холопов:

— Подите скажите дьяку: пожаловал к нему тульский кузнец Акинф Никитич, хочет о деле молвить...

Дьяк с вечера перехватил через край настоек, медов, объелся солений, блинов, уложил балычка с пол-осетра,— изжога проклятая мучила, да гудело в башке, как из пушек кто палил. Все утро надрывался дьяк от непотребных площадных слов. Ругал купчишек, мастеров, подрядчиков.

Тут о кузнеце доложили. Дьяк сам вышел на крыльцо. Купец Громов — богатей, по-боярски хоромы разделал. Крыльцо расписное, узорчатое, с резьбой: петухи, кресты, кружковины — все радовало глаз.

На высоком крыльце, держась за пузатый резной столб, предстал дьяк Утенков; бороденка у него мо-

чальная, морда лисья, хитрая. Стрельнул в Акинфку плутоватым глазом:

— Ты зачем, кузнечишка, пожаловал?

Акинфка шапки перед дьяком не сломил, сказал смело:

— По большому делу, дьяк, явился я. При холопьях как будто и не к месту.

Дьяк как индюк напыжился, налился краской: «Ишь ты, чертоплюй, шапки не ломает, не гнется. Не по чину нос держит».

— Эй ты, худородье, выкладывай тут, за какой нуждой пожаловал? — закричал с крыльца дьяк.— Чать, не в сваты пришел?

Акинфка насупился, поднялся на крыльцо:

— А может, и свататься пришел, почем ты знаешь? Хошь бы и так! Я с царем Петром Ляксеичем на одной наковальне ковал...

Дьяк глаза вылупил, от злости в горле заперхало. Повел рыжеватой бровью и закричал тонко, по-бабьи:

— Ах ты, тульская твоя... пуповина, в сваты... Ах ты... Тьфу!

Сочно плюнул под ноги. Акинфка-кузнец не сдался, схватил дьяка за полу кафтана, дернул:

— Ты-то не плюй, може еще сгожусь. Молви: отдашь дочку?

— Ух,— выдохнул дьяк.— Морок тебя возьми! Эй, холопы, гей!..

Со двора набежали людишки, схватили Акинфку. Он отбрыкивался, отбивался; не одному холопу покрушил зубы, посворотил скулы, но осилили его. Подталкивая кузнеца кулаками, холопы приволокли его на широкий купеческий двор, обнесенный дубовым острокольем. Не успел моргнуть глазами Акинфка, как ворота закрылись и загремели запоры.

Что это еще будет? Кузнец поглядел на островье тына и подумал: «Эх, перемахнуть бы через заплот».

В эту минуту в углу двора, в яме, шевельнулось бревно и показалась медвежья лапа.

— Ого! Вот оно што! — ахнул Акинфка.— На людей зверье спущать...

Он разом оглядел двор. Пусто. В окне купецких хором мелькнуло обеспокоенное девичье лицо. «Уж не она ли?» — подумал Акинфка и кинулся к заплоту; там стоял кол. Кузнец схватил его.

Медведь выбрался из ямы и пошел на Акинфку. Под-

нявшись на дыбы, зверь заревел, занес когтистые лапы, но Акинфка не зевал и дубовьем хватил зверя по голове. Кол разлетелся в щепы. Зверь рассвирепел, сгреб Акинфку, и оба покатились по земле. Кузнец изловчился, выхватил из-за голенища нож и всадил под медвежью лапу...

Смертельно подколотый, истекающий кровью, зверь еле уполз в яму. Акинфка разбежался и перемахнул через тын, оставив на остроколье полштанины.

Задами да огородами кузнец пробрался домой, умылся, переоделся в рабочее рядно и отправился в кузницу.

В кузнице батя с веселой усмешкой оглядел ободранное лицо сына и озорно спросил:

— Что, усватали?

Акинфка промолчал и сильнее заколотил молотом по звонкой наковальне.

2

Ружья слажены. Дула вытянули из доброго металла, отделали на совесть, ружейные ложа обладили из особой березы — умел ее подбирать Никита,— ложа те вырезаны искусно, плотно ложились в плечо, и оттого ружья били легко и метко. Мастерки работали у Никиты почитай за грош. Жадный и цепкий до работы, Никита выматывал силы людей без зазрения совести. Бились люди, как мухи в паучьих тенетах, день-деньской за один хлеб да квас.

Зато и ружьишки, прикинул Никита, обошлись дешево.

Снарядили обоз, погрузили ружья; приготовился кузнец Антуфьев в дорогу. Поклонился Акинфка батьке в пояс:

— Возьми в Москву.

Призадумался Никита, тряхнул бородой:

— Нет, погоди, сынок, не вышла пора. В другой раз. Лицо Акинфки омрачилось: до смерти хотелось ему повидать царя Петра. Бродили в молодом туляке неистраченные силы, искали выхода. И-их, заграбастал бы он всю Тулу и повернул бы все по-своему! Ждал он от царя радости. Но что поделаешь, коли батя приглушает пыл? Сдерживая буйную страсть, Акинфка смирился.

— Только ты, батюшка,— попросил сын,— поклонись царю Петру Ляксеичу от меня и замолви ему, что

тесно нам. Кузница наша махонькая, добывать руду негде, уголь жечь не с чего...

Никита сдержанно похвалил сына:

— Думки у тебя умные. Что ж, замолвлю перед государем словечко. Ну, а ты, женка, что наказываешь? — повернулся он к супруге и пытливо посмотрел на нее.

Женка подняла серые глаза и, встретясь с веселым взглядом мужа, озорно отозвалась:

— Скажи, что поджидаю его в гости.

— И-их, ведьма,— присвистнул Никита и оглядел женку. «Ничего бабенка,— довольно подумал он,— на такую и царь позарится... Ну, да царю можно... Эх-ма!»

Распрощался Никита с домашними и уехал в Москву. Знал кузнец до той поры Тулу да Воронеж, а Белокаменную по наслуху представлял. Сказывали бывалые люди: «Москва — горбатая старушка», то бишь стоит город-городище на горах да на крутых холмах. И еще сказывали: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят»; а то еще баили: «Славна Москва калачами и колоколами», а потому просили «хлеба-соли откушать, красного звона послушать».

«Какова-то она, Москва-матушка?» — думал Никита дорогой.

Стояла зима крепкая, здоровая, по-русски сугробистая и сияющая зимним лучистым солнцем. Дорога шла накатанная, Никита мчался впереди обоза с кладью, из-под копыт коней сыпались снежные комья, запорашивало глаза, в ушах свистел ветер. Возчик покрикивал:

— Гей, гей, вороные!

Кони и без того несли птицей. Вначале навстречу бежали боры, пустопорожние места, потом засерели боярские усадьбы, деревни. На другой день кони проносились через перевеянное снегом громадное озеро, за ним маячило сельцо. По озеру бегали люди. Загляделся Никита. Бородатые и безбородые молодцы, побросав сермяги, черные азямы, работали кулаками. Шел кулачный бой. Ватаги рассеялись по озеру, бегали с места на место; уханье и гогот кружились над оснеженным полем. Бойцы наскакивали друг на друга, дарили-угащивали увесистыми кулаками. Ой, любо! У Никиты зачесались руки, он выскочил из саней, отряхнулся, скинул варежки и схватился огромной пятерней за густую бороду. От бороды пошел парок: стаял иней.

— Ух-х! — крикнул кузнец, скинул на ходу дорожный тулуп и бросился к ватажке.

На взгорьях красовались девки, топтались старики. Народ волновался:

— Гляди, гляди... Ишь черномазый крушит! Откуда что взялось?

Кузнец разминал кости, гонял застоявшуюся кровь. Под его ударами люди падали, раздавались стоны, крики, ругань.

Отряхнулся Никита, повел черным глазом, а перед ним в легком шушуне стоит стройная чернявая девка, покрытая большим платком в роспуск.

Опустил кулаки перед девкой:

— Ты кто?

— Крепостная я. Может, и слыхали, дьяка Утенкова.

— Слыхал! — сказал Никита и предложил девке: — Садись, до деревни довезу!

Какой-то парень из ватажки орлом налетел на кузнеца. Туляк остановился, скинул шапку, склонил крепкую голову.

Быть бы тут крепкому бою, но девка оттащила кузнеца, вскочила в сани. И понеслись в сельцо.

У чернобровой девки горело от мороза лицо, блестели глаза.

Она смеялась хорошим смехом.

— Ты не бойся,— сказал кузнец.— У меня сын есть. Женить хочу. Как тебя звать?

— Дунька,— отозвалась девка.— А сын-то каков?

— Сын в меня,— похвалился кузнец.

— Ежели в тебя, пойду за него. Выкупай!

— Выкуплю!— уверенно сказал Никита.— Не я буду — выкуплю! Э-ге-гей!

Кони понесли от озера. Поднимая снежную пыль, разудало гремя бубенцами, тройка влетела в сельцо. Мимо замелькали избы из крепкого, кряжистого леса, хибары, кузница. Из ворот выбежали любопытные бабы:

— Гляди, цыганище девку уволок.

— Гони к старосте! — крикнул ямщику кузнец.

Кони подкатили к просторному, приглядному дому, крытому шатром в четыре ската. Девка выпрыгнула из саней и убежала к родным, а кузнец поднялся на крыльцо, стукнул кованым железным кольцом.

Дверь распахнулась, на пороге встретила сухопарая

старуха с умным лицом. Завидя хорошо одетого Никиту, она поклонилась ему:

— Милости просим, батюшка!

Кузнец вошел в избу, зорким глазом обшарил горницу, перекрестился на красный угол и уселся к столу.

— Ну, хозяйка, корми гостя. Изголодался в пути. Да не скупись, в обиде не будешь!

Вскоре на сковороде шипела румяная свинина. От приятных запахов во рту у кузнеца скопилась обильная слюна. В глиняной темной миске поблескивали промасленные блины, рядом — горячий горшок с топленым молоком. Вокруг стола по скамейке и подоконникам ходил черный кот, отфыркивался от аппетитных запахов, умильно поглядывал то на поблескивающее молоко, то на кузнеца и мурлыкал нежно, вкрадчиво.

— А ты не вертись, страхолютик! Брысь,— прикрикнула бабка на кота и ударила его ложкой.

Кот обиженно фыркнул и нырнул под лавку.

Кузнец неторопливо ел.

За окошком на улице ходили мужики в рваных армячишках, в стоптанных лаптях; всклокоченные, отощавшие крепостные боязливо поглядывали на оконце.

«Ишь как запуганы старостой»,— подумал кузнец.

Стоял февраль; до вешнего разводья оставались считанные дни. «Не успеть в Москву-матушку да обратно в Тулу до всполья — пиши пропало!» — беспокоился Никита.

В избу ввалился краснорожий мужик, староста.

— Продай девку! — попросил кузнец.

Староста бирюком поглядел на проезжего. Подумал: «Ишь выискался купец-молодец!»

— Дорога девка, не купишь,— отозвался он сумрачно.

— Куплю. Сколько хошь?

— Десять рублей.

Кузнец почесал за ухом:

— Дорого! Это ж баба, а не конь. Ух ты! Ну, куда ни шло, будь по-твоему!

— Ты что ж, батюшка, когда ее возьмешь? — спросила старуха.

— Поеду из Москвы и увезу! А пока поберегите девку! — наказал кузнец.

Торопился Никита к царю. Скоро столица: оживленнее стали дороги, встречались ратные люди, скакали

вершники, шли ополченцы, обгоняли боярские колымаги. В людных селах на въездах у царских кабаков шумно гомонил народ.

Утром подкатили к Воробьевым горам, на них тихий зимний простор. По голубому зимнему небу легко и неторопливо плывут облака, по краям золотистые от солнца. Воздух колкий, хрустальный. Легковесны и стройны опушенные инеем березы. В их затаенной глуши — звонкий морозный треск; дятел долбит сухие лесины.

На редколесье, на повороте, в дымках — Москва.

Зубчатые белокирпичные стены дальнего монастыря. Черные прозоры бойниц, кое-где виднеются тупорылые пушки. За зубчатой стеной блеснули алебарды. Никита окинул простор, вздохнул: «Вот оно как!»

За монастырем, за подернутой дымкой далью показались зубчатые стены Кремля. Вдоль них раскиданы зеленые шапки старинных башен, тайниц. Над ними — Иван Великий в позолоченной шапке. Церкви, церквушки, часовенки, зеленые черепичные перекрытия, красные, глазурные, с синеватым отливом; золото, серебро, слюда — все блестит и переливается на морозном воздухе.

Москва! Москва!

Никита Антуфьев снял шапку, перекрестился:

«Вот она, матушка! Добраться бы к Петру Ляксеичу. Тут, чать, не Тула».

Санки покатились под гору. Лицо кузнеца осыпали колкие снежинки. Он повеселел.

3

Царь Петр просто и приветливо встретил тульского кузнеца. Жил государь не в Московском кремле, где все напоминало стрельцов и ненавистную сестрицу Софью, а в Преображенском. Все у царя как-то наспех, по-походному: глядишь, вот снимется и ускачет по неотложным делам на другой край России. А дел-то было — не перечесть! Всю дорогу от Москвы до Преображенского Никита встречал людей разного звания: торопились туда и оттуда. Покрикивали форейторы, скрипели полозьями грузные боярские возки, скакали курьеры, в открытых санках торопились немчишки в Преображенское. На обширном дворе перед скромным, небольшим царским дворцом стояло много саней парадных, обшитых персидскими коврами, с медвежьими полстями; бы-

ли тут и простые сани; под навесом навалены тюки с пенькой; у тына стояли оседланные кони; густо толкался народ — русские и иноземные купцы, солдаты, мастеровые, матросы. У крытого возка, прижав к груди лохматую голову верзилы, выла толстенная боярыня.

— С чего это она ревет? — стал пытать Никита форейтора.

— Не вишь, что ли? Царь-батюшка в науку за море шлет боярское чадушко. Ось-ка, дуроломы.— Форейтор с опаской оглянулся на боярский возок.

Доложили царю, что тульский кузнец Никита Антуфьев привез ружья,— живо в покой допустили. Около царя толпились знакомый Никите переводчик Посольского приказа Шафиров, немцы с Кукуй-слободы, иноземные мастера, дьяки Пушечного приказа. Шафиров издали приметил кузнеца.

— А, туляк — черная борода, опять что надумал? — густым басом загудел он.

Никита осклабился, почтительно поклонился толмачу:

— Ружьишки приволок, своих рук работенка.

— Ну, кузнец, чем порадуешь? — Царь запросто обнял Никиту.— Садись, рассказывай.

Народ посторонился. Никита понял оказанное почтение, крякнул, неторопливо огладил цыганскую бороду.

— Вашего величества приказ выполнил. Прослышал, что в ружьях вышла нужда,— свои, тульские наработал...

У Петра усы шевельнулись, глаза засияли; хлопнул кузнеца по плечу:

— Молодец, Демидыч! Тащи ружья!

Иноземные мастера, презрительно поджав губы, недоверчиво разглядывали Никиту. Однако туляк нисколько не смутился; он проворно извлек из возка пару ружей и внес их в горницу. Немцы оживились и, даже не глядя на фузеи, посмеивались, заранее радовались неудаче русского кузнеца; но вышло по-иному. Генерал Лефорт, весьма чтимый царем за ум, внимательно осмотрел ружья и похвалил:

— О, этот мастер — золотая рука! Фузеи сделаны отменно.

Царь засиял весь и подхватил похвалу Лефорта:

— Добры, добры ружья!

Иноземные мастера позеленели от зависти.

Тут Петр Алексеевич повернулся к Никите, схватил его за плечи:

— А ну, сказывай, Демидыч, сколь за ружья хошь. Небось не хуже свеев аль аглицких купцов заломишь?

Сердце Никиты затрепетало: вот этой-то благоприятной минуты он давно ждал; то-то ж сейчас подивит царя да иноземных мастеров! Потупился Никита, помолчал с минуту в глубоком раздумье; знал, как поднести задуманное. Петр спросил:

— Что молчишь, Демидыч? — Сам думал: «Хошь и дороже иноземных станут, а все сподручнее. Свои; прикажу — наделают...»

Поднял черные глаза кузнец.

— Знаю, ваше величество, что за такие ружья Пушкарский приказ платит инш двенадцать рублев, инш пятнадцать.

Никита глубоко перевел дух:

— Грабят жимолоты Расеюшку. А те ружья, что нами в Туле сработаны, буду ставить я, ваше величество, по рублю восемь гривен.

— Демидыч! — засиял царь и расцеловал крепко, простецки.— Жалую тебе опричь всего сто рублей награды. А ты постарайся, Демидыч, распространить дело, и я тебя не оставлю!

— Я и то думаю, ваше величество, да вот руду негде копать, да с углем тесно, жечь бы самому, да кругом леса казенные...

— Жалую, о чем просишь...

Царь отпустил кузнеца до вечера, а к вечеру чтоб непременно пришел: дела есть.

Целый день кузнец Никита расхаживал по Москве, ко всему приглядывался. Вблизи не было той красоты, которую Никита видел с Воробьевых гор. У Китай-города, в Кузнецкой слободе стояли закопченные бревенчатые кузницы под стать тульским; подальше, со стороны Неглинки, вдоль улицы вытянулись вязы, разубранные инеем, а еще далее были блинные ряды, за ними — скотная площадка. Речка Неглинка текла в самом городе в грязных, болотистых берегах, на них московские жители сваливали всякую заваль и помет. На Трубной площади Неглинка расплылась в топкое болото и мутью текла до самых кремлевских стен. «Ух ты! — вздохнул Никита.— Столица, а боярышки запустили город. Гляди!»

Московские улицы были мощены бревнами, и, знать,

в любую пору не сладко дорожному человеку трястись по этому накатнику. Только в Кремле да в Китай-городе были каменные мостовые. Тут и дома строились из камня и в линейном порядке. В других местах — гати, окопанные пруды, плотины. Церквей Никита и сосчитать не смог: тут и Рождество на Путинках, и Грузинской богоматери иконы, и Николы Мокрого, и Пречистенка, и на Ключах богоявление,— кузнец еле успевал скидывать шапку и класть крестное знамение.

Город был деревянный. Неустройство и грязь лезли из всех щелей.

Только бояре и жили широко да привольно, но бестолково и неряшливо. Не понравилась тульскому кузнецу Москва. На папертях у церквей стая обшарпанных, страшенных юродивых. Завидев Никиту, они стали выворачивать и пялить свои язвы и гнойные места. А хари-то, хари, не приведи бог, в жизни не видывал таких Никита! Косоротые, безносые, горбатые, зобатые — лаяли, стонали, кричали, выпрашивали.

Демидов сплюнул.

— Ух, и нечисти сколько развелось!

Вечером в беседе кузнец пожаловался царю. Впопыхах осмелевший кузнец назвал царя попросту Петром Ляксеичем.

— Не нравится мне, Петра Ляксеич, Москва-то, много в ней такого неприглядного...

— И мне не нравится,— охотно согласился царь,— много юродства поразвели в ней бояре.

Петр усадил кузнеца за стол рядом с собой и стал расспрашивать про домашних:

— Как женка-то? Поклон-то привез мне?

Никита взволновался, приглушил ревность. Ответил царю спокойно:

— Здорова баба и низко кланяется... А сын-то, Акинфка, забыть тебя, Петра Ляксеич, не может. Просил насчет рудной землишки...

— Будет,— обнадежил государь.

Петр не забыл своего слова, пожаловал Никите грамоту на земли в Малиновой засеке[1] для копания железной руды и жжения угля.

---

[1] Во второй половине шестнадцатого века Тула и окружающие районы представляли сплошной укрепленный лагерь. Для обережения от татарских наездов была устроена особая засечная полоса — ряды полусрубленных, «засеченных» деревьев; отсюда и само название «засека». Малиновая засека тянулась к юго-западу от Тулы.

4

Акинфке разом выпали две радости: батя привез женку и жалованную грамоту на рудные земли. Молодой кузнец обошел вокруг девки, пригляделся. Статна, тугая, как ядреный колос, а глаза — словно вишенье. Рослая да румяная. Ух и девка! И Дунька обрадовалась парню: «Верно, не обманул кузнец...»

Поженили молодых.

Дунька оказалась на редкость послушной и крепкой бабой. Акинфка — в кузню, и Дунька — в кузню. Акинфка — за молот, и она — за молот. Силы в ней — прорва! Раз, играючи, схватилась бороться с Акинфкой. Вот баба!..

Вскоре из Москвы от Писцового приказа наехали подьячий и писчик; по указу царя Петра Алексеевича отмежевали в Малиновой засеке рудные земли, а для жжения уголья во всю ширину Щегловки отвели лесную полосу. Копай, Никита Антуфьев, руду, руби вековые лесины, жги уголь и плавь железо! Но и это показалось кузнецу мало: надумал он пустить в ход водяные машины, а для этого решился на речке Тулице построить плотину. По приказу царя подьячий отмежевал, взамен затопляемых земель Ямской слободы, стрелецкие земли. Не забыл Петр Алексеевич стрелецкую смуту, ужимал стрельцов, где доводилось.

Поднял Никита близлежащие волости; нанял вотчинников в поместьях и согнал на постройку плотины. Работа была каторжная; кормил тульский кузнец работников незавидно, народ надрывался и мёр, как мухи под осень. Большие дела завертелись: ставили новые мастерские, копали руду, плавили ее, лили ядра для Пушкарского приказа и на плотину за старосту для досмотра поставили Дуньку. Молодайка попала под стать Антуфьевым: яростная к работе, все силушки из мужиков выматывала.

В одно лето при лютой работе возвели мужики на реке Тулице плотину, и заводчики пустили в ход водяные машины. Вскоре и домна задымила.

Работал завод Антуфьева не только фузеи и самопалы, но и пушки и ядра. Домна была вышиной в одиннадцать аршин, и раздувалась она мехами, а мехи приводились в движение водяными машинами. Домна давала до ста двадцати пудов чугуна в сутки. Для того чтобы этот чугун получить, требовалось двести пудов

пережженной руды да триста пудов угля. Чугун и шел на отливку пушек и ядер. Перед домной был вкопан дубовый чан вышиною в три сажени, в который ставились пушечные формы.

У плотины Никита соорудил амбары; в них сверлились, обтачивались и полировались пушки; ковались тут и доски для ружейных стволов, для чего были установлены кулачные молоты, переделывающие кричное железо в нужное поделье.

Прибрал Никита бездомных бродяг. Копали они руду, отдавая последние силы. Жили в землянках, как кроты, кормились хуже дворовых собак. Углежоги в делянках жгли на уголь полномерные крепкие дубы, чудесный гибкий ясень и клены. Работа эта неприглядна и тяжела: валили лес, распиливали его, подвозили, складывали в поленницы, потом в кучи, дерновали и жгли. В студеную зиму ни зипунов, ни шуб, ни рукавиц, ни варежек не выдавалось; еда тощая — ложись и умирай. Каторга!

Быстро полезли в гору Антуфьевы; богатели, как в сказке. Однако в чванство тульские кузнецы не ударились. Ходили они в простых кожанах, трудились наравне с работными людьми. Одно только и отличало: срыли Антуфьевы старую избу, выстроили просторный брусяной дом, обнесли его дубовым тыном да цепных кобелей завели.

За военные снаряды, которые Никита поставлял в Пушкарский приказ, платили по двенадцать копеек за пуд. Царь Петр при всяком случае отмечал Антуфьевых:

— Оборотистые люди, таких бы мне под руку десяток — горы ворочал бы.

5

Акинфка за горячими делами забыл свой поход к дьяку Утенкову, а дьяк меж тем все еще проживал в Туле. Время подошло горячее, военное; объезжал дьяк казенные оружейные заводы, торопил с работой. Сунулся было Утенков на завод Антуфьевых, но Акинфка как будто и не признал дьяка.

— Кто такой за человек? — поднял он серые глаза на Утенкова.

Дьяк съязвил:

— Аль не признал? Как будто твои портки на тыну остались?

Акинфка потемнел, но обиду свою не выдал. Засмеялся весело, раскатисто:

— Ничего, мои обноски тебе впору!

Дьяк словно подавился. Позеленевший от злости, он жадно ловил воздух. За переборкой сидел батька Никита; услышав дерзкий ответ сына, улыбнулся:

— Молодец! Ловко отчекрыжил крапивное семя!

Потоптался, покрутился дьяк, сжал зубы, повернулся и уехал. Рад бы насолить Антуфьевым, но что теперь поделаешь с ними, если они стали самому царю известны?

Долго бередил душу Утенков: «Столько годов отжил, всякого, кого надо и не надо, к ногтю поджимал, а тут — неужто не отблагодарю Антуфьевых?»

— Погоди ж ты,— пригрозил он кузнецам.— Найду я на вас загогулину!

Подлинно, понюхал-покрутился дьяк по засеке и высмотрел ту «загогулину», за которую зацепиться можно. Обдумал дьяк и настрочил царю грамоту.

Петр в ту пору двигал войска к Финскому заливу, думал о морях да кораблях. Грамота же Утенкова уведомляла его, что под Тулой в Малиновой засеке, в той самой, что Писцовый приказ отвел кузнецам Антуфьевым, изобильно растет добрый дубовый, кленовый и ясеневый лес, весьма годный на кораблестроение. А лес этот кузнецы Антуфьевы безрассудно жгут на уголь, и оттого государевой казне выходит чистый убыток и разор.

Доброе дерево добывалось с большим трудом. На севере да на западе страны росли сосна, ель, осина да береза. А кораблестроение требовало здорового, полномерного дуба, добро высушенного, и не только прямого, но и природно изогнутого. Дубы, годные на корабельный набор, встречались небольшими рощицами, и каждое дерево береглось пуще глазу. На верфях и на шлюзной работе каждый дубовый брус или шпангоутная кривуля расходовались осмотрительно. По наказу царя на мелкие корабли шла сосна, нередко — при спешке — сырая, прямо с лесосеки, и только на самые важные части кораблей отпускался лучший дуб.

Получив от дьяка донесение об истреблении Демидовыми дубов, царь не мешкая выслал в Тулу приказ, запрещавший Антуфьевым рубить лес в Малиновой засеке на уголь...

Получил Никита царский приказ и ахнул: как теперь

быть с литьем пушек и ядер? Запасы угля кончались, а Пушкарский приказ торопил с поставкой. Военная пора не ждала. Приуныл Никита: хоть царь и добр к нему, однако понял кузнец, что у Петра Алексеевича дружба дружбой, а дело делом. Если кто поперек станет, царь того не пощадит — переломает хребет!

Дьяк Утенков, злорадствуя, не раз мимо завода в колымаге проезжал, зорко доглядывал, как царский указ исполняется. Тут ненароком и повстречался дьяк с Акинфкой. Хотел кузнец мимо пройти, не приметив приказного супостата, а тот сам первый сломил соболью шапку:

— Здоро́во, кузнец. Ну, как кукарекаешь без угля?

Злость полыхнула в Акинфкиных глазах: не любил он ни дьяков, ни подьячих, ни ярыжек — больно жаднющи и подлы на руку. Только бы хапнуть! Акинфка поглядел на Утенкова и усмехнулся:

— Поглядим, дьяк, кто еще из нас кукарекать будет...

— Ишь ты! — ядовито ухмыльнулся в бороденку дьяк и уехал прочь.

Не спалось Акинфке много ночей: тесно на Малиновой засеке. Горами бы тряхнуть Акинфке Демидову! Вот бы!

Надумал он большое, невиданное дело. Порассказал бате, тот ахнул:

— Ну и башка у тебя, сынок. Ух ты! Будь по-твоему.

Оба неожиданно заторопились в дорогу.

Глава третья

1

На востоке России, от Киргиз-кайсацкой степи и до полуночного Студеного моря, лежит суровый Каменный Пояс. Кругом гранит, скалы, покрытые дремучими лесами, среди гор — глубокие озера, бурные реки. Край этот кишит зверями. В недрах каменных сопок, в падях у гремячих вод лежат медные и железные руды, самоцветы невиданной красоты. Изумруды, горный хрусталь, красные самоцветы с искрами драгоценной шпинели — лалы, топазы, фатисы вишневые — гиацинты, юги зеленой шпинели — хризолиты,— все это открыл простой

русский искатель в горах. Над Нейвой-рекой, повыше Мурзинской слободы, медной руды плавильщик Димитрий Тумашев на восточном склоне Каменного Пояса отыскал неслыханное по богатству месторождение узорчатых камней. 21 декабря 1669 года в царской грамоте писали о том открытии: «...обыскал цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые». А еще ранее, в 1645 году, рудознатцы братья Стрешневы по указкам крестьян отыскали невьянские и ирбитские медные руды. Тысячи любознательных русских людей издревле шли по нехоженым тропам, открывая руды и драгоценные камни, скрытые в земных недрах. По старым русским летописям известно, что в края уральские издавна проникали предприимчивые новгородцы — храбрые ушкуйники. По озерам и рекам в больших «ушкуях» пробирались они сюда и грабили охотников, отбирая пушнину: соболей, куниц, бобров. Три века с лишним охотничьи народцы платили ясак новгородским ушкуйникам.

Преданья передавали, что давно, в глубокой древности, неизвестный народ — «чудь белоглазая» — первым тронул каменные недра. В глубоких копанях и ямах пришлые Новгородской Московской земли предприимчивые люди нашли человечьи кости, черепа, медные кайлы, молоты и рукавицы из доброй кожи, шитые крепкой жилой. По тем следам сметливые люди напали на железные и медные руды.

Новгород покорился Москве, и московские бояре, прослышав про дорогую рухлядь — соболя, посылали на Каменный Пояс ратные отряды, ставя на перепутьях торговых дорог гарнизоны.

В 1430 году солепромышленники Калинниковы основали в этих краях город Соль Камскую; этим положили начало горному промыслу. Соль была первым минералом, который потянул людей в недра Каменного Пояса.

Московские государи, ведя войны с неспокойными соседями, весьма нуждались в разных металлах. В далекие годы при царе Иване Васильевиче Грозном купцы-вотчинники Строгановы копали и плавили медные и железные руды на разное поделье и оружие, но на первом месте ставили они добычу соли.

Федор Лукич Строганов заложил в 1488 году у Соли Вычегодской соляные варницы. Сын его Аника Строганов унаследовал от отца все его поместья, в том числе и варницы. Несмотря на огромные богатства, Строгано-

вы были неугомонными, предприимчивыми людьми. Внуки Федора Лукича решили выбраться на простор и выпросили у царя грамоты на прикамские земли. Григорий Строганов получил обширные земли от Соли Камской до устья реки Чусовой, Яков — привольные края по Чусовой с притоками и по Каме-реке, ниже Чусовой. В 1574 году царь разрешил им копать на тех землях металлы.

Местные вольные народы не сдавались пришлым московским людям, беспрестанно тревожили их. Чтобы оберечься от лихих набегов, Строгановы по торговым путям построили укрепленные острожки, пригласили на ратную службу казачьи лихие ватажки Ермака. Отсюда и начались Ермаковы походы по рекам Чусовой и Сылве до хребта, через хребет волоком в реки Тагил и Туру, в бескрайное царство Сибирское. Так из года в год шло освоение далеких земель.

Отдельные доходчики в этих местах сами по нужде добывали руды, плавили их в малых печах-домницах.

Димитрий Тумашев, первооткрыватель самоцветов на Каменном Поясе у истоков рек Нейвы, Режа и Исети, между озерами Таватуй, Аятским и Исетским, найдя руды, поставил в 1669 году железоделательный завод. Рудознатец Федор Рукин с людьми из Колчеданского острога в 1682 году разведал руды неподалеку от Далматовского монастыря. Монахи скоро поняли толк в железных и медных рудах. На реке Исети вотчина Далматовского монастыря построила завод, копали и возили в него руды с речки Каменки тяглые мужики. Христолюбивые чернецы не щадили работников, томили в шахтах, ослушников били батогами, надевали на шею рогатки: ни лечь, ни спать. Тяжко жилось монастырским крепостным у стен Далматовой обители.

Так возникали на Каменном Поясе заводы. Были они маленькие, существовали недолго, зачастую их переносили с места на место, но положили те заводы начало металлургическому делу.

Московские и новгородские купцы, расторопные служилые люди — стольники и думные дворяне, дьяки и подьячие, «салдацкого строю» офицеры и стрельцы, монахи и торговые гости, а больше всего простые русские люди — кабальные, посадские и казаки,— все они, как капля воды в породу, пробирались на Каменный Пояс и отыскивали руды, соль, самоцветы и слюду.

В ту давнюю пору уже возникали товарищества для

широкого розыска горных сокровищ. По замыслу боярина Артамона Сергеевича Морозова возникали кумпанства для розыска золота, серебра, меди и других металлов. В конце семнадцатого века розыском золота и серебра на Урале занимались Яков Галкин, Семен Захаров и Андрей Виниус. И много было других, которые помышляли о розыске руд. Все эти предприимчивые люди потихоньку жадными руками захватывали рудоносные земли, а коренной народ — башкиры и татары изгонялись и без жалости истреблялись захватчиками.

Московские цари при этом положили строгий запрет: не дарить, не продавать коренным народам железо. Спаси бог, чего доброго, они ружья да сабли наготовят!

2

Еще до своего отъезда в иноземщину царь Петр Алексеевич в 1696 году повелел верхотурскому воеводе Димитрию Протасьеву разузнать, где есть лучший камень-магнит и добрая железная руда. Оборотистый и смекалистый воевода понимал толк в рудном деле: он в тот же год представил царю образцы потребных руд. Камень-магнит воевода раскопал на берегу неуемной речки Тагилки, а железную руду — на Нейве.

Руда была добра, выгодна к обработке — богата железом. Тут вспомнил царь про опытного тульского кузнеца Никиту Антуфьева и повелел отослать ему невьянскую руду для испытания. Никита быстро взялся за дело: выплавил из присланной руды отличное железо, сделал из него несколько ружей, замков, бердышей и делом доказал царю, что невьянское железо не хуже свейского, плавится с выгодою и весьма годно в оружейном деле. Толковая работа тульского кузнеца понравилась царю, он приказал верхотурскому воеводе немедленно приискать удобное место для постройки завода и на том заводе лить пушки, ядра, железо для фузей. Место это было определено, и в 1698 году на реке Нейве под деревней Федьковской заложен был завод. Через год отобрали на московских заводах мастеров-литейщиков и отправили на Каменный Пояс.

Первое добытое железо водной дорогой доставили в Москву, где на Пушечном дворе его подвергли испытанию. Знатоки из Кузнецкого ряда признали железо весьма годным. Часть невьянского железа отослали для испытания в Тулу. Вновь загорелся Никита Антуфьев,

заторопил кузнецов, Акинфка неделю не вылезал из кузни. Ну и железо! Оно звонко пело под молотом Акинфки, и молодой кузнец крякал от удовольствия: «Горы бы такого железа — все бы перековал на фузеи».

Когда посылали сработанные из присланного железа ружья в Москву, дознался от отца Акинфка, что кованное им железо — русское и копано оно в недрах Каменного Пояса.

Потянуло молодого кузнеца повидать далекие Уральские горы.

— Вот бы добраться до них да загреметь кайлом так, чтобы гул по земле пошел!

3

Антуфьевы собрались в дальнюю дорогу. Ладили большой обоз: царю везли фузеи, алебарды. На посаде поскупали тульских бойцовых гусей, резали живность, замораживали, укладывали в короб; известно, сгодится все в Москве-матушке. В Москве всяк подьячий любит пирог горячий. Известно, подьяческий карман — что утиный зоб: не набьешь; потому бойся худого локтя да алчных глаз и всякую беду подарком отводи!

Отошли метели, потускнел снег, не отливал больше голубоватым отсветом — подходила весна. Днем пригревало, и на реке Тулице посинел лед.

На первой неделе великого поста тронулся Никита с обозом в Москву. По дорогам на пригорках бродили изголодавшиеся галки. Обоз двигался ходко. У Акинфки на сердце лежала радость: скоро увидит царя Петра Алексеевича. Проехали знакомую Никите деревеньку, где он купил Дуньку. На попаске крепостные мужики обступили обоз, допытывались: «Не надо ль тульскому купцу девок? Год ноне на девок урожайный, девки подоспели добрые, работные!» Никита задрал вверх бороду, весело оскалил крепкие зубы:

— Ишь ты, понравилось! Годи, народ, с Москвы повертаюсь, дела заварю — всех девок и парней поскупаю.

Деревеньки по дорогам лежали ободранные, серые, и народ встречался рваный да голодный. Год был неурожайный. Акинфке было двадцать три года, но хватка в нем хозяйская. Он прикидывал про себя: «Кому беда, а нам, может быть, в самый раз — в рудник скорей загонишь голодного человека». На ночевках приходилось смотреть в оба, как бы кладь не своровали. По до-

рожным корчмам да кабакам много татей[1] вертелось: только и ждали минуты, как бы дорожному человеку разор учинить.

Шли обозом в Москву неделю: въехали в престольную в полдень, по городу гудел колокольный звон, и над церквами кружили несметные стаи ворон и галок.

У заставы, подле рогатки, стояли досмотрщики и выглядывали бородатых. Никита прослышал, был царский указ: повелевалось всем подданным, кроме пашенных крестьян, монахов, попов да дьяконов, обязательно сбрить бороду. С бородатых досмотрщики взыскивали пошлину: с пеших по тринадцати алтын две деньги, а с конных и более.

Антуфьев с немалым сердечным сокрушением достал кожаную кису и отсчитал досмотрщикам алтыны за бороду.

— Эх, жалость-то какая! Времечко-то, без рубля и бороды не отрастишь,— пожаловался Никита фискалам.

Рябой досмотрщик с плутоватой рожей алтыны взял и выдал знак, а на том знаке написано было: «С бороды пошлина взята. Борода — лишняя тягота». Посмеялся он над Антуфьевым:

— Что приуныл! Аль того не ведаешь: плохое дерево растет в сук да в болону, а худой человек — в волос да в бороду... Обрей волосье — алтыны уберегешь!

Никита сумрачно сдвинул брови, сказал строго:

— Борода дороже головы.

Досмотрщик не унялся, захохотал:

— Ус в честь, а борода и у козла есть.

— Ты, мил человек, не очень-то,— строго пригрозил Антуфьев.— Я к самому царю Петру Ляксеичу зван на Москву, а с гостем можно бы и поласковей.

Досмотрщики махнули рукой:

— Езжай, езжай, путь-дорога тебе...

— То-то! — крикнул Никита и шевельнул вожжой; возок помчал, а все ж таки жаль алтынов — докука оттого легла на сердце.

Остановились туляки на постоялом дворе у заставы. Низенький проворный корчмарь с воровскими глазами, глядя на богатый обоз, залебезил. Возки убрали под навесы, Никита порасставил своих обозных сторожей, пригрозил корчмарю:

---

[1] Воров.

— На возах добро государево. Оберегай! Ежели что, царь Петра Ляксеич голову с плеч снимет!

Корчмарь косо поглядел на Никиту. Кузнец высок, черномаз, глаза острые.

«Ишь сатана,— подумал корчмарь,— силен, знать, проворен, таким только сейчас и жить».

— Прикажешь для утробы что подать? — заюлил он.

— У нас все свое,— степенно ответил кузнец.— Человек раньше богу должен воздать, а потом утробу насытить.

Антуфьевы обрядились в новые азямы, переобулись в козловые сапоги с подковами. Акинфка лихо заломил баранью шапку. Поторопились в город. У Симона на Мокром Болоте выстояли обедню. Батька истово крестился и бил поклоны — дело затевалось серьезное.

Акинфка со святыми беседовать не любил, глядел по сторонам да на московский народ зенки пялил. Народ, видать, ловкий, не зевай! Впереди у клироса на коленях стояла старая боярыня, потухшими очами впилась в тусклые образа. Одета она была в потертую кунью шубу. Акинфка весело поглядывал на гривастого попа. Попина высок, пасть львиная.

«В этакую пасть да штофа три водки плеснуть,— думал Акинфка,— совсем другой разговор с богом завел бы!»

Отмолившись, Никита повел сына по Москве в Кремль. От дотошных людей узнал кузнец, что царь в столицу пожаловал на масленой неделе и теперь вершит спешные дела по воинскому разряду.

Шли кузнецы по кривым улицам и дивились: уйма люда. Акинфка ухмылялся: «И когда только московские бабы успели нарожать столько народу?»

Кипнем кипела Москва, по площадям и улицам спешил народ всякого званья. На площадях порасставлены возы, на них живность — куры, индейки, в бадьях свежая и соленая рыба, мешки с зерном и с крупой, свиные и бараньи туши. Промеж возов толкут грязный снег посадские людишки в желтых шубах с длинными рукавами. Подьячий с двумя писцами шныряет в толпе, собирая налог.

У базаров — церкви, над ними кружат крикливое воронье да галки, а на папертях пристают за подачками юродивые.

Тут же на торчком поставленных поленьях расселись

мужики, и цирюльники стригут их; под ногами пестрит густой ковер остриженных волос.

На Красной площади, перед Кремлем, народ — толкуном: бродят преображенцы, копейщики, мелкая приказная крыса. Снуют лоточники с блинами, со студнем.

Посреди площади врыт толстый столб с железной цепью. У столба два палача хлестали батогами холопа за украденную в Обжорном ряду с лотка краюху хлеба. Рыжий дьяк — с гусиным пером за ухом, с чернильницей на опояске — отсчитывал удары. Холоп был голоден, тощ, но терпелив — под батогами не дрогнул, не закричал.

Глядя на его мускулистую спину, Никита одобрил:

— Молодчага! Люблю дюжих. А ты, кат, подбавь жару, может не сдюжает и взмолится.

— Уйди! — крикнул на кузнеца палач.— А то самого ожгу — узнаешь тогда!

— Ух, дьявол,— выругался Никита, покосился на ката и нырнул в толпу: «Подальше от греха!»

Акинфка нахально расталкивал народ. Неподалеку от Спасских ворот куражился пьяный поп в затасканной сермяге.

У Кремля народ сгрудился плотным кольцом. Над толпой высился конный бирюч в красном колпаке. Кузнецы протискались вперед, бирюч зычным голосом читал царский указ. Антуфьевы насторожились: глашатай сулил награды, прощение старого воровства и попустительства тем, кто сыщет рудные места.

Бирюч изо всей силы кричал:

— «Каждый, какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих землях имеет право искать, плавить, варить и чистить всякие металлы: золото, серебро, олово, свинец, железо, такие минералы, яка селитру, серу, купорос и всякие краски, потребные земли и каменья».

Никита и Акинфка стояли затаив дух. Бирюч повысил голос и закончил:

— «За объявление руд от великого государя будет жалованье, а за сокрытье — горькое битье батогами и яма».

Глашатай кончил читать, народ зашумел. Тульские кузнецы выбрались из толчеи. Никита просиял, поглядел довольно на сына:

— Ну, Акинфка, ко времени мы подоспели в Белокаменную. Будет толк.

Сын глянул на кремлевские башни и сказал весело:

— Эк, в каких хороминах живет царь!

Вошли в Кремль. Никита заметил большую перемену с той поры, как впервые здесь был. Появились пустыри-пепелища — в прошлом году в жаркую пору, под Петра и Павла, в Кремле закружил пожар и истребил много строений: погорели государев дом и древние кремлевские церкви. На Иване Великом царь-колокол подгорел и ухнул оземь — раскололся. Рушились в Кремле древние церквушки и хоромы; по царскому приказу многие домины бояр были снесены, а земли взяты в казну. В Кремле и вокруг него шла кипучая работа; государь укреплял Белый город.

Опасался он, что шведы решатся идти на Москву. Сам Петр Алексеевич внимательно осмотрел кремлевские и китайгородские стены: одряхлели они, поросли мхом, осыпались откосы крепостных рвов, ворота осели. Царь велел срочно подновить все. Кругом Кремля день и ночь возводили грозные земляные бастионы.

Рвы и высокие валы окружали Кремль с двух сторон, а с третьей вырыли глубокий ров и обложили его камнем. Укрепили врата под Спасской башней: обили их медью, установили щиты с решеткою.

На этот раз с большими трудностями кузнецы добрались до царских палат. В прихожей оповестили, что государь уехал по делам в Троице-Сергиевскую лавру и возвратится только на другой день к полудню. Кузнецы почесали затылки — делать нечего, пришлось возвращаться на постоялый двор.

Никита один отправился к заставе, а Акинфка остался побродить по Москве. Выйдя из Кремля, молодой кузнец пересек Красную площадь и вышел к торговым рядам. У него глаза разбежались: «Ох, сколько добра напоказ повыставлено!» В каждом ряду свой товар; лавки распахнуты — заходи, народ! Вот развешаны сукна, в лубяных коробьях — холсты, нитки. На длинных шестах подвешены кушаки, шапки, сапоги. А вот утварь церковная, парча и позументы, бусы и канитель. В Шубном ряду выставлены расшитые шубы да охабни. Тут и обшивка для сарафанов и боярских кафтанов. Ко всему присматривался, приценивался Акинфка, все надо знать. Потолкавшись в торговых рядах, он прошел в Кузнецкую слободу, к Неглинной речке. Многие десятки бревенчатых кузниц тянулись в ряд, по улице разносился веселый перезвон наковален. У

кузниц валялось ободье, стояли рыдваны,— знать, для починки приволокли. Черномазые кузнецы возились у кузниц. Все было такое знакомое и близкое для Акинфия. У одной из кузниц стояла толпа преображенцев.

К столбу привязаны два добрых скакуна, и кузнецы ладили коням подковы; народ любопытствовал. Подошел и Акинфка, загляделся на преображенские мундиры, потом заметил работу кузнеца и не утерпел:

— Разве то работенка? Коня нешто так надо ковать? И то, разве ж это подкова?

Упругим шагом он подошел к мастеру и вырвал из его рук подкову. Кузнец осерчал:

— Ты кто и по какому делу? Шатучий! Гей, солдаты!

Преображенцы обступили Акинфку, тульский кузнец не растерялся, повернулся к ним лицом, держа в руках неуклюжую подкову:

— Гляди, братцы, вот работенка!

Он понатужился, развел широкие плечи, и на глазах солдат подкова хрястнула и развалилась пополам. Преображенцы ахнули:

— Вот так медвежатник!

Акинфка раздвинул народ и прошел в кузню; в ней пылало разом три горна. Перемазанные в саже, в рваных рубахах и в прожженных кожаных передниках, кузнецы потели в натужной работе. К Акинфке подошел угрюмый бородач с косматыми бровями. Они, как густой мох, свисали с надбровниц; черные глазки сверкали злобно, как у зверя. Он люто глянул на туляка:

— Откуда чертяка подкинул? Кто такой?

В кузню протискались преображенцы: любо посмотреть на такого богатыря. Впереди всех выставил широкую грудь ладно сложенный преображенец. Он поощрительно улыбался Акинфке.

Туляк скинул кафтан, засучил рукава и подошел к наковальне:

— Давай ручник... Опосля узнаешь, кто такой. Слышь, что ли?

Преображенцы зашумели.

Акинфка крикнул:

— Конь — жар-птица! Люб мне, дай-кось слажу ему наилучшую подкову. Сносу не будет ей.

Хозяин кузни побагровел — по его лицу отсветом заметалось пламя горнов. Статный преображенец весело блеснул живыми глазами и поддержал Акинфку:

— Не перечь, хозяин. Давай, что требует парень, а не то кузню по бревнышку раскатаем.

Бородач недружелюбно поглядел на туляка:

— Железо спортит...

Преображенец шевельнул пушистыми усами, голубые глаза его смеялись:

— Ежели спортит — мы ему морду намоем...

Солдаты дружно захохотали. Акинфке подали кусок железной пластины и ручник. К наковальне подошел молотобоец. Туляк сунул в раскаленный горн пластину. Преображенцы с нетерпением выжидали. Бойкий с голубыми глазами, поощряя, подмаргивал Акинфке: «Не сдай, друг!»

Молодой кузнец выхватил клещами из горна добела накаленную пластину и бросил ее на наковальню. Веселый перезвон раздался в кузнице. У преображенцев повеселели лица: поняли они, что кует опытный кузнец. Со всей кузницы сбежались мастера: «Какой дьявол там тешится?»

Акинфка быстро сковал подковы; от бадейки, где они стыли, шел парок. Туляк вышел из кузни, живо и легко, как играя, подковал резвого коня. И скакун, чувствуя сильную руку, поддался — проржал покорно и тихо.

— Вот оно как надо! — Акинфка снегом умыл руки, забежал в кузню, надел кафтан.

— Молодчага! — закричали преображенцы.—Идем с нами до царева кружала.

— Пошто не выпить,— откликнулся Акинфка.— Я всегда готов, братцы.

Тут к туляку тяжелой походкой подошел хозяин; он глянул медвежьими мохнатыми глазками, буркнул:

— Кузнец добрый. Как звать-то?

Акинфка шагнул к горнам; там стоял толстый железный прут,— им ворошили уголь в горне, шуровали в печке. Туляк хватился за него и мигом погнул.

— Вот те на памятку: первый, чтобы помнил, что ковать коней надо добро.— Акинфка связал железный узелок; хозяин изумленно раскрыл рот. У пучеглазого преображенца озорно заблестели глаза.

— Дабы лаской прохожих людей привечал — вот те второй узелок.— Не натужась, Акинфка ловко перекрутил железо.

— Ух ты! — Лицо хозяина кривилось непривычной улыбкой. Кузнец не дал опомниться:

— А вот те третий,— завязал он еще один железный узелок,— чтобы помнил. Ковал у тебя тульский кузнец Акинфий Никитов Антуфьев. Вот оно что! Да закрой хлебало, не то ворона влетит...

Туляк бросил узловатый жезл к наковальне и крикнул:

— Айда, ребята, в кружало царское! Всех за свой кошт угощаю...

Преображенцы шумной ватагой повалили за Акинфкой. Пучеглазый подошел к Акинфке, схватил его за руки. Глянув друг другу в глаза, оба дружно обнялись и расцеловались.

— Ну, брат, спасибо за коня. Случись, не забуду твоей услуги.

— Видать, коней крепко любишь? — полюбопытствовал Акинфка.

— Люблю,— сознался преображенец, легко взлетел на коня и махнул треуголкой.— Прощай, друг!

Он поскакал по дороге к заставе.

К Акинфке прижался плечом детина в косую сажень, усы, как у запечного таракана; солдат повел ими и, горячо дыша, спросил:

— А знаешь, кто это был?

— Известно кто,— уверенно откликнулся Акинфка.— Преображенец.

— Да то не все.— Солдат прокашлялся.— То был царский денщик. Чуешь? Сашка Меншиков.

— Ну! — Теперь и Акинфка разинул рот.— Эх, тетеря ты! Што ж ты мне ране не сказал? Нужный человек он мне!.. Ну да ничо, еще свидимся. Веди в кружало!

Акинфка с преображенцами повернул к царевым кабакам.

4

На Балчуге, в царевом кабаке, шумно, сумеречно. Сам кабак на острог похож: просторная закопченная изба огорожена дубовым тыном. К избе прилажена клеть с приклетом, под ними погреб. На дворе у дубовой колоды цепь с ошейниками: на нее сажали буйных питухов, пока не очухаются от блаженного морока. В кабаке на почерневшей стене висел сальный светец, от людского дыхания колыхалось пламя. Справа в углу — широкая печь с черным зевом, у печки стоят рогачи; над челом сушатся прокисшие портянки. На полке расстав-

лена питейная посуда: ендова, осьмуха, полуосьмуха, для мелкой продажи — крюки и мелкие чарки, повешенные по краям ендовы. За прилавком — целовальник.

Ватага преображенцев ввалилась в кабак. В тесноте пьяно галдели посадские людишки, нищеброды, мастеровые, а то просто бродяги. Завидев преображенские кафтаны, в кружале притихли. Усатый преображенец стукнул кулаком — дрогнул дубовый стол.

— Водки!

Целовальник молча переглянулся с подручным; тот наклонился под стойку и выволок прохладный бочоночек. Кабатчик стал цедить в ендову чистую водку. Питухи завистливо вздыхали. Еще бы! Ведали они, что вор и скареда целовальник отпускает им водку, разбавленную водой, а то известью и, что еще хуже, может приправленную сандалом...

Акинфка скинул кафтан, одернул рубаху, баранью шапку долой:

— Гуляй, ребята!

Преображенцы хлестали водку как воду. Многие вытащили из карманов рога, пили табак[1]. По кружалу пополз сизый едучий дым.

Однако Акинфка не терял рассудка, пил мало, больше других раззадоривал, сам прислушивался, что́ кричат пьяные преображенцы да питухи. Выглядывал кузнец потребного человека. Усатый преображенец пил угрюмо и жаловался:

— Я, брат, один, как ворон на перепутье. Всю родню порастерял. Кои были, по расколу сбегли, а я остался. Не люблю кержацкого бога я: тяжел он и больно беспощаден, а сам небось черен, и душа у него — уголь... Слышь-ко, а сбегли они на Каменный Пояс, там, сказывают, раскольничьи скиты, а еще, бают, руды там... Слыхал, что царские бирючи кличут...

Акинфка жадно схватил преображенца за руку:

— Отколь знаешь?

Преображенец обсосал кончики рыжих усов, от хмельного у него порозовели скулы.

— Все знаю.— Солдат прищурил зеленый кошачий глаз.— Сам провожал, обереженья ради от лиходеев, дьяка Рудного приказу на те места. Приволье!

---

[1] Курили. («Пить ртом табак» — из Уложения царя Алексея Михайловича.)

У Акинфки пальцы на ногах свело судорогой, горло пересохло. Затаив волнение, кузнец спросил:

— Брешешь ты, что руды там?

— Я, брат, не пустобрех, а солдат. Там край привольный, горы да лес. Железо под ногами. Пьем, што ли!

Солдат, посапывая, пил много. Выпив кружку, обсосав усы, сказал:

— Меня зовут Изотом. Изот Бирюк,— запомни, может когда сгожусь. Я, брат, ни крови, ни черта не боюсь. В преображенские пошел — сбег от боярина.

Акинфий очарованно глядел на тронутое оспой лицо преображенца. Кругом галдели охмелевшие. Целовальник зорко посматривал за народом да время от времени выходил из-за прилавка и оправлял светец; по задымленным стенам колебались уродливые тени. Слегка покачиваясь, кузнец вышел из избы. Двор был окутан тьмою; в черном небе рассыпались крупные звезды. Из-за дубового тына с Москвы-реки набежал ветерок. Посредине двора темнело что-то. Акинфка подошел, вгляделся. На конском помете лежал, посапывая, пьяный ярыжка. На поясе болтались медная резная чернильница и пук очиненных гусиных перьев. В рот питуху вложен был кусок дерева, а завязано это клепало тряпкой на затылке. Ярыжка спал на стуже, лицо у него посинело, ветер шебаршил его бороденку.

Акинфку осенило: вот кто напишет челобитную царю о рудах. Чем черт не шутит!

— Эй, хожалый, вставай! — Кузнец ткнул ярыжку сапогом в бок.

Питух замычал спросонья. Акинфка сгреб его за шиворот, поставил на ноги,— ярыжка покачивался.

— Стой, приказная крыса.— Акинфка взял пьяницу за грудки и тряхнул его.— Дай от кляпа опростаю...

Он освободил ярыжке рот.

— Ты кто?

— Не вишь, что ли? — скрипучим голосом закуражился ярыжка.— Писчик-повытчик, приказна строка. На кого поносную кляузу писать хошь? — Пьянчуга потянул курносым носом, бороденка у него дрыгала, от стужи зуб на зуб не попадал.

— Идем, што ли, в избу? — Акинфка потащил ярыжку в кабак.

Целовальник недружелюбно покосился на обоих. Питухи закричали:

— Кобылка очухался...

Кузнец подвел ярыжку к стойке:

— Наливай чарку поболе.

Питух опростал ее, благодетельное тепло пошло по жилам; он крякнул.

— Ну, благодарствую. Чего ж писать? — поглядел он с готовностью на кузнеца.— А ты, божья рожа,— ярыжка нисколько не обижался на целовальника за вбитый в рот деревянный кляп,— отведи нам камору да тащи штоф да огуречного рассолу — голова больно трещит.

Усатый преображенец Бирюк сидел за дубовым столом каменным идолом; хмель не брал его.

— Ты умно затеял,— одобрил он Акинфку.— Пиши челобитную, непременно выйдет. По рукам твоим вижу, жилистый ты, только тебе и хапать земное богатство. Ставь еще штоф!

В тесной горнице в светце трещало сало. Ярыжка, высунув язык, выводил усердно:

«Державнейший царь, государь милостивейший...»

Акинфка привалился грудью к столу, глядел на бумагу, сопел:

— А ты, ярыга, пиши царю: сколь его государевым велением запрет положен рубить на уголь лес, пожалованный нам в Малиновой засеке, оттого не выходит продолжать литье пушек и снарядов в Туле, посему бьем челом о дозволении добывать руду на Каменном Поясу, на заводе Невьянском. А условия таки...

Кузнец хитро сощурил глаз и стал излагать условия. Ярыжка опорожнил стопку, крутнул головой и захихикал:

— Ну и хватка у тебя, молодец! По нонешним годам далеко пойдешь, ежели ноги тебе загодя не переломают. Ась?.. Пишу, пишу...

Ярыжка склонился над челобитной, перо заскрипело.

Ночь была темная, ветреная; где-то залаяли цепные псы. Караульщики глухо постукивали в била. В слюдяных и брюшинных, из рыбьего пузыря, окошках давно погасли огни. Пропели петухи. В горницу ввалился Бирюк:

— Уходим, помни — в случае чего, зови...

Заскрипели ворота, хлопали дверьми, из кружала с гомоном уходили пьяные преображенцы...

Утром Акинфка вернулся на постоялый двор. Батька встретил хмуро:

— Где был?

Сын положил перед отцом челобитную. Никита оглядел бумагу, пощупал.

— Так,— выдохнул он; на крутом лбу собрались морщинки.— Так, дело хорошее. Одначе ты, сучий сын, без мово спросу... Всю ночку думку я держал — заворовал ты. Хотел идти в Разбойный приказ... Счастье твое, что дело обладил, а то быть тебе битому!

— Прости, батюшка, так довелось, а упустить удачу пожалел! — поклонился отцу Акинфий.

В окна заползал синий рассвет. На улице скрипели возы; на дворе под поветью бранились мужики. Никита взглянул на отблески зари и заторопился:

— Ну, живей, надо собираться к царю!

Глава четвертая

1

Царь Петр понимал: нужно добыть выход к морю; только тогда Московское государство из полуазиатской державы превратится в могущественную и несокрушимую.

Три дороги лежали к морям, каждую из них преграждал сильный по тому времени противник. Дорогу к Балтийскому преграждала могущественная Швеция. Пользуясь нашествием иноземцев на Русь и временным ее ослаблением, шведы захватили искони русские земли, прилегающие к Балтике и невским берегам. Дед Петра — царь Михаил — вынужден был уступить по Столбовскому договору древние русские города: Иван-город, Ямы, Копорье, Орешек с приневским краем, где испокон веков жили русские люди и приверженные к Руси племена — чудь и карелы. Швеция зорко стерегла путь к Балтийскому морю, доступ к Черному закрыли турки, только и был выход к жаркому Каспию да на севере к Студеному морю. В устье Волги стояла Астрахань, а на севере — Архангельск, но сюда лишь изредка заходили иноземные суда; при страшном бездорожье доставка товаров в Россию была очень трудна и непомерно дорога. Царь Петр решил отвоевать доступ к Балтийскому морю.

Подошел 1700 год. Государь ввел ряд неслыханных на Руси новшеств: приказано было в знак нового столетия перейти на иное летосчисление и вести его не от библейского сотворения мира, как прежде, а от рожде-

ства Христова, и самый новый год считать не с первого сентября, а с первого января. Встреча Нового года была отмечена фейерверком и пушечной стрельбой. На Москве во дворах приказов, на воинских плацах и при купеческих хоромах палили из пушчонок и мелкого оружия, а по ночам целую неделю пускали ракеты, жгли смоляные бочки, костры, расставляли на окнах горящие плошки...

Начатый столь знаменательно 1700 год оказался, однако, прискорбным.

В этом году Россия в союзе с Данией и Польшей начала войну со Швецией. Союзники думали объединенными силами быстро покончить с врагом, но не так-то вышло. Шведский король Карл XII внезапно напал на Данию, в несколько дней с армией добрался до Копенгагена и принудил датского короля подписать позорный для него мир. Из Дании Карл XII быстро перебросил войска в Ливонию, где русские к тому времени осаждали Нарву.

Глубокой осенью, по непролазной грязи, под непрестанным докучливым дождем, теряя обозы, коней, измученные походом русские войска подошли к древнему городку, обнесенному крепкими каменными стенами и опоясанному валами. Дул пронизывающий ветер, серые тучи моросили косым дождем; по дорогам над падалью с криком кружилось воронье. По утрам с речной низины ползли густые холодные туманы. Тридцатитысячное русское войско дугой охватило Нарву и стало окапываться. Из крепости по русскому лагерю часто палили из пушек.

Русские установили орудия и после долгих приготовлений открыли огонь. Однако пушки оказались негодными, и к тому же в армии не было опытных артиллеристов. Стены Нарвы остались нетронутыми.

Царь поселился в рыбачьей хижине и лично наблюдал за осадой. Каждое утро он на сивой кобыле объезжал редуты. Плащ под беспрестанным дождем промокал насквозь, с треуголки ручьями стекала вода;Петр уныло и подолгу смотрел на серые, убегающие вдаль холмы, на заплывшие грязью дороги. Всюду, куда ни падал взор государя, за полевыми укреплениями торчали в сером небе поднятые вверх оглобли телег, увязших по ступицу в тягучей грязи. По обочинам дорог валялись разбитые бочки из-под вонючей солонины и рыбы, обломки изуродованных колес, брошенные передки, изодранные кули, а по канавам и оврагам разлагались

сваленные туда туши павших коней. Ветерок доносил тошнотворный запах. Петр Алексеевич зло поводил кошачьими усами. По жидкому месиву дорог и бесчисленных объездов в лагерь нестройными толпами подходили отставшие ратники.

Недовольный царь возвращался в хижину, где подолгу сидел у камелька и задумчиво курил трубку. Обветренное лицо его было угрюмо. И было от чего кручиниться: давно в походных магазеях кончились и солонина, и рыба, и толокно. Солдаты перебивались одними заплесневелыми сухарями, а подвоз из-за осенней распутицы прекратился.

Прошел второй месяц в ожидании падения Нарвы.

В ночь с 17 на 18 ноября пришла потрясающая новость: к Нарве через двадцать четыре часа прибудет с войском шведский король.

В эту самую ночь Петр спешно покинул свой лагерь, поручив командование русскими войсками герцогу де Круи.

В мутном холодном рассвете 19 ноября перед русским лагерем неожиданно появились шведы. Раскинутые на огромном пространстве русские войска, голодные, продрогшие, плохо организованные, были застигнуты врасплох.

Шведы стремительно ворвались в лагерь,— все смешалось. Конница Шереметева, вместо того чтобы ударить в тыл неприятелю, бросилась удирать вплавь через Нарову. Охваченная паникой пехота ринулась на мост — мост рухнул...

Дул пронзительный сиверко, слепил колким снегом глаза русским солдатам. По застывающей реке плыли трупы... Подмерзшими дорогами убегали одиночные беглецы и конники, но их настигали леденящий холод и голод...

Только преображенцы да семеновцы твердо встретили противника, но одни они не в силах были обороняться; их наполовину перебили шведы...

В снежный буран глухой ночью Петр примчался в Новгород. Спустя несколько часов вестовой Ягужинский привез ему ужасную весть о разгроме армии...

В тесной, жарко натопленной горнице царь метался как зверь. Высокий, ссутулившийся, в заштопанных чулках и грубых башмаках, он топал по комнате, заволакивая ее клубами табачного дыма...

К утру царь овладел собою. После страшного урока он понял, насколько силен враг и как неподготовлена русская армия к войне. Противоречивые, то тревожные, то решительные мысли обуревали царя. Надо увеличить армию, обучить ее, снабдить оружием. Сломить леностную неповоротливость воевод. Возможно, враг теперь же двинется на Новгород, а он не укреплен. Что делать? «Бороться! — решил Петр.— Бороться до победного конца!»

Он сместил воеводу, велел немедленно ставить заплоты, копать рвы. Разбитому, голодному войску навстречу выслал обоз с провиантом.

После поражения под Нарвой у Петра осталось еще двадцать три тысячи войска: корпус Шереметева и дивизия Репнина. Надо было действовать. И государь не дремал: он впервые ввел рекрутские наборы, собрал войско и в короткое время по-новому обучил его ратному делу.

Царь был быстр в решениях, жесток и настойчив. Артиллерию потеряли под Нарвой, металла не хватало, запасы свейского железа иссякли,— Петр велел снимать с церквей колокола, благо в них звучала хорошая медь, и лить пушки. Псковских и новгородских монахов он велел гнать и потреблять на фортификационные работы.

Царь Петр поджидал шведов из Польши, метался по трактам, проселкам, из города в город: готовил страну к обороне. Ладили земляные форты под Новгородом, возводили валы под Псковом, не щадя при этом ни строений, ни усадеб. Так, государь приказал на крутобережье реки Псковы, напротив Гремячей башни, засыпать землей церковь: землекопы в пять дней наметали Лапину горку, еще далее насыпали второй форт — Петрову горку. Опоясывался древний Псков земляными валами.

Больше всего тревожила царя нехватка ружей, пушек, ядер. Заводы были мелкие, не хватало искусных ружейных мастеров, не находилось тороватых и цепких людей, способных разворотить горы, добыть руду, лить пушки и ядра. Ох, и круто было! А время не ждало, шло. Чего доброго, вот-вот король Карл с войсками нагрянет...

2

Никите Антуфьеву везло: к полдню от Троицы вернулся царь и, узнав, что его поджидает ружейник из

Тулы, велел без проволочки позвать его. Петр находился за ранним обедом; Антуфьевых ввели в столовую палату. За царским столом сидело много преображенцев; неподалеку от государя, положив костистое лицо на руку, угрюмо поглядывал Ромодановский — голова Преображенского приказа. Кузнецу стало страшновато, под сердцем лег холодок. Акинфка, как драчливый петух, бойко поглядывал то на Петра, то на высокого кудрявого преображенца — того самого, чьему коню ладил подковы.

«Ишь сокол, куда залетел,— восхищался Акинфка,— и царю на ухо чегой-то шепчет,— поди, запанибрата с ним...»

Царь сидел одетый в зеленый кафтан с небольшими красными отворотами, на ногах — зеленые чулки и старые, изношенные башмаки. Рядом на лавке валялась черная портупея. Он жадно ел, широко расставив угловатые локти; изрядно проголодался в дороге; усы его при жевании топорщились. Завидя тульского кузнеца с сыном, Петр повел круглыми навыкате глазами и неуклюже кивнул головой. Это означало: садись! Кузнецы смутились: одеты были они в простые кожаны, в дегтярные козловые сапоги, кругом же царя — сподвижники в мундирах преображенцев, в расшитых камзолах и в навитых париках, тут же три боярина уселись в разубранных позументами и канителью шубах; на их мясистых лицах блестел пот. Длинный сутулый царь вытянул ноги, недружелюбно поглядел на боярские бороды и снова обратился к Никите:

— Садись!

Оно, правда, неловко садиться рядом с государем, да что поделаешь — царская воля хуже неволи, пришлось сесть. Никита украдкой покосился на сына: «Сиди да помалкивай, слушай, что старшие говорят».

Царь устал, но был весел; он выпрямился и налил чару:

— Ой, Демидыч, ко времени на Москву пожаловал. Побили нас свеи, изрядно оконфузили: пушки под Нарвой порастеряли, вот вояки!

Петр засмеялся — сверкнули белые острые зубы. Хлопнул кузнеца по плечу:

— Дураков, когда учат, бьют. Битье впрок идет: научимся сдачи давать.— Царь толкнул Акинфку в бок.

За столом стоял гул, все держали себя привольно и

каждый по своему нраву. Одни бояре дулись, как индюки. Государь смолк, сцепил большие руки, положил на стол, помолчал и сказал деловым тоном Никите:

— Демидыч, пушки надо лить. Колокола с церквей я велел поснимать — медь будет.

Кузнец провел корявой ладонью по черной бороде, наморщил высокий лоб: прикидывал что-то в уме.

— Того маловато будет, Петр Ляксеич,— степенно вставил кузнец.— Надо горы рыть да руду плавить.

Царь разжал руки, поглядел на Никиту:

— Верно, надо руду рыть...

— Опять же, Петр Ляксеич,— кузнец потупил глаза,— как ныне и пушки лить? На нашем тульском заводе льем мы для тебя, великого государя, всякие воинские припасы, а ныне по именному твоему царскому указу около Тулы леса на уголь и ни на какие дела рубить не велено...

Петр молча слушал; достал из кармана глиняную короткую трубку, из-за обшлага — кисет, набил носогрейку кнастером и сладко затянулся горьковатым дымком. Кузнец продолжал:

— Теперь из-за угля в железных плавках и во всяких припасах чинится остановка... Великий государь, отпусти нас в Сибирь, на Верхотурские железные заводы, пушки да воинские припасы лить. Я чаю, война со свеями затяжная будет, а обереженья ради пушек да припасов тех ой как много надо!

Царь вынул изо рта трубку, засопел носом. Напротив за столом сидел в пышном парике и в малиновом камзоле Шафиров. За день до того у царя с Шафировым шла беседа о казенных железоделательных заводах. До Каменного Пояса не скоро рукой достанешь — далеко; много трудностей в правлении сибирскими заводами. Нерадением, многими сварами и крамолами приставников горному делу причинялся немалый вред. Заводами сибирскими ведали воеводы беспечно и несмышлено и оттого вводили государство в немалые убытки; из-за больших потерь и хищений приставников заводам грозило совершенное разорение.

Петр через стол кивнул Шафирову:

— Слышал, Павлович, куда наш туляк гнет?

Шафиров приветливо оглядел тульских кузнецов, ответил царю:

— Гоже, но надо, государь, подумать.

Петр задумчиво постучал тугими ногтями по столу.

— Что ж, Демидыч, заходи ко мне вечерком, потолкуем; дело большое и мозгов требует немалых.

— Мы, Петр Ляксеич, ужотка челобитную припасли на Невьянский заводишко,— не стерпел Акинфка. Батька Никита вздрогнул, потемнел. Худощавый, с приятными чертами лица Алексашка Меншиков наклонился к уху царя, шепнул ему что-то, и оба засмеялись...

Вечером Никита снова пожаловал к царю. Петр ждал в опочивальне: готовился на покой. Отвалился в кресле; за окном была мартовская тьма. Алексашка, высокий и гибкий, сидел перед царем на корточках, стаскивая сапоги. А Петр Алексеевич, раскинув длинные ноги, спокойно сосал глиняную трубочку.

Рядом на круглом столе валялись шахматы, картузы табаку, стояло блюдо с засахаренными лимонами. Огромная кафельная печь пылала жаром.

Никита несмело остановился у порога.

— Ну, пришел. Я уж подумал и решил...

У Никиты екнуло сердце: «Что-то решил царь?»

Петр, босой, прошелся по комнате. Алексашка поставил царские сапоги в угол и доброжелательно ткнул кузнеца в плечо:

— Радуйся, медвежатник, царь заводы дает...

Петр круто повернулся к Никите. Кузнец стоял не шелохнувшись, не знал, верить иль не верить. Царь взял его за плечи, тряхнул. Глядя в упрямые, глубоко запавшие глаза кузнеца, государь сказал:

— Отдам я тебе, Демидыч, завод на Нейве-реке да зе́мли рудные округ. Отливай ты поспешно пушки да мортиры, делай фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копья... Заводишко тот оплатишь в государеву казну в пять лет воинскими припасами да по ценам, кои я укажу...

— Государь,— начал Никита, и руки его задрожали.

Петр продолжал:

— Отдаю завод тебе, потому что знаю: твердый ты человек, крепок на руку и ловок, не ускользнет от тебя дело.

— Медвежатник,— сверкнул из угла веселыми глазами Меншиков.— Но, по очам вижу, и хапун здоровущий!

Длинные волосы на голове у царя висели лохмами, он почесал ногу об ногу, насупил брови:

— Ты, Демидыч, гляди у меня. Людишек не заби-

жать, казну не обманывать. Завоуешься — быть на дыбе, хребет сломаю...

— Доволен будешь, государь. Оно верно, карман я свой стерегу, но и то понимаю: отечество оборонять надо, а без воинских припасов где тут от свеев убережешься.

На Спасской башне проиграли куранты; Петр сладко зевнул, протянул руку:

— Где челобитная? Давай, што ли... Дён через трое в приказ рудных дел наведайся...

— Понял? — Алексашка посмотрел на кузнеца.— Ну, а теперь иди. Тебе, мин герр, на покой пора... Дел у нас не оберись... Ну, иди, иди, кузнец, все! — Он вытолкнул туляка за дверь.

Никита надел на сильно полысевший череп лисий треух, с минуту постоял, прислушался. Царь о чем-то говорил с Меншиковым, но разобрать нельзя было.

Кузнец, не чуя под собою ног, заторопился на постоялый двор поделиться радостью с Акинфкой.

3

Ярыжка Кобылка, кабацкий человечишка без роду без племени, был проныра. Разнюхал ярыжка, где тульские кузнецы на постое стояли,— как из-под земли вырос перед ними. Никита сердито глянул на курносого худобородого ярыжку: «Чего только, кошкодав, под ногами вертится?»

Ярыжка не смутился, снял трепаную шапчонку — в дырьях торчала пакля,— поклонился кузнецу:

— Торопись, хозяин, весть хорошую принес тебе. Коли пойдешь со мной, доведу до Рудного приказа; там тебе царская грамота есть.

Подлинно,— отколь только пронюхал ярыжка,— в приказе рудных дел поджидали тульского кузнеца. Приказ помещался за кремлевской стеной, изба была брусяная, в слюдяные оконца шел тусклый, серый свет. Стены приказа, засаленные спинами просителей, хранили на себе следы чернильных пятен и пестрели непристойными рисунками и надписями. В углу из-за позолоченных окладов глядели строгие лики угодников; слабое пламя лампады еле колебалось перед ними.

Остроглазые писчики хитро оглядели челобитчиков.

Стольник вручил Никите царскую грамоту. В ней — на то обратил внимание тульский кузнец — вместо

прежнего Антуфьева именовался он Демидовым. Жаловал царь Демидова Верхотурскими железными заводами на реке Нейве со всеми строениями, с заготовленной рудой, углем, дровами, мастеровыми и работными людьми. Разрешалось туляку искать руду и разрабатывать ее и в других местах Каменного Пояса. А в тех местах, в которых Демидов сыщет руду, никто уж брать ее не мог. Позволено царем Никите ставить на Нейве новые заводы, а также на других реках, и на них с этого времени запрещалось кому бы то ни было строить мельницы. Для заводской работы дозволялось покупать людей и свозить на Урал. Для рубки леса, возки руды и выжигания угля Демидов мог верстать за плату верхотурских крестьян. А плата была установлена заранее: четыре алтына за сажень дров. Если та оплата крестьянам покажется низкой, то в грамоте строго оговаривалось: «А буде мужики начнут противиться и покажут в том свое упрямство, то их к сечке и возке дров принудить, чтобы тех заводов не остановить».

Чтобы людишки не ленились, Демидову разрешалось по своему усмотрению, без суда, наказывать нерадивых за лень и провинности. Воеводе же настрого наказывалось не вмешиваться в заводские дела Демидова.

Заводчику также дозволялось покупать людей и отводить им потребные земли. Для пользы дела прирезались к заводу казенные лесные дачи на тридцать верст вокруг Невьянска, а в версте по указу значилась тысяча сажен. Никита Демидов за то должен был отливать для казны пушки и мортиры, делать фузеи, сабли, тесаки, палаши, копья, латы и шишаки. Сверх того предписано было ему делать прутовое железо и проволоку и вообще «искать всякому литому и кованому железу умножения, чтобы во всякой нужде на потребу нашему великому Московскому государству всякого железа наделать и без постороннего свейского железа обойтись было можно, и стараться, чтобы русские люди тем мастерством были изучены, дабы то дело в Московском государстве было прочно».

Никита Демидов заторопился в обратный путь. Привезенные из Тулы фузеи сдали в Пушкарский приказ. Фузеи на поверке оказались добрыми, без изъянов, и приказный дьяк похвалил Никиту за сноровку.

Стояли последние недели великого поста, с гор тронулись первые ручьи; на косогорах появились первые проталины, и земля на них дымилась испариной. Шу-

мели и торопились вешние воды; поспешили тульские кузнецы домой. В Туле поджидал казенный заказ на двадцать тысяч фузей, дело разрасталось.

Ярыжка Кобылка упросил Никиту взять его с собой. Крепкий туляк посмотрел на тщедушного человека, отмахнулся:

— Поди, ни едино царево кружало не пропустишь, пригубляешь до умопомрачения.

Кобылка смело выдержал хмурый демидовский взгляд:

— Верно, пригубляю и во хмелю буен, но разуму не теряю, писать борзо горазд; и то рассуди, хозяин: дела у тебя пойдут большие, народищу тьма занадобится; когда залучать людишек будешь, никто лучше меня кабальных не учинит. Вот и кумекай тут! И опять же, хозяин, не забудь то: коли человек пьян да умен — два угодья в нем.

Никита прикинул в уме; подлинно, ярыжка — пьянчуга, но плутовская рожа да умная речь кузнецу по душе пришлись.

— Ладно, пес с тобой, садись в сани, отвезу в Тулу, но на жалованье не рассчитывай, а сыт будешь...

— Жадный ты, хозяин,— почесал затылок ярыжка,— да идти мне некуда. Ладно, и на том спасибо.

Молва о царской милости к Демидовым опередила кузнецов; туляки шапки ломали перед ними. Дьяк Утенков повесил нос — он у него алел клюквой: с досады дьяк зачастил заглядывать в сулеи да в штофы. Эх, не знал дьяк, где найдешь, где потеряешь! Кабы знал, где упадешь,— подостлал бы соломку! Никита Демидов силу свою почуял, дьяка на завод не пускал, да и дьяк стал его побаиваться.

По приезде собрал Никита в горницу всю семью: жену да трех сыновей — старшего Акинфку, Григория да худущего и желчного Никиту. За работой и не заметил батька, как молодая поросль поднялась. Только сейчас и разглядел. Никита-сын за последние два годочка вытянулся, был желтолиц, словно в желтухе обретался, даже белки глаз желтые; горбонос. Несмотря на рост в косую сажень, он все еще бегал по Кузнецкой слободе, ловил собак да кошек и мучил, находя утеху в своем жестокосердии. В кузнице он измывался над кузнецами, заушничал, и потому демидовские работные люди не любили его и при случае делали ему пакости. Средний сын Григорий, тихий, молчаливый, ко всему относился рав-

нодушно. Сыновья с отцом встали в ряд, лица их построжали. В углу перед иконами горели лампады, лысый череп Никиты поблескивал. Он разгреб пятерней лохматую бороду:

— Ну, ребята, дело большое подошло — молись...

Он первый положил «начал», за ним бухались в поклонах жена и сыны. Молились долго, горячо.

Кобылка приоткрыл дверь в горницу, просунул мочальную бороденку:

«Поди ж, молится, аспид, как бы народ получше ограбить...»

Сквозняк из двери заколебал пламя лампад. Никита оглянулся, на высоком лбу зарябили морщины. Ярыжка торопливо прикрыл дверь, скрылся...

Отмолившись до ломоты в костях, все уселись за стол. Никита положил на столешник большие натруженные руки.

— Думаю я, мать,— строго сказал Демидов,— ехать на Каменный Пояс доверенному нашему да Акинфке. Завод тот на Нейве срочно принять да к делу приступить... Ехать Акинфке без бабы. Дунька тут гожа.

Сыны молчали. Стояла тишина, слышно было, как потрескивало пламя лампад.

Глава пятая

I

Весна приспела бурная: ручьи стали глубокими реками, калюжины — озерами. Шумела вешняя вода; перелетные птицы, журавли и гуси, крикливыми косяками стремились на север; оживал лес — по жилам потянулись сладкие соки. Шалая вода посрывала на путях-дорогах мосты, порвала гати, затопила низины.

Через вешние топи, по болотам, пробирались демидовские приказчики по обедневшим серпуховским и кашинским господским усадьбам, скупали и свозили в Тулу крепостных. Подбирали приказчики народ крепкий, к кузнечному и литейному делу привычный; разлучали их с семьей. Чтобы в дороге не сбежали, не заворовали, ковали народ в цепи, на неспокойных колодки или рогатки надевали. Отощавший, рваный народ гнали, как скотину, по грязным трактам и запуткам. По барским поместьям женский стон стоял: провожали родных.

Каждый день ходил Акинфка в губную избу. Писчики отбирали сильных, рослых работников среди татей, беглых и лихих людей.

На больших дорогах подбирал Демидов гулящих, сманивал раскольников.

В Туле за дубовым тыном, за крепкими запорами, под охраной сторожей,— у каждого сторожа по пистолету,— томился народ в чаянии своей судьбы.

Несмотря на строгости, народ каждый день убегал; беглецов ловили, били батогами и надевали колодки. Пища выдавалась скудная — пустые щи или тертая редька да ломоть затхлого хлеба. Никита в свободную минуту забегал взглянуть на свою работную силу. Народ жаловался Демидову:

— Что ж это ты, хозяин, голодом нас задумал уморить? Псы у тебя лучше жрут, чем мы.

Никита привычно гладил бороду, изгибал дугой густые брови.

— Так то псы, они свою работенку несут, а вы без дела пока тыкаетесь. Вот по воде сплывете на Каменный Пояс — другая жизнь пойдет.

Выглядел хозяин сыто, молодцевато и самонадеянно. От горести и тягот обозленные крестьяне разорвали бы в куски Демидова, да поди сунься: рядом наглые приказчики с батогами да два клыкастых кобеля-волкодава.

Акинфка с вершниками сбегал в Серпухов,— там на пристани ладили струги, конопатили их пенькой, смолили, готовились в дальнюю водную дорогу. На лицо Акинфки лег плотный вешний загар, легкий жирок рассосало, он стал суше и жилистей. Мотался молодой хозяин на карем иноходце по лесным дачам, где работные выжигали уголь, на рудники ездил — подгонял народ. Тульский завод разрастался, галицкие плотники рубили смоляные пристройки. Изредка верхом на коне Акинфку сопровождала крепкая, загорелая женка. Ехала она по-казачьи, часто с веселой песней. Акинфка любовался могучим телом жены — силу уважал он. Ночью женка упрашивала его: «Возьми меня на Каменный Пояс; стоскуюсь я» Акинфка за хлопотами и тревогами уставал за день, ласки его оскудели, стали коротки и сухи. Держа на уме другое, он отвечал женке:

— Куда тебя сейчас свезешь? Там горы да чащобы, и угла нет. Отстроюсь, запыхают домны — стребую тебя.

— А ежели это год, а то и два пройдет? — кручинилась женка.

— Может, и три пролетит,— спокойно потягивался Акинфка.

Дунька, лежа в постели, загорелась, приподнялась, по подушке разметались густые косы; заглядывая в серые глаза мужа, горячо дыша, она с дрожью спросила:

— А ежели я с тоски полюблю кого, что тогда? Смотри, Акинфка!

Кузнец спокойно и холодно пригрозил:

— Ежели то случится, на цепь прикую. Помни!

Дунька потянулась вся, хрустнули кости.

— Коли полюбишь всласть, и железа не страшны. Чуешь?..

Разве переспоришь эту чертову бабу? Акинфка отвернулся. Он был спокоен: в Туле оставались отец, мать, они-то не дадут бабе шалить.

Подошла святая неделя, сборы закончились. Ехал с Акинфкой на Каменный Пояс приказчик, да посылал Никита для литья пушек лучшего своего тульского мастера. Для возведения второй домны и пушечной вертельни ехал доменщик — легкий, веселый старик. Из Москвы в Серпухов по царскому указу пригнали десятка три московских мастеровых. Демидов поручил Акинфке взять их с собой.

На святой неделе пришел к Демидову только что выпущенный из долговой ямы разорившийся купец Мосолов — кряжистый человек с плутоватыми глазами. Он низко поклонился Никите и, заискивая перед ним, попросил:

— Пошли меня с Акинфием Никитичем на Каменный Пояс. Ей-ей, сгожусь. Какая моя жизнь стала на Туле? В семь лет перебедовал семьдесят семь бед. И то живем — покашливаем, живем — похрамываем. С кашлем вприкуску, с перхотой впритруску...

Знал Никита, что за этими купеческими прибаутками скрывается хитрость. «Хапуга,— мысленно оценил он купца,— да человек строгий, с башкой и спуску не даст».

При этом Демидову лестно было заполучить купца в приказчики.

— Ладно, хоть и накладно самому будет, да что поделаешь со старой дружбой,— охотно согласился на просьбу Демидов.

2

На Егория вешнего, когда выгнали в поле скотину, к дубовому заводскому острожку Демидова съехались подводы. Дороги и поля подсохли, реки текли полноводно; наступили погожие дни. На Оке-реке раскачивались смолистые, из пахучего теса струги. Работный народ последний день томился за дубовым тыном. Грузный Мосолов расхаживал по баракам, сбивал людишек в артели и ставил над ними старост. Голос у Мосолова криклив, руки тяжелые — не подвертывайся. Поутру на Серпухов потянулись обозы. За ними шли в лаптях ободранные мужики, худые, лохматые. Скрипели телеги, перебрехивалось собачье, на семейных возках кричали дети. Меж возов ездили приказчики, батогами подгоняли отсталых. Бабы пели тоскливые песни. Жгло полуденное солнце.

Акинфка на день задержался в Туле: думал нагнать работные ватаги под Серпуховом. День выпал праздничный, на поемных лугах у Тулицы бабы и девки хороводы водили, исстари так повелось. Мужики по лугам шатались, боролись, песни пели, в городки играли. Демидовские кузнецы в тот день не работали, затеял с ними Акинфка кулачный бой. Кряжистые бородатые раскольники из посадья шли стеной на чумазых жилистых ковалей. Бились молча, крепко. Над ватагами стоял стон. Акинфка сбросил дорогой кафтан, малиновый колпак, кинулся в самую кипень. Его изрядно колотили, из глаз кузнеца искры сыпались, земля кругом шла: но он, наклонив бычью, крепкую голову, шел неустрашимо вперед, круша тяжелыми кулаками противника.

На горе стоял Никита Демидов, с ним — приказчики. Отец, как стервятник добычу, стерег сына. После ловких и крепких ударов Акинфки батька крякал, утирал пот с лица. На лугу валялись поверженные. Глядя на работу сынка, Никита не стерпел, похвастался:

— Вот оно что значит демидовское семя. Гляди-ко!

Посадские кержаки дрогнули и побежали. Акинфка настигал и колотил уходивших.

И тут на дороге нежданно-негаданно вырос парень с дорожной котомкой. Босой, пыльный. Глаза пронзительные, плечи широкие, лицо тронулось золотистым пушком. Акинфка орлом налетел на кряжистого странника.

— Ты кто?

Парень улыбнулся легко и просто:

— Дорожный человек.

Акинфка склонил лобастую голову, начал задирать:

— Звать как?

— Сенька Сокол.

— Ишь ты,— Сокол? А ну, держись!

Кузнец стиснул кулаки и кинулся на противника. Парень ловко увернулся, сбросил котомку, глаза его налились кровью.

— Пошто ты? — И пошел на Акинфку. Не успел Акинфка опомниться, как парень крепко двинул его кулаком в бок.— Пошто ты? — спрашивал парень и бил Акинфку. Кузнец лишь поворачивался да охал...

На горе стоял батька.

— Так его! Ловко, эк... Правей, под жабры. Ох, в сусло дурака,— нетерпеливо топал Никита и залюбовался парнем.— И отколь только этот богатырь взялся?

Парень ловко подхватил Акинфку под пояс и положил на лопатки.

— Ты пошто? — спросил парень.

Акинфка засмеялся без злобы, искренне:

— Дурак, кладет, а сам спрашивает — пошто? У, пусти...

Парень опустил руки, моргал глазами. Кузнец поднялся.

— Ну, спасибо, друже, за науку! Впервые меня так угостили! Айда ко мне на гостьбище!

Прохожего проводили в избу, дали обмыться. Никита по-хозяйски оглядывал парня:

— Отколь бредешь, куда?

По волосам, остриженным по-кержацки, догадывался Никита, что дорожный человек — раскольник. Был он высок, строен, легок в движениях, в широких плечах да руках чуялась сила; по душе Сокол пришелся Демидову. Прохожего человека усадили за стол, накормили, напоили. За угощеньем Акинфка крикнул охмелевшему парню:

— Целуй женку! Будь братом!

— Ой, что ты! — зарделся Сенька.

Дунька повернулась боком, сметила: синие глаза гостя полны светлой радости. Не знала она, злиться или радоваться случаю.

— Целуй... Аль брезгаешь?

Никита покосился на сына, но делать нечего. Гость

встал, подошел к молодой хозяйке и опустил голову в нерешительности.

— Что ж ты! — вскинула глаза Дунька и подставила сочные губы.— Раз хозяин велит, гость покориться должен...

Акинфий услышал в голосе женки озорство, но тряхнул головой и подтолкнул парня:

— Ну...

Сенька Сокол трижды поцеловал хозяйку. На вид поцелуи казались постными, но в последний раз взволновалась Дунька, словно молнией обожгло ей кровь. «Неужели?» — спросила себя и тут же, отогнав догадку, озорно сказала:

— Варнак, хороших баб толком целовать не умеешь! Поглядим, как-то в работе будешь.— Она вышла из горницы.

— Ты, душа-человек, пей,— хлопнул Никита гостя по плечу.— Пей, дух из тебя вон! Никуда ты не пойдешь больше — работы и у нас край непочатый, а руки у тебя крепкие.

— Эту пестрядину да рвань брось,— Акинфка рванул гостя за портки,— мы тебя добро оденем. Знай работай только!

От сытной пищи и от вина гость охмелел. Сулея на столе качалась, огни в лампадах расплылись; гость тряхнул головой, но пьяный морок не отходил. Парень облокотился о дубовый стол, положил курчавую голову на широкую ладонь и, раскачиваясь, запел лихую песню. Голос его был легкий и ладный, за душу брал. Дунька в стряпной посуду мыла, шелохнулась от песни; и опять по телу пробежал огонь... «Пригож, и певун притом. Ух, кручина моя!» — перевела дух молодая женка.

Сенька не заметил, как сбоку подсел юркий человечишка со слезившимися глазами. Волосы его, густо смазанные квасом, блестели; у человечишки личико с кулак, хитрое, за ухом очиненное гусиное перо. Откуда только и чернильница медная на столе взялась...

— Я, брат, ярыжка, кличут меня Кобылкой, давай чокнемся да выпьем,— он протянул чарку. Чокнулись, выпили. Кобылка взял из миски хрусткий огурчик, откусил.

— Гляди, до чего ты по нутру пришелся нам, не отпустим тебя, да и только. А для крепости службы

хозяину грамотку напишем, так... Ты слушай, а я настрочу...

Ярыжка извлек бумажный лист, выдернул из-за уха гусиное перо, обмакнул и стал писать:

«Быть по сей записи и впредь за хозяином своим во рабочих крепку, жить, где мой хозяин Никита Демидов укажет, с того участку никуда не сойти, жить на заводе вечно и никуда не сбежать».

Глава шестая

I

В ту пору, когда Акинфий плыл с работными людьми по Каме, из дикой степи в Тулу пришла весна. Расцвели розовым цветом яблони, загудели пчелы, ветер приносил из садов томящие, сладкие запахи. Буйно прошумела первая гроза, отгремел гром, по оврагам с гомоном стекали обильные воды, хорошо пахло тополем. Из-за омытых садов вечерами вставал ущербленный месяц, и тогда все — городище, сады, поля — одевалось зеленоватой дымкой. В чаще черемухи сладко пел соловей.

Никита — высокий, чернобровый — выходил на крыльцо и, зорко оглядывая весеннюю благодать, радовался:

— Ин, какая плодоносная весна ноне идет. Земля и бабы богато рожать будут!

Из земли обильно лезли злаки. Глядя на их буйный разгул, кузнец ощущал свою душевную и телесную мощь. Дики и дремучи были окружающие Тулу леса, бурливы реки, и в сердце Никиты поднималось молодое и тревожное. Разглядывая широкую спину снохи, он думал:

«Напрасно Акинфка не взял бабу с собой. Весна-то — она, брат, э-ге-ге! Яр-хмель!»

Кузнец подолгу ходил по полям, тянуло к себе извечное, мужицкое, и, надышавшись всласть весенним запахом, шел в кузню и мимоходом брался за молот. И тогда под молотом звонко гудела наковальня и огненным ураганом сыпались искры...

В эти дни по согретому солнцем пыльному тракту вместе с южными ветрами в Тулу пришла бравая, румяная монашка. Во взгляде чернобровой девки было много лукавства. Ходила она по дворам и собирала на построение божьего храма.

Монашка долго стояла в дверях кузницы — дивилась работе кузнецов. Сенька Сокол — высокий, плечистый, с золотистой бородкой — бил молотом крепко и лихо пел песни. Монашка брякнула медной кружкой для сбора милостыни, поклонилась, певучим голосом попросила:

— Милостивцы, подайте на построение храма.

Сокол вскинул быстрые глаза и опустил молот. Монашка потупилась. «Ай да краса-девка!» — ахнул про себя молотобоец. Старый коваль дед Поруха, хромоногий, с приплюснутым носом, шагнул к монашке, взмахнул черными от сажи руками.

— Кш... кш... Кто ты, и отколь мы деньги тебе возьмем? — Он загляделся на монашку.— Эй, молодка, иди в наш монастырь, у нас много холостых...

Монашка смиренно перенесла обиду. Сеньку охватило непонятное томление; он не мог оторвать глаз от черноглазой побирушки. Дед Поруха сметил это и пошутил над парнем: «Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит».

Сокол зло бросил молот наземь.

— Что к прохожему человеку пристал? — сказал он сердито, шагнул вперед и, вынув из кармана портов алтын, подал монашке.

Монашка протянула руку, щеки зарделись. И тут взгляды их встретились. На сердце парня стало сладко и тоскливо. У монашки задрожали руки, когда брала алтын.

Сборщица ушла, но весь день Сеньке мерещился ее взгляд; чтобы забыться, он нажимал на работу, звонко пело железо под его тяжелым молотом. В горнах плясало синеватое пламя; раздувая сыромятные мехи, дед Поруха думал: «Ишь растревожила монашка парня. В такие годы кровь нежданно закипает...»

Монашка прошла в демидовские хоромы и там на кухне столкнулась с молодой хозяйкой. Дунька в цветном сарафанчике, лицо потное, проворно шаркала в печке ухватами — мелькали только локти молодайки. Крепка и румяна Дунька; монашка загляделась на нее.

Женка поставила кочергу в угол:

— Ты што, явленная?

Монашка учтиво поклонилась:

— На построение божьего храма...

Молодайка зорко оглядела монашку с головы до пят, обрадовалась:

— Эх, и здоровущая девка ты! Только и работать такой! Оставайся у нас, полы в чуланах вымоешь — на построение и без тебя соберут.

Черноясница молчала, на сытых щеках играл густой румянец. Взглянув на ее мохнатые ресницы, Дунька взяла ее за руку:

— Пойдем, покормлю...

Разостлала на столе скатерку, принесла две большие деревянные миски да ложки. Налила горячих щей с бараниной и сама уселась за столешницу. Обе крепкие, здоровые, навалившись на стол, с усердием уписывали щи. Лица обеих блестели от пота; молча переглядывались: радовались женской красе.

«Есть добра и в работе будет добра»,— прикидывала про себя Дунька.

Монашка порылась в котомке, достала дорожную сулею, лукаво улыбнулась хозяйке:

— Пригубляешь?

Дунька оглянулась, прислушалась — на улице ребята с криком гоняли голубей. Тряхнула головой:

— Давай, што ли!

Бабы добро выпили. Хозяйка сладко прищурила пьяненькие глаза и наставляла гостью:

— В чуланах работных лавки мой, нары мой, тараканье повыгоняй...

Дунька крутнула головой, повела плечом.

— У нас ребята крепкие, могутные. Ну, заглядывайся... Окроме одного, чуешь? — Глаза молодки позеленели, брови сдвинулись.— Никто он мне, а берегу... Чуешь?

Монашка вспомнила ладного молотобойца с золотистой бородкой и тяжело вздохнула:

— Никто как бог и святая богородица...

Хозяйка и монашка всхрапнули в подклети — отдышались от хмельного. Дунька первая спохватилась:

— Ахти, лихонько! Батька скоро с засеки наедет, а у меня ништо не приспело...

Разбудила монашку, свела ее в рабочие чуланы. В них было темно, душно, под столом в пыли копалась курица. Монашка подоткнула темную ряску и принялась за работу...

В хозяйской горнице на божнице стояла медная кружка сборщицы. Уходя на работу, монашка покрестилась и поставила ее там:

— Пусть спас и святой Микола поберегут добро божье...

Алчная Дунька, проводив гостью, вскочила на лавку и потянулась к церковной кружке.

В ней брякали одни лишь черепочки: хитрая монашка все алтыны давным-давно повытягала...

2

Сенька Сокол пришел из кузни и увидел: вальяжная чернобровая монашка, подоткнув ряску, скребла ножом лавки, терла их мочалом. В серой полутьме поблескивали белые бабьи икры. Сокол отвернулся, но погодя не стерпел, опять глянул и встретился с лукавыми глазами монашки.

Нетерпение охватило Сеньку, руки не слушались,— отяжелел весь. К чуланам шумно возвращался работный народ.

Парень сказал ей:

— Не смущай...

Монашка подоткнула выбившиеся волосы под черную скуфейку. В светце вспыхнуло пламя; Сенька не мог оторвать глаз от ее лица.

— А ты не гляди.— Монашка выпрямилась; стройна, пригожа. В глазах — жар.

— Не могу.— Он двинулся к ней, раскинул руки. Пламя в светце заколебалось и, зашипев, угасло.

— Ой, што ты! Народ идет...

— Пусть,— прохрипел Сенька и стал впотьмах ловить монашку. На пути попадались скамьи, стол, нары: все ненароком само под руку лезло.

В раскрытую дверь, ухмыляясь, глядел рогатый месяц...

После объезда рудников и углежогов возвратился Никита. Заметив чистоту в рабочих чуланах, остался недовольным:

— Ты пошто, Авдотья, разоряться удумала? Жили и без того кабальные до сих пор.

— В чистоте, батя, работается спорее, в чистоте и боров жир скорее нагуливает.

Никита помолчал, подергал бороду и ухмыльнулся:

— Пожалуй, то правда...

Работные люди поднимались на работу со вторыми кочетами, в небе еще блестел серп месяца. Того, кто опаздывал вскочить с нар, нарядчики поднимали бато-

гами. В чуланах, где ютились кабальные, было тесно, душно от пропотевшей одежонки и онуч. В пазах стен, в укромных углах бродили усатые тараканы, а в ночь на усталое тело ополчались клопы. Еще того хуже было в семейных чуланах, где в грязи копошились ребятишки, а под нарами хрюкали свиньи,— негде было скотину держать. Кормежка была скудная и постная, от нее только брюхо пучило, а силы не прибывало.

Посреди двора перед рабочими чуланами стояли козлы, к ним привязывали провинившихся, снимали портки и били лозой. При демидовской конторе содержался кат — здоровенный мужик, вид у ката разбойный, борода до глазниц, лохматая и, как медь, рыжая. Глаза — нелюдимые. На ногах палача скрипели яловые сапоги на подковах. Мордастый, хмурый, ходил он с батогом по заводскому двору и поджидал случая. Ведал он кладовыми да подвалами, где томились беглые. Всякому, кто бегал, на шею набивали рогатки и сажали на цепь.

Весна стояла солнечная, а кат ходил мрачный: жгуче ненавидел он молотобойца Сеньку Сокола. В минуты безделья кат приходил в кузницу, морщился:

— Скоро ты отпоешь свои погудки? Пошто поешь?

Медвежьи глазки ката зло глядели на Сеньку.

Сокол жил легко, беспечально; тряхнул кудрями, грохнул молотом:

— Я, добрый молодец, без коз, без овец, была бы песенка.

Кат насупился:

— Я все поджидаю, когда ты, сатана, заворуешься. Больно руки на тебя чешутся. Ух ты!

Кат широкими плечами заслонял Сеньке солнце, тот, держа в ручнике накаленную пластинку, шел на палача:

— Уходи, сожгу. Не заслоняй солнца, одно оно только и осталось у кабального.

Ворча, недовольный кат тяжелым шагом уходил из кузницы...

На хозяина Никиту кат смотрел покорно, по-песьи. Демидов вразумлял ката:

— Зри, добро зри за хозяйский хлеб. Кто из крестьянишек явится в деле непослушным и ленивцем, смотря по вине, смиряй батогами, плетьми и железами.

— Чую, хозяин. Сполняю то.— Волосатые жилистые руки ката сжимали плеть, и Никита, поглядывая на заплечного, думал: «Силен, стервец!»

Демидов зорко доглядывал свое поместье. Все шло гладко, богато, во всем обретался свой смысл.

Акинфка добрался до Каменного Пояса и написал оттуда батьке:

«Край громаднющий, руд много — грабастай только. Заело безлюдье. За народом по дорогам гоняюсь. Из Устюга, Сольвычегодска, Ветлуги да Костромы народишко бегит от хлебной скудости, от пожарного разоренья да барского гнета, а я перенимаю тех людишек и к работе ставлю. Хоромы, родитель, я возвожу знатные. Крепость...»

— Добро помышляет, того лучше старается,— хвалил батя Акинфку.— Поспешать надо. Хоромы ставит; ум хорошо, два лучше. Съездить да похозяйничать надо самому...

Задумал Демидов податься в дальнюю дорогу, на Каменный Пояс.

3

За Тулицей на посадье постукивал колотушкой ночной сторож, оглядывая амбары; кое-где в избах светились поздние огни. В садах и в хмельниках — густая тьма.

Ярыжка Кобылка, к делу не присталый, все доглядел. Дунька покормила его, он разомлел от сытости и брякнул:

— Монашка пришлая парня мутит. Сам видел Сеньку в хмельнике. Ей-бог...

Ярыжка торопливо перекрестился на иконы:

— Вот те крест, не хмель, поганые, чать, по ночам собирают.

Дунька прикрикнула зло:

— Брешешь, варнак! Скажу кату — прикусишь язык...

Кобылка рот ладошкой прикрыл, хитрые глаза закатил под лоб:

— Я — молчок...

На молодкиной душе стало тоскливо. Помрачнела, подобралась, на лицо легли тени. В полдень сбегала в хмельник, поглядела. Верно: покрушены тычинки, примята зелень; земля притоптана...

— Добро, греховодница, так слово держишь!

Позвала Дунька крепостных ковалей, приказала им:

— В хмельник каждую ночь жалуют воры, потоптали все. Поймать надо!

— Поймаем.— Кузнецы переглянулись.

Звезды загорелись ярче, огни на посадье погасли. Заречный ветер шелестел листвой...

Кузнецы сцапали в хмельнике Сеньку и монашку. Молотобоец попросил кузнеца, чернобородого кержака:

— Меня держите, а девку отпустите.

— Не могим,— в один голос отозвались кузнецы,— кат засекет...

Сеньку Сокола закрыли на запор в предбаннике, а монашку на приговор повели. Дунька вышла с фонарем, поставила его на землю, присела на колоду и, опустив голову, долго молчала. Кузнецы крепко держали монашку. Наконец хозяйка тряхнула головой, подняла глаза на соперницу:

— Был грех?

Монашка гневно сверкнула глазами, темные волосы раскинулись по плечам,— скуфейку утеряла в хмельнике.

— Нет,— ответила твердо.

— Любишь? — спросила Дунька.

— Полюбила парня,— опустила голову монашка.

— Так,— задохнулась от ярости Дунька, глаза налились кровью.— Чужого человека в грех вводишь. Сатана! Сечь! Стрекавой[1] сечь!

Кузнецы не шелохнулись.

— Так то ж баба...

— Сечь! — неумолимо надвинулась Дунька.— А то быть вам битыми... Кликну ката...

Монашку опрокинули наземь, нарвали пук крапивы...

Ошельмованную, посеченную, девку вытолкали за ворота. Она, пошатываясь, слепо пошла по слободской улице.

Сеньку два дня морили голодом. О деле дознался Никита.

— Ты пошто людей казнишь? — грозно поглядел он на сноху.— Что за управщица?

Свекровь тут же подоспела:

— Отец, а ведомо тебе, что Авдотья духовное лицо стрекавой посекла?.. Поди, опять пожалуется дьяку Утенкову — беда будет.

---

[1] Крапивой.

Высокий лоб Никиты нежданно разгладился, глаза повеселели:

— Ой, любо, что посекли бездельницу. Пусть работает, а не меж дворов шатается. А Сеньку Сокола выпусти: фузеи ладим — работы много...

Вечером Дунька пришла в предбанник. Парень сидел на лавке, опустив голову. Он не встал, не поглядел на хозяйку; горячая ревность жгла молодкину кровь, а сердце тянулось к греховоднику, изголодалось оно без ласки, без теплого слова.

Дунька шагнула и остановилась перед кузнецом:

— Встань!

Сенька поднялся с лавки.

— Ты что же это, честный человек, затеял?

Сенька поднял глаза на молодку, они синели, как небо в погожий день. Руки кузнеца дрожали.

— Что ж поделать? Не удержаться было, кровь у меня горячая, любить хочется. Молод я, хозяйка.

Дунька дышала жарко, и тепло это передалось кузнецу. Он подошел ближе.

— Неужто среди своих не нашел, кого любить? — Голос молодки обмяк, в ушах стоял звон. Казалось ей, что земля в предбаннике закружилась.

— Кого же? — Они взглянули друг на друга проникновенно, долго. Сенька по глазам молодки узнал ее тайну...

Ярыжка на бане вязал веники: любил Никита пар да хлестанье мягкой березкой. Нарезанные ветки Кобылка вязал в пучки и подвешивал для сушки под крышу. Он услышал говор, припал к лазу, опустил голову в предбанник.

Дунька стояла сильная, горячая и, откинув голову, любовалась Сенькой.

Ярыжка вороватым глазом посматривал и недовольно думал:

«Что же они, окаянцы, не целуются!..»

4

За проворство в работе по настоянию Дуньки Сеньку Сокола перевели в приказчики. Покатилась жизнь проворного парня сытно и гладко. Раздобрел Сенька, песни стали звонче. Никита Демидов учил подручного:

— Всем берешь, парень, и силой и сметкой; одно худо: рука у тебя на битье легкая, крови боишься. Бить надо добро, с оттяжкой, так, чтобы шкура с тела лезла.

Вот оно как! Дурость из человека вышибай — легче в работе будет.

— На человека, Демидыч, у меня рука не поднимается! — признался Сокол.

— А ты бей, лень из нерадивого работника выколачивай,— настаивал на своем Никита.

Сокол сопровождал хозяина на курени,— там шел пожог угля. В лесу в землянках маялся народ. Кабальные мужики рубили лесины, складывали в кучи для жжения. Пожог угля требовал терпения. За каждую провинность приказчики и подрядчики били работных батожьем и кнутьями. Раны от грязи червивели, подолгу не заживали. Наемникам-углежогам платили в день пять копеек, из них взимали за кормежку. Голодные, измаянные каторгой, работники дерзили. Люди изнемогали, изорвались, почернели от угля.

— Ну, лешаки, как жизнь? Много угля напасли? — Никита сидел на коне крепко, прямо. Губы сжаты, лоб нахмурен.

У дымящейся кучи, крытой дерном, стояли двое; у одного железная рогатка на шее — провинился. Глядя на хозяина волком, он бойко ответил:

— Хороша тут в лесу жизнь, живем мы не скудно, покупаем хлеб попудно, душу не морим, ничего не варим.

В дерзких словах углежога звучала насмешка. Демидов накрутил на руку повод, конь перебрал копытами. Хозяин сухо спросил:

— Аль одной рогатки мало?

Второй хмуро надвинул на глаза колпак:

— Не привыкать нам, хозяин. Тот тужи, у кого ременны гужи, у нас мочальны — мы стерпим.

На лесинах каркало воронье; лесины раскачивались; ветер приносил приятный запах дымка. У пня, покрывшись рогожей, лежал больной мужик; глаза его были воспалены; он с ненавистью поглядел на заводчика. Демидов со строгим лицом проехал мимо. На просеках работники дерном обкладывали поленья: готовили к пожогу.

Вороной конь хозяина осторожно обходил калюжины и пни. Хозяин покрикивал:

— Работай, работай, что стали? Домницам уголь надо!

Во все трущобы, глухие уголки проникал зоркий хозяйский глаз.

Возвращались с куреней поздно. Сенька отводил хозяйского и своего коня на Тулицу, купал их и сам с яра бросался в реку.

В ночь в слюдяных окнах хозяйских хором гасли огни. Дом погружался в крепкий сон. Тогда из конюшни выходил Сенька и, как тать, пробирался к демидовским светлицам.

Никита Демидов снаряжал десять добрых кузнецов на Каменный Пояс, на Нейву-реку. В числе других для отсылки отобрал Никита и деда Поруху.

На подворье перед отъездом приехал сам хозяин и, построив мужиков в ряд, велел догола разоблачиться: нет ли у кого коросты или тайной хвори. И тут обнаружил хозяин в шапке деда Порухи письмо. В том письме ярыжка Кобылка доносил Акинфию Никитичу о беде: схлестнулась женка с приказчиком Сенькой Соколом.

Демидов прочел письмо, крепко сжал кулак. Знал: неграмотен дед Поруха, не читал он письма; сказал ему:

— Одевайся, старый филин,— гож! Едешь на Каменный Пояс...

Никита скрипнул зубами, посерел. Вскочил на коня и уехал в лесные курени. Три дня лютовал хозяин, приказчики сбились с ног. На четвертый день Демидов явился домой тихий, ласковый. Позвал в контору ярыжку Кобылку:

— Ты, мил-друг, все без дела ходишь?

Кобылка осклабился:

— Порядки блюду, хозяин.

Никита сидел за столом прямо, как шест, строг, жесткими пальцами барабанил по столешнику. По глазам и лицу не мог догадаться ярыжка, что́ задумал хозяин.

— За порядком есть кому блюсти, мил-друг. Надумал я тебя к делу приспособить. Собирайся завтра...

Ярыжка поежился, собрался с силами:

— Я вольный человек и в кабалу не шел.

Никита молчал, глаза потемнели. Ярыжка пытался улыбнуться, но вышло плохо.

— Нарядчик,— крикнул Никита,— завтра того холопа отвезешь на Ивановы дудки.

Ноги у ярыжки отяжелели, он прижал к груди колпак, бороденка дрыгала. Понял, что ничем не проймешь каменного сердцем Демидова.

— Ну, пшел,— ткнул нарядчик в спину ярыжку.

— Помилуй,— развел руками Кобылка; горло перехватили судороги, хотел заплакать, но слезы не шли.

Никита, не мигая, смотрел в пространство.

5

На травах сверкала густая роса; за дикой засекой порозовело небо; расходились ночные тучи. В посадье над избами — дымки, хозяйки топили печи. Лесной доглядчик Влас прибыл за ярыжкой. Делать нечего,— на дворе ходил, громко зевая, кат,— надо было ехать. Ярыжка напялил на худые плечи плохонький зипун, встал перед образом на колени, сморкнулся. Стало жалко себя, проклятущей жизни, вспомнил бога. Жизнь в рудных ямах — знал ярыга — каторжная, никто не уходит оттуда.

Стряпуха вынесла на подносе две большие чары, поклонилась в пояс:

— Тебе и доглядчику Власу Никита Демидов на прощанье выслал,— не поминай лихом.

Лицо у стряпухи широкое, русское, согретое постельным теплом. Ярыжка и доглядчик выпили, крякнули, а баба, пригорюнившись, уголком платочка вытерла слезу: знала, не к добру Демидов выслал чару.

Ехали росистыми полями, в придорожных кустах распевала ранняя птица. Дорогу перебежал серый с подпалинами волк; зимой в засеке их бродили стаи.

— Страхолютики, всю мясоедь под займищем выли,— ткнул кнутовищем Влас.

Дорога бежала песчаная, влажная, шумели кусты. Ярыжка тоскливо думал: «Сбегу, вот как только пойдут кусты почаще!»

Влас сидел на передке телеги. Лицо изборождили морщины. Борода у него с прозеленью, брови свисали мхом — походил доглядчик на старого лешего. От пристального взгляда он вдруг обернулся к пленнику, который, наклонив голову, уныло смотрел на демидовского холопа.

«Вишь ты, чует сердце, что на гибель везу! Жалко человека: все-таки тварь живая! Но что поделаешь! Отпустить его — хозяин тогда самого меня со света сживет! Запорет!» — тяжко вздохнул Влас и закричал на ярыжку:

— Ты гляди, ершина борода, бегать не вздумай!

Все равно догоню, и то всегда помни: у Демидова руки длинные, везде схватят!

Въехали в пахучий бор. Доглядчик продолжал:

— Я отвезу тебя, ершина борода, на Золотые Бугры... Местина сухая — только погосту быть. Пески! Кости ввек не сгниют...

Ярыжка сидел молча, тепло от выпитой последней чары ушло. Глаза слезились. Бор становился глуше, медные стволы уходили ввысь.

— На буграх тех золото пытался добыть Демид, да оно не далось. Отвезу тебя — ты, ершина борода, добудешь. Угу-гу-гу!.

По лесу покатился гогот, по спине ярыжки подрал мороз. Уж не морок ли то? Он опустил голову, покорился судьбе: не сбежишь от лешего...

«Вот приеду на прииски, огляжусь, подобью людишек, тогда уйду. Сам сбегу и других сведу».

От этой мысли стало веселее.

Вверху, в боровых вершинах, гудел ветер, дороги не стало. Долго кружили без дороги по пескам и по корневищам.

На глухих полянах-островах, среди самой засеки, вдоль ручья вереницей идут Золотые Бугры. В этих песчаных холмах пробовал Демидов тайно добыть золото, но ничего не вышло. Земные пласты здесь — севун-песок. Дудки в них бить можно, когда пески бывают влажные. Сухие пески страшны, гибельны. Задень ненароком кайлом или царапни — из той бороздёнки просочатся песчинки, вырастет струйка, шелестит, бежит, растет она... Севун льется, как вода. И заливает, как водополье, дудку... Сколько работных погибло в таких копанях!

Влас привез ярыгу на Золотые Бугры, привел к шахте. Шахта — просто яма.

— Вот и прибыли. Сейчас полезешь. Вот тебе кайло и бадейка... Я таскать буду...

Ярыга подошел к яме, заглянул: «Кхе, неглубоко. Суха; в такой отработаюсь, сбегу...»

— Что-то народу не видно?

— Лазь! — насупился мужик.— Лазь, а там видно будет...

На песчаных буграх стелется вереск, цветут травы; солнечно. Место приветливое, кабы не Влас — совсем было бы весело.

— А ты, ершина борода, покрестись. В яму ле-

зешь — всяко бывает... Эх, и место, эх, и пески!

Влас опустил ярыжку в яму; опускаясь, Кобылка тюкал кайлом в стенки.

«Натюкаю и убегу...»

В дудке послышался тихий шорох: посочился песок быстрее и обильнее. Полил севун. Ярыжка закричал истошно, страшно.

Мужик охватил руками сосну; борода прыгала — никак не мог унять дрожи доглядчик, всего трясло.

В полдень над ямой стояло солнце, от жары млели цветы.

Лесной дозорный подошел к яме, наклонился:

— Помяни, господи, душу усопшего раба твоего. И за что только грозный Демидов казнил человека?

В яме, в песке, торчала рука; последними судорогами шевелились пальцы.

6

Сеньку позвали в правежную избу. Шел приказчик легко, весело. Перешагнул порог: в углу на скамье сидел, опустив плешивую голову, Демидов. Недобрым огнем горели его глаза. У порога стоял кат с засученными рукавами, в руках — плеть.

— Проходи! — прохрипел кат.

Сенька вышел на середину избы. Хозяин молчал, скулы обтянулись, на коленях шевелились жесткие руки. Ногти на пальцах широки и тупы.

Демидов шевельнулся, голос был скуден:

— Знаю...

Приказчик пал на колени:

— Об одном прошу: смерть пошли легкую.

Кривая усмешка поползла по лицу Демидова:

— А мне легко ли? Молись богу!

У Сеньки дрожали руки, за спиной шумно дышал кат, переминался с ноги на ногу, скрипели его яловые сапоги. Бог не шел Сеньке на мысли...

— Клянись перед образом: о том, что было,— могила...

Демидов встал, подошел к Сеньке, схватил за кудри и пригнул к земле:

— Ложись, ворог...

Кат в куски изрубил Сенькины портки, исполосовал тело. Из носа кабального темной струйкой шла кровь. Сенька впал в беспамятство...

По лицу ката ручьем лил пот, он обтер его рукавом и снова стал стегать. Распластанное тело слабо вздрагивало...

Избитого Сеньку Сокола отвезли на дальнюю заимку под Серпухов. Много дней за ним ходил знахарь. Велел Демидов передать бывшему своему приказчику:

— Поедешь ты, Сокол, на Каменный Пояс. Каторжной работой будешь избывать грех. Пощадил хозяин за золотые руки... Но помни, развяжешь язык — смерть!

Знал Сокол, Демидов не шутит. Выслушал наказ, перекрестился:

— Не преступлю воли хозяина...

Последний расчет свел Демидов со снохой. Увез он Дуньку по делам на лесную заимку и там закрылся. Кругом шумел бор, за стеной хрупали овес кони. Всю дорогу Никита молчал; а в лесу и без того было невыносимо тоскливо.

— Батя, отчего ты бирюк бирюком?

Демидов широко расставил ноги, от ярости у него перекосило рот, и он стал похож на озлобленного волка.

— Блудом род мой опакостила. Жалею сына — пощажу тебя. Знают в миру трое: вы, паскудники, да я. И никто более не узнает.

Он сгреб сноху за волосы и повалил на пол. Дунька не ревела под плетью. Отходил батя честно, рьяно. Сердце молодки от боя зашлось. Однако она собрала силы, подползла к свекру, схватила руку и поцеловала:

— Спасибо, батя. Суд справедлив. Век не забуду...

— Ну, то-то. Однако и сам я виноват, что не услал тебя с Акинфкой.

Он ткнул сапогом в дверь, она заскрипела, распахнулась, и хозяин вышел из избушки.

Глава седьмая

1

По небу плыли озолоченные солнцем легкие белые облака, калюжины на дорогах подсохли; по оврагам бегали зайцы, потерявшие зимний наряд; по гнездовьям хлопотали птицы. По ранним утрам над рекой дымил туман; с восходом солнца тающей лебяжьей стаей туман поднимался вверх, исчезал.

На тихих водах Оки, покачиваясь, стояли приготовленные к отплытию струги.

Из Тулы в Серпухов демидовские приказчики пригнали новые партии крепостных и кабальных. По царскому указу дозволено было Никите Демидову отобрать в Кузнецкой слободе двадцать лучших кузнецов и отправить на Каменный Пояс. Кузнецы ехали с многочисленными семьями и со всем своим несложным скарбом. Кузнецов погрузили на особый струг и приставили караул. На трех других стругах ехали подневольные: народу теснилось много, было немало суеты и жалоб. Женщины роняли горькие слезы жалости, прощаясь с родным краем; мужики сдерживались. На стругах расхаживали стражники с ружьями, покрикивали на шумных. Хозяин Никита Демидов поселился на переднем струге в особо срубленной будке — казеннике. На палубе разостлали ковер, поставили скамью; жилистый, могучий хозяин подолгу сидел на скамье и следил за стругами.

На восходе солнца подняли якоря и отплыли по тихой воде; Серпухов стал быстро отходить назад, таять в утреннем мареве, только зеленые маковки церквушки долго еще поблескивали на солнце. Вешняя вода спадала, из оврагов и ручьев торопились последние паводки; но река катила свои воды все еще широко и привольно. В темной глубине ее косяками шла нерестовать рыба.

Сенька Сокол лежал на соломе под палубой на струге, на котором плыл Демидов. Лежал Сенька скованный, иссеченной спиной вверх — раны только что затянулись. Силы понемногу возвращались к нему, но на душу пали тоска и ненависть. Рядом на соломе примостились два вдовых кузнеца из слободы. Оба имели свои кузницы, но Демидов за долги отобрал их, а самопальщиков закабалил.

Вверху на палубе струга раскиданы сенники, овчинные тулупы, лохмотья, пестрят бабьи сарафаны, платки, кацавейки, орут ребятишки; у демидовского казенника лают клыкастые псы; везет их хозяин на Каменный Пояс.

Один из кузнецов, бойкий, как воробей, курносый Еремка, приставал к Сеньке:

— И за что тебя, мил-друг, в железо замкнули? А ты плюнь, не тоскуй. Тоска, как ржа, душу разъедает.

Второй кузнец, широкогрудый мрачный кержак с черной курчавой бородой, гудел, как шмель:

— Чего, как липучая смола, пристал к человеку! За что да кто? Ни за что. Пошто наши кузни зорили? Ну?

Еремка крутнул русой бороденкой:

— И то верно. Зря погибаем.

— В миру так,— продолжал кержак: — одни обманывают и радуются, другие обижены.

— Нет, ты правдой живи, правдой,— не унимался Еремка.

— Пшел ты к лешему.— Кержак сплюнул.— Ты, каленый, не слушай его. И я так думал, а ин вышло как! Прямая дорога в кабалу привела. В миру лжу на ложь накладывают и живут. Вот оно как. Уйду в скиты!

Сенька присел на солому, к его потному лбу кольцами липли кудри, под глазами темнели синяки; в золотистой бородке запуталась травинка. Он запустил за пазуху руку и чесал волосатую грудь:

— Скушно...

Кержак положил мозолистую ладонь на Сенькино плечо:

— То верно: здравому человеку в железах, как птахе в клетке тоскливо. Пригляделся я к тебе и скажу прямо: люб! Айда, парень, со мной в скиты! Еремка отказывается.

Еремка весело прищурился:

— Бегите, а я не побегу. Я еще жизнь свою не отмерил. Вы зря затеяли: Демидов — пес, от него не скроешься... На посадье, Сокол, слыхал твои песни. Спой! Ой, уж как я и люблю песню-то. Спой, Сокол!

Сенька шевельнулся, зазвенел цепью:

— Отпелся.

Кержак не отставал:

— А ты подумай, вот...

Под грузными ногами заскрипела лесенка, под палубу неторопливо спускался хозяин. Кузнецы мигом вытянулись на соломе, прикрылись тулупами и захрапели. Сенька злобно поглядел на Демидова.

Хозяин кивнул головой на кузнецов:

— Дрыхнут? Ладно, пусть отсыпаются, набирают силу, работа предстоит трудная.—Взор Демидова упал на цепь.— Ну как, ожил? Может, расковать?

Сенька промолчал. Хозяин недовольно ухмыльнулся в бороду:

— А пошто расковать? Резвый больно, сбегишь, а в цепях — куда!

Сокол скрипнул зубами; Демидов удивленно поднял брови:

— Зол?

— На себя зол,— блеснул глазами Сенька.— Что ни сделаю — все неудача.

— На роду, знать, тебе так написано,— строго сказал Демидов,— это бог так меж людей долю делит: одному удаль, богачество, другому — холопствовать. Так!

— Уйди со своим богом,— загремел цепью Сенька.— Уйди!

— Бешеный! Ну, да ничего, остудишь кровь в шахте. А ты слухай.— Демидов присел на корточки.— Плывем мы на Каменный Пояс; что было в Туле — назад отошло. Могила! Понял? Руки у тебя золотые и башка светлая... чего ершиться-то? Служи хозяину, яко пес, и хозяин тебя не обойдет! — Никита еще приблизился к Соколу и тихо обронил: — Возвышу над многими, если будешь служить мне преданно.

— Уйди, жила! Меня не купишь ни рублем, ни посулом! — Сенькин голос непокорный, смелый.

Демидов встал, крякнул:

— Так!

По крутой лесенке он медленно поднялся на палубу. Кузнецы откинули тулупы, разом поднялись и вновь вступили в спор. Разговор с Демидовым и дума о побеге взволновали Сокола; он вздыхал, глядя на цепь.

Под Каширой река разлилась шире. Издали навстречу стругам плыли высокие зубчатые стены церкви. На бугре размахивали крыльями серые ветряки. Подходили к городу; мимо пошли домишки, сады. Стали на якоря против торжища. Еремка весело выкрикнул:

— Тпру, приехали! Кашира в рогожу обшила, Тула в лапти обула. Выходи, крещеные!

Сенька еще нетвердо стоял на ногах, упросил кузнецов вывести на палубу. Со стругов любовались кузнецы веселой Каширой.

На торжище толпились голосистые бабы, веселые девки; торговцы на все лады расхваливали свой товар. Солнце грело жарко, вода шла спокойно; в тихой заводи отражались в воде прибрежные тальники; над по-

садьем кружили легкие голуби. По Сенькиному лицу скатилась вороватая слеза:

«Ну куда я сбегу с непокорными ногами...»

По сходне на берег степенно сошел Демидов, долго мелькали в пестрой толпе его бархатный колпак да черная борода. Хозяин приценивался к товарам. На берегу дымился костер, в подвешенном чугунке булькала вода; кругом костра сидела бурлацкая ватага и поджидала обед. На реке, против течения, на якорях стояли тупорылые барки...

Сенька не полез обратно под палубу, сидел у борта и любовался берегами. Кашира уплыла назад. Вечер был тих, дальний лес кутался туманом; по реке серебрилась узкая лунная дорожка. Сильные мужики в пестрядинных рубахах ловко правили потесью,[1] слаженной из доброй ели. По реке шла ночная прохлада, но с лица рулевых падал соленый пот. На соседних стругах было тихо: спали горюны и кабальные. Где-то за кладью на струге тихо и ласково напевала женщина, укачивая родимое дитя.

Под Коломной в ночь со струга сбежал кержак. Стражники слышали, как зашумела вода, стрельнули из ружей, но впустую — кержак уплыл. Еремка разбудил Сеньку, радовался от души, смеялся:

— Ловок, ирод, сбег-таки! А Демидов землю роет, залютовал.

В Коломне бросили якоря. Демидов съехал на берег. Под убегающими облаками темнели высокие древние башни. Огибая крепостные стены, серпом блестела Москва-река, и за башнями, за яром, она сливалась с Окой. Приказчики рыскали с псами по тальнику, но беглеца не сыскали. Демидов возвратился злой, привез на струг двух колодников.

Сенька Сокол повеселел, пел песни. Плыли берега, уходили назад деревни.

Солнце веселило землю, густо зеленели сочные луга. Проплыли мимо Дедилова: кругом опустелые деревни — в прошлогодье в морозы вымерзли озими, крестьяне голодали. На берегу мелькнули монастыри, на горизонте долго маячили церкви; звонницы молчали: по царскому указу поснимали с них на литье пушек медные колокола. Под Муромом разбушевалась непогодь, в береговых лесах рвало с корнем деревья, по дорогам кру-

[1] Рулевым веслом.

жили пыльные столбы, а после хлынул ливень. Всю ночь земля содрогалась от грома, зеленые молнии разрывали черное небо. Утром из леса к пристаням пришел сергачский медвежатник. Медведя и мужика Демидов залучил на струг, их накормили, и медведь потешал народ. Демидов сидел на скамье, подпершись в бока, глядел на потеху. Михайло Топтыгин показывал, как ребята горох воруют, как бабы воду таскают, валялся, как пьяный. Кругом народ сгрудился, любопытствовал. Натешившись, Демидов сергачского медвежатника спустил на берег, а медведя оставил. Мужик долго бежал вдоль берега и крепко ругался. Струги плыли быстро; медведь, прикованный к стругу, сердито ревел. Демидов залез в казенник, разложил на столе тетрадку и писал обо всем, что видел. Скучно было Демидову без работы, некуда было себя девать...

Спустя немало дней на горах встал Нижний Новгород; солнце опускалось за кремлевские стены; казалось, за ними плыл пожар...

К Сеньке подсел Еремка, ветерок трепал его бороденку.

— Вон какая Русь великая, а горя — моря, не вылакаешь...

Сокол смотрел в синие дали: под Нижним Ока вбегала в матушку Волгу.

У Еремки чесался неугомонный язык.

— Вон он, Нижний, сосед Москве ближний; дома каменные, а люди железные. Воды много, а почерпнуть нечего.

Струги подходили к буянам. На реке стояли расшивы, баржи, темнели плоты. Опускался тихий вечер; над горами зажглась первая звезда; по берегу бурлаки разожгли костры, грели варево. Небо раскинулось темное, глубокое. Сенька не мог успокоиться: «Что стало с Дунькой? Испорол, поди, черт!» Весной сердце глубже любит, и мысли Сокола не покидали подругу. Мерещилась она ему, крепкая и смелая. В лунную ночь казалось, за стругом бежит... Тело Сокола крепчало от речных ветров, вставал на ноги; терли железа, а Демидов грозил:

— Сгинешь теперь, Соколик, из-за бабы.

Сокол смело отвечал хозяину:

— Не из-за бабы, а из-за любви. Ты, видно, не ведал того.

— Баба — она баба, дело — оно дело,— не доходи-

ла до Демидова речь Сокола.— Я женку сыну за десять рублев купил, вот те и любовь тут!

Кабальный вздохнул:

— Ну и сердце у тебя, хозяин!

— Такое уж,— согласился Демидов,— железное. Дело, брат, у меня — все. Руки у меня жадные, все зацапать хочу. Вон она, моя жизнь-дорога!..

Раз бурлаки разозлили медведя, он сорвался с цепи и кинулся на людей. Когтистой лапой зверь грабанул по лохматой голове потесного[1] — кожа с волосами долой, лицо залилось кровью; потесный упал. На медведя кинулись демидовские псы; одного зверь порвал, другого в реку скинул. Рыча, медведь ринулся за женщиной.

Из будки выскочил Демидов, в руках дубина, и пошел на зверя. Медведь рявкнул, занес лапы. Хозяин бестрепетно шел на зверюгу, и тот, рыча, отступил под жгучим взглядом Демидова.

Хозяин загнал медведя на казенник и посадил на цепь.

— Вот идол! — восхищались потесные.— Зверя покорил!

— Ну, что, варнаки, будете еще баловать? — Демидов утер с большого лба пот и бросил дубину под скамью.

Под вечер на струги грузили пеньковые веревки: славны посады Нижнего доброй пенькой. В чугунках на костре работные варили окских щук и окуней. Приятно пахло дымком.

Разбитной Еремка сварил уху и заботливо угощал Сеньку:

— Ты, мил-друг, крепи тело.

Мимо стругов величаво шла Волга, по тихой воде шли круги: играла рыба. В темном небе сорвалась и черкнула золотым серпом падающая звезда. Еремка, заглядывая Сеньке в глаза, сказал задумчиво:

— Вон и звезды горят, и рыба играет, а людишки несчастливы. Зверье! Ты, мил-друг, о девке тоскуешь? Не забыть. Любовь — она крапива стрекучая...

Сенька перестал есть, положил ложку; лицо его потемнело:

— Сбегу, а Демидова зарежу!

— Осподи Исусе, воля твоя,— перекрестился Еремка.— Что ты говоришь? Ты послушай, мил-друг, что я

---

[1] Рулевого.

тебе скажу, а ты на ус наматывай. Вот ты Никиту Демидова зарежешь, а на его место Акинфий...

— Этот мое счастье сгубил! — угрюмо ответил Сенька.

Еремка оглянулся:

— Наше счастье бояре да дворяне потоптали. Какое счастье кабальному? Надо, мил-друг, всем скопом за счастье подняться. Одному человеку свое счастье не уберечь. Ты, мил-друг, гляди глубже...

Кузнец внимательно посмотрел на Сеньку и замолчал; рядом прошел стражник с плетью. На берегу гасли костры. Озорной малец вывернул на угли котелок воды, над костром поднялся белый пар. В речной воде отсвечивали темно-синее небо да звезды. На заокской стороне перебрехивались псы да ночные сторожа колотили в колотушки...

2

От Нижнего Новгорода демидовские струги плыли по Волге-реке. Вода шла бойко, над коренной поднялась высоко; струги бежали быстро. По берегу из Понизовья с бечевой, с натужной песней, шли бурлаки. Приказчики у рыбаков добывали Демидову стерлядь, варили уху. Хозяин обеспокоенно расхаживал по стругам; на них появились хворые люди, исходили животами. Приказчики кормили людей порченой рыбой. Вечером, когда приставали струги, на берег сносили мертвых, хоронили наскоро, ставили рубленый крест.

Мимо прошли волжские городки — Васильсурск, Козьмодемьянск,— далеко синели главки их церквей. На высоких буграх промелькнули Чебоксары; по берегу стояли палатки, горели костры, раскинулся воинский лагерь. Народ кругом — чуваши, марийцы, татары — волновался; для усмирения царь Петр на берегах Волги держал ратных людей.

Под Казанью на берег вышли татарки, глаза у них печальны, сами стройны. Еремка вздохнул и сказал Сеньке:

— Хороши девки, да нехристи.

Сенька стоял прямо и легко; ноги отошли, обрели силу. Над Казанкой-рекой на крутых ярах высился кремль с резными башнями. На холмах — серые домики посадьев, вокруг деревянные стены. На посадском торжище бойко шла торговля. Смышленые татары звонко зазывали, предлагая товар. В приволжских окраинах

народ голодал, и видел Сенька, как на струг взобрался чуваш с девчонкой. Была она хороша, ясноглаза, с льняными волосами и тонким станом, а лица у отца и девчушки землистые: голод не тетка. Демидов в голубой рубахе сидел на скамье и разглядывал девчонку. Чуваш упал перед ним на колени:

— Купи, бачка, хороший девка...

Девчонка дичилась, глаза уставила в землю, на ее ногах — тяжелые лапти. Демидов посмотрел на ребенка, нахмурился:

— Что я с нею делать буду? Ковать да копать руду ей не под силу, а когда из нее работница выйдет — жди! Не надо мне робят. Уходи отсюда...

Чуваш долго стоял на берегу, надеясь, что Демидов раздумает. Ясноглазая девочка подбирала на берегу камешки, играла.

Кабальных и кузнецов на берег не отпустили. Демидов съездил к воеводе. Казанский воевода пожаловал сам на струги и архиерея приволок. Воевода ходил в боярском кафтане — по бархату золоченая расшивка; от грузности воевода пыхтел.

Демидовские приказчики под локотки воеводу на сходнях придерживали. У архиерея лицо бабье, на рясе — серебряный крест. Постукивая по сходням посохом, архиерей взошел на струг сам.

Демидов угостил знатных казанцев стерлядью, наливками. Воевода пил молча, скоро огруз и опечалился. Архиерей после каждой чары сладко причмокивал и умильно глядел на Демидова; покачивая головой, хвалил:

— Ну и знатная у тебя наливка.

Хлебая уху, архиерей возгласил:

— Сегодня середа, день постный — стерлядь дозволяю.

Демидов вызвал Сеньку Сокола. Кабального поставили перед столом.

— Ты, ядрено-молено, кабальный, спой постную песню!

Сенька не шелохнулся, опустил руки, цепи лежали у ног. Тряхнул кудрями:

— Я не шут, не потешный, хошь и кабальный.

Воевода рот раскрыл, жадно ловил воздух. Прохрипел:

— Демидыч, колошмать вольнодумца!

Сокол под битьем молчал, это воеводе понравилось.

Сам Демидов поднес кубок Сеньке. Не глядя на хозяина, Сенька выпил, утерся и пригрозил Демидову:

— Берегись, хозяин, сбегу — зарежу за батоги!

Демидов, не хмельной,— не пил,— сдвинул брови, пожаловался:

— Когда ж я того дьявола уломаю? Ни батоги, ни ласковое слово не помогают. Волка — и то приучают...

Архиерей, опершись о посох, вздыхал:

— Ох, господи...

Опустилась прохладная ночь; на берегу шелестел листвой ветер. На струге зажгли фонарь, сработанный из бычьего пузыря. Свет был тускл, скуден. На берегу все еще сидел чуваш, и девчонка, покрытая сермяжкой, спала тут же.

Демидов под руки свел со струга воеводу и архиерея.

— Бачка,— крикнул чуваш,— бачка, купи девку...

— Отстань, пес,— выругался Демидов.

— А сколько девке годов? — приостановился воевода.

— Двенадцать, бачка.— Чувашин снял шапку и подошел к сходне.

Воевода подумал и посоветовал Никите:

— Купи, купец, девку, сгодится.

На берегу у погасших костров храпели бурлаки; над водой кружил ветер. Побитый, осатаневший от ненависти, Сенька лежал у борта струга и смотрел в бегучую воду: «Утопиться, что ли?»

Рядом сидел Еремка и, словно угадывая его мысль, сказал:

— Ты, мил-друг, головы не вешай. Отпороли, ништо. От того ярость лютее будет. Вот оно как...

Утром на зорьке снялись с якорей и отплыли к устью Камы, где Демидов полагал отгрузку...

По берегу шли кудрявые сады, мелькнули обширные села: Нижний Услон с приветливыми рощами, с поемными лугами; между двух гор в зеленой долине лежала Танеевка. Про те горы ходили сказы о разбойничьих ватагах, которые гуляли по Волге. Величаво прошла Лысая гора: сторожит берег и клады Разина.

Волга, убегая вправо, широко разлилась, сверкала серебром, легкий туман дымился над водами; вольная река торопилась в лиловую даль. А слева надвинулись глубокие воды Камы-реки. Долго бежит Кама рядом с

Волгой, не хочет слиться. Воды ее темны...

Вот и устье!

Струги стали на якоря, сгрузились. Кабальных и крестьян сбили в ватаги, назначили старост. Больных усадили на телеги.

Сенька шел пошатываясь, лицо осунулось.

Демидов усадил кузнецов на подводы и уехал вперед: торопился на Каменный Пояс.

Прощаясь, Еремка обнял Сеньку крепко:

— Ты, мил-друг, прирос к моему сердцу. Помни: в беде я первый помощник тебе... Выручу!

Пошла бесконечная сибирская дорога. Скрипели телеги, у кандальников позвякивали цепи...

Люди от тоски, от тягот запели унылую песню.

Позади в последний раз мелькнули и исчезли синие воды Камы.

Глава восьмая

1

Акинфий Демидов и приказчик Мосолов давно уже отправились на Каменный Пояс. Всю дорогу они поражались просторам и богатствам нового края. Путь лежал через Башкирию, в ней пошли увалы и горы; с каждым днем горы становились выше, суровее, боры и лесные чащобы — непроходимее. По сибирской дороге встречались станы кочующих башкиров. Башкиры — народ крепкий, смуглый и храбрости немалой, а живут бедно. Башкирские сельбища, которые видел Акинфий, представляли собой неутешительное зрелище: жилье убого, грязно и дымно; осенняя непогодь местами разметала и разбила крыши. По пастбищам бродили табуны, и в них отгуливались добрые кони и кобылицы. По Каме и речным рубежам, для охраны границ, стояли русские крепостцы и острожки. Пади рек перекапывались рвами и валами, под защитой укреплений селились служилые люди. В лесистых местах встретились Акинфию засеки, и опять же сторожевая линия укреплялась городками, острожками, проезжими воротами да башнями, а то просто лесными завалами. Горные заводы, построенные русскими воеводами, подступили вплотную к башкирским землям и переходили рубежи. Воеводы не стеснялись, самовольно занимали башкирские земли. По долинам Каменного Пояса распространились русские посельники, бежавшие от тяжкой опеки царских

людей и помещиков на вольные земли. А земли по склонам Каменного Пояса шли черноземные, с дремучими лесами и рыбными озерами...

Демидовский обоз передвигался ходко: торопился Акинфий к жалованному заводу и землям. Жадный Мосолов разжигал Акинфия:

— Земли не огребись, народишко кругом к хозяйским рукам не прибранный. Послал вам с батей господь бог жатву обильную. Эх, кабы мне такие просторы, я бы заглотал все...

Бывший купец с завистью поглядел на Акинфия, тот усмехнулся и спросил:

— И не подавился бы?

— Ничего. Все прибрал бы, к таким делам я ненасытный. Да и так я прикидываю: не обидите меня с батей за мою службишку...

— Не обидим, но то знай: хапать без спросу не дам, повешу! — Лицо Акинфия было строго и жестоко.

Купец подивился в душе: «Эк, быстрый какой! Сам хапуга из молодых, да ранний, а другим ни крошки». Однако лицо Мосолова расплылось в улыбку:

— Да ты что, Акинфий Никитич, напраслину на меня возводишь. Я как пес добро ваше оберегать буду. Увидишь сам...

Мосолов быстро и толково выполнял наказы Акинфия, глядел ему в глаза. Дорога дальняя и тяжелая — кони уставали, и Мосолов менял коней у башкиров за негодную мелочь, а то просто арканил скакунов в табунах, башкирским табунщикам бил лица в кровь и грозил:

— Я человек царский, мне все можно. Другие радовались бы чести, что коней их беру, а они воют... Ух ты!

Башкиры по улусам кляли хапуг; старая обида еще не отошла. Осторожный Акинфий предупреждал Мосолова:

— За ловкую хватку хвалю, но ты потихоньку, без шума, а то нам же пребывать в этих краях...

— Это ты верно, Акинфий Никитич,— соглашался Мосолов.— Ух, и разум у тебя большущий...

На возах ехали бойкие московские мастеровые — народ разбитной, песни пели. На последней подводе сидели тульские старики: пушечный мастер и доменщик. Каждый думал свою думу. Доменщик, жилистый, с умными глазами, указывая на глухие боры и серые шиханы, восторгался:

— Ну и край! Сколь я на своем веку домниц возвел! Сколько железа из руд в них наплавили! Мастерство мое старинное и для отчизны потребное, только беда — на купца робим! Сбежал бы, кабы не любил свое дело!

Рядом с ним на подводе сидел пушкарь, легкий, веселый старик. Он радовался солнцу, птичьим голосам, лесному шуму.

— А я пушки лажу, голубушек роблю! — ласковым голосом отозвался он.— В нашем роду все пушки да ядра лили. Пушку сробить — большое дело, мил-друг! Нет больше радости, когда выйдет пряменькая, гладенькая, крепенькая! Обточишь ее, милую, и сдашь для обряженья. А когда обрядят да на поле заговорит пушечка-голубушка, душа возрадуется! Эх, мастерство, мастерство — радость одна, только оно и веселит!.. Эвон, глянь, сколь важен стал хозяин! — кивнул он в сторону молодого Демидова.

Ехал Акинфий впереди обоза на сером коне, сидел он ловко, легко. Глядя на его широкие плечи и тугую загорелую шею, доменщик сказал:

— Ишь вылетел стервятник из гнезда родительского. Сердцем чую, высоко взлетит!..

В горах долго погасал закат, вечер стоял тихий, ясный; синели ельники; на озерах шумно хлопотали гусиные стаи...

После долгой дороги наконец распахнулась долина, в ней заводский пруд; поблескивая, он уходил верховьем за лесистые скалы. На берегу пруда дымила домнушка.

— Вот и Нейва-река! — Акинфий натянул поводья, и конь медленно пошел под гору; взор хозяина холоден, на переносье легли две глубокие складки. За хозяином с горы потянулся длинный обоз; все притихли, присматривались к новым местам, где приведется ладить свою жизнь. Кругом вздымались дикие горы, наступали хмурые леса. Среди них заводишко выглядел бедно: серые приземистые строения, каланча — все было убого. В этот тихий вечерний час солнце опускалось за горы, над прудом таял темный дымок домны.

Нового хозяина встретили грязные, лохматые псы. Хрипло пролаяв, они лениво отошли под навесы. Рабочие у штабелей, поснимав шапки, с любопытством глядели на приезжих. Склонив нечесаные головы, путаные бороды, они глядели угрюмо, исподлобья.

Акинфий соскочил с коня и прошел в контору. В ней

за тесовым столом сидел остроглазый писчик с жидкой косицей на спине и, потягиваясь, до слез зевал.

Акинфий по-хозяйски шагнул вперед:

— Этак от лености скулы свернешь. Эй, малый, где управитель тут?

Канцелярист поскреб затылок:

— Я тебе не малый, а писчик. Вот кто я... Да ты, супостат, отколь взялся да что кричишь? Чего доброго, дьяка взбудишь...

Управитель Невьянского казенного завода, подьячий Деревнин, четвертый день тянул хмельное. Пьяный, опухший, он валялся за перегородкой на скамье и храпел. Акинфий шагнул вперед к столу, схватил писчика за косичку и выволок на середину горницы:

— Ты, крапивное семя, сгинь отсель. Отныне конюхом жалую, за нерадивость пороть буду. Понял?

— Ой, это как же?

— Брысь! — Демидов сжал кулак, писчику страшно стало, екнуло сердце, мигом юркнул из конторы, перекрестился:

— С нами крестная сила! Может, бес, может, оборотень. Ох ты!

На заводскую площадь стягивались подводы, и проворный Мосолов, ругаясь, выстраивал их полукружьем. Рабочие люди, побросав работы, сбегались к табору. Приезжих окружили заводские бабы, ребята, лезли с расспросами. Московские мастера раскладывали костер; площадь была обширная, строения редки и крыты дерном.

Акинфий Демидов прошел за перегородку, сволок со скамьи пьяного подьячего. Тот пучил осоловелые от хмеля глаза, отбивался.

— Разбойники! — ревел подьячий.

— Закрой хайло, очухайся,— тормошил Акинфий пьянчугу.

Подьячий понемногу пришел в себя, громко икал и плевал в бороду.

— Бороду утри! — гаркнул Акинфий.— Разговор будет о царском повелении.

Хмель разом соскочил с подьячего, он с досадой вытер рукавом бороду и уставился на Акинфия:

— Ну!

— Вот те ну! — Акинфий достал из холстинки царскую грамоту о жаловании Демидовых Невьянским заводом, бережно развернул ее: — Читай!

Подьячий выпучил глаза; бороденка его прыгала, тревожили мысли: «Вот коли дознаются о заворованных деньжонках... И нанесла нелегкая...»

Акинфий по-хозяйски распоряжался:

— К завтрему приготовь сдачу; завод принимаю я. Где, как и чего, досконально выложь. Сейчас ночлег себе ищи в другой избе — тут на первое время размещусь я.

Подьячему и перечить не было времени. Акинфий прошел к порогу, с силою распахнул дверь и гаркнул на всю площадь:

— Мосолов, бабенок сыскать, полы умыть да пакость всякую отсель убрать...

Не успел подьячий раздумать обо всем, как проворный демидовский приказчик пригнал из обоза двух ходовых крепких молодок. В руках у них ведра с водой и мешковина; подолы засучены. Курносая рябая поломойка заголосила:

— Ты, приказный, уходи, а то хлестать будем! — Молодка опрокинула ведро на пол,— разлилась лужа. Подьячий, косясь на озорных женок, отступил к двери: «Ох, и наваждение, спасе...»

Молодки бросились счищать со стола и скамеек грязь, терли, мыли, по избе гул шел...

Акинфий обошел завод, по пятам его ходил приказчик Мосолов. Оглядели плотину: вода размывала насыпь, у плотины стояли низкие, закопченные сажей заводские строения. С глухим шумом двигались водяные колеса; в каменном здании постукивал обжимный молот. Вдоль пруда тянулись бревенчатые избенки с натянутыми в окнах пузырями.

На площади валялось и ржавело выплавленное железо: не успели по санному пути вывезти с завода. В заводских строениях все строено наспех, шатуче и уже разрушалось.

— Плохо,— пожал плечами Акинфий.— Эк, до какого разора завод довели.

На другой день Акинфий Никитич Демидов принимал завод. Хрипатый с перепоя подьячий путал, хитрил, тут же вертелся быстроглазый писчик. Акинфий недовольно хмурил брови. Навалившись крепкой грудью на стол, он недоверчиво поглядывал на бумаги и цифры; подьячий водил по ним перстами и сладкоречивым голосом усыплял Акинфия.

Демидов час-два терпеливо молчал, приглядывался

к подьячему; тот в душе уже ликовал: «Хвала богу, проехало». Но тут Акинфий придавил пальцы подьячего:

— Полно врать, дьяче... Металла большие недостачи насчитал я. Зоришь завод... Сегодня тебя и писчика отсылаю в Верхотурье к воеводе — пусть разберется с вами, какой разор чинили тут, а мне некогда.

Акинфий сгреб бумаги и сунул их в ящик.

— Хватит с вами лясы точить. Сбирайтесь в дорогу! Подьячего и писчика усадили на подводу и отослали в Верхотурье.

Мосолов подал Серка хозяину; Акинфий легко вскочил в седло, конь шатнулся под могучим телом. Акинфий объехал соседние увалы, в развалах кучами лежала наломанная руда. В горы не было колесных дорог; с вершин открывался простор, кругом шумел дремучий лес...

Возвратясь с объезда, Акинфий отобрал скорых на руку кузнецов, они сварили плотницкие топоры. Наказал хозяин рубить избы, делать заплоты; ходили рабочие после заводской работы косить в лугах сено: напасали корму для скотины. Доменный мастер возводил у плотины новую домну. Поднимался старик до восхода солнца — на пруду еще дымился туман, на поникших ветвях ивняка блестела роса — и весь день-деньской хлопотал на стройке. С лесов старику открывался пруд, лесистые горы и весь завод, кругом копошился народ; мастеру становилось весело, и он покрикивал подручным и подносчикам камня:

— Давай, давай, ребятенки...

С версту вверх от старой плотины возводили еще одну: Акинфий затеял захватить вешние воды и держать их в запасе для новых молотов. Кругом завода спешно возводили бревенчатые стены и рубили дозорные башни. На каменном фундаменте ставили стены острожка. Завод становился крепостцой. На обширной площади, поближе к пруду, заложил Акинфий хозяйские каменные хоромы и заводские избы...

Дела возникали одно за другим. Хотелось Акинфию всюду поспеть, все захватить, а людей в пустынной окраине было мало. Акинфий расставил по тайным горным тропам сторожевые дозоры, чтобы оберегать своих людей от побегов и перехватывать беглых и каторжных. Демидовские приказчики разнесли молву, что на хозяйских заводах всем место найдется и «выдачи от Деми-

дова не будет». На заводе дела надобны, и хозяину все равно, кто и как крестится: щепотью или двуперстием. На молву на демидовские заводы потянулись раскольники, беглые крепостные, бежавшие от тягот и неволи.

Приказчик Мосолов отобрал с десяток озорных ребят, вооружил их и прошел ближными лесами: в них охотились коренные хозяева этих земель, племя манси, по писцовым книгам именуемые «ясачные вогулы». Запуганных манси Мосолов пригнал в лесные курени и заставил жечь уголь. Манси, не привычные к черной работе, стайками разбегались по лесам, оставшихся били батогами.

Манси и без того платили ясак царским воеводам. Новое притеснение со стороны заводчика подняло их на борьбу. Сбившись в лихие ватажки, они зачастую отбивались от Демидова, а где было по силе, разоряли его лесные курени...

И все-таки рабочих рук не хватало; Акинфий разъезжал по редким деревням соседних волостей, заманивал народ посулами, но крестьяне не шли в Невьянск.

2

В июне на завод на речке Нейве прибыл обоз Никиты Демидова. Батька не отдохнул, не умылся, взял посох и поторопился оглядеть заводское хозяйство. Люди устраивались на отдых. Расхаживал по заводу Никита Демидов неторопливо, всюду проникал зорким глазом. Душа кузнеца радовалась: «Эх, простору сколько!» Хватка и радение сынка понравились отцу. «Молодец, хозяйничать разумеешь. Чую в тебе, сынок, демидовскую руку»,— похвалил он Акинфия.

Никита съездил в горы: земля кричала о рудах. Жить можно!

Старик сам взялся за стройку каменных хором. Велел под хоромами рыть глубокие подвалы, стены возводили толстые, окна ладили узкие. Строили палаты, как крепость. И жилье в палатах строилось по указке Никиты так, чтобы в горнице Демидова было слышно, что творится во всех других палатах: кто и какие речи ведет. С богатством к Никите Демидову пришла подозрительность. «Богатство,— вздыхал Демидов,— людям сна не дает, соседей обуревает зависть. Не спят и думают, какую бы пакость учинить. А слуг неподкуп-

ных нет, народ ноне озорной. Для безопасности не вредно будет подслушать, что́ у них на уме... Так!»

Перед хоромами выросла и приказная изба.

Сеньку Сокола и с десяток кабальных Никита Демидов отобрал в шахты для ломания руд. Веселый кузнец Еремка угодил на работу в кузницу при хозяйских хоромах.

Еремка на прощанье обнял Сеньку:

— Ну, мил-друг, прости-прощай... Знай, коли что, Еремка — первый друг тебе. Полюбился ты мне, парень. А советы мои не забывай...

Еремку отвели на демидовский двор ковать уклад для демидовских хором: решетки к окнам да к балкончикам, крюки для дверей да петли...

Отобранных к рудокопному делу выстроили перед заводской избой. Акинфий Демидов спустился с крыльца и узнал Сеньку. Сокол потупил глаза в землю, цепи звякнули...

— Ты что ж в железах? Аль наблудил? — хмуро спросил Акинфий.

— Всякий грех бывает. Может, и провинился перед людьми.— У Сеньки голос злой: вспомнил Дуньку, кровь всколыхнулась в нем...

Сенькины товарищи стояли покорно, опустив руки, многие были в цепях.

С заводской площади рудокопщиков повели к горе. На ней шумели озолоченные солнцем сосны, над падью пели жаворонки, на пруду раздавались гулкие стуки валька: заводская баба стирала белье. Сенька жадно глотал свежий воздух и подставлял лицо солнцу: «Скоро ли увижу тебя, иль больше меня не пригреешь?» Мысли кружились черные, безнадежные...

Вот и горщицкая изба. К горе лепился крепкий сруб из свежих сосновых бревен; на них на солнце янтарем блестит растопленная смола. Возле избы толпились кабальные, только что согнанные демидовскими приказчиками отовсюду. Сенька жадно приглядывался. Мужики угрюмо гудели; одежонка на них — одна рвань, лохматые, нечесаные бороды, у некоторых лица вымазаны сажей иль засохшей грязью. Сенька заметил: под сажей упрятаны выжженные каторжные клейма. Сокол ахнул: в стоптанных лаптях, опустив на широкую грудь лохматую голову, на земле сидел кержак, бежавший под Коломной с демидовского струга. Кержак тяжело

поднял лохматую голову, глянул исподлобья на Сокола:

— Что, признал?

Сенька подался вперед:

— Как же так?

— А так, бежал в скиты, а на тропе демидовская застава навалилась. Поймали вот.— Кержак сердито засопел.

Из избы вышел надсмотрщик — раскоряка-мужик с заячьей губой,— отобрал десяток кабальных и погнал в гору; там был спуск в шахты. Сенька и кержак держались друг друга.

В избе на скамье сидел стражник, на боку — сабля; он тянул из грязного рога табак; избенка застилалась клубами дыма.

— Ну, скитнички — божьи людишки, ну, каторжнички, крещенные каленым железом, ну, божедомы, где крутились-топтались, а под Федькину высокую руку угодили...

На закопченной стене избы висели плети. Стражник показал на них:

— Для нерадивых припас. За работенкой о том не забывайте.

Надсмотрщик, скрипнув козловыми сапогами, распахнул дверь; за ней шла каменная дыра, пахну́ло сыростью.

— Ну, милостивцы, неча прохлаждаться, на работенку проходи! — зарычал надсмотрщик.

Сенька с кержаком первые вступили в узкий проход, в конце его — малая площадка. Кругом сдвинулась тьма, давили каменные своды. Надсмотрщик держал сальный фонарь, обтянутый пузырем. В мутном, неверном свете Сенька различил с краю площадки узкий лаз: пахнуло могилой. Надсмотрщик уверенно шагнул к черной дыре:

— Тут лесенка, держись крепко, оступился — кости растеряешь, как не был.

Он проворно нагнулся, ухватился за скобы у краев ямы и опустил в нее ноги. Фонарь прополз вниз и затерялся в черной бездне. Сенька ухватился за края дудки и повис в бездне; долго ногами шарил лестницу. Наконец нащупал шаткие перекладины и стал спускаться во мрак. Внизу тусклым глазом мелькал фонарь надсмотрщика, сверху из-под лаптей кержака сыпалась земля. Стенки узкой дудки были скользки от сырости, по камню сочились невидимые ручейки.

Люди, как тараканы, сползали в тьму. После нескольких томительных минут Сенька стоял на первой площадке. Надсмотрщик махнул фонарем:

— Площадка тут, слышь-ко. Не задерживайся больно, дале лезь!

Лезли все ниже и ниже; становилось душно. Под ногами скрипели лестничные перекладины, лязгали неразлучные цепи. Добрались до штолен. Своды были низки, острыми зубьями торчали камни.

— Голову ниже иди, народ! — Надсмотрщик шагнул вперед, за ним Сенька; ноги по щиколотку вошли в гнилую воду.

— Ты куда нас ведешь, в могилу, что ль? — крикнул Сенька.

Надсмотрщик сердито отозвался:

— Помалкивай, аль мало дран...

Тоска как железные клещи сжала сердце Сокола. Голоса стали глухими. Нависшие из тьмы камни казались призраками.

Вышли в штольню, по ней кой-где светились бродячие огоньки фонарей. Сенька еле успел прижаться к стенке: полуголые лохматые люди с тяжелым дыханием гнали груженные рудой тачки. При тусклом свете фонаря мимо Сеньки мелькнули темные жуткие глаза, потные грязные лица, и все растаяло, как морок. Где-то за навороченными камнями журчала вода и доносился слабый грохот разгружаемых тачек. Духота меж тем сгущалась, по Сенькиному лицу растекался обильный пот.

В штольне стало шире, надсмотрщик остановился:

— Ну, прибыли. Э-гей!..

Из-за угла блеснул слабый свет, в мутном освещенном круге на бородатом лице ворочались белки.

— Поруха! — крикнул надсмотрщик.—Народу прибыло. К делу приставь!

— Ага! — прогудело в ответ.— Иди выбирай женок себе!

В штольне у стен стояли тачки; дед Поруха, с заляпанным грязью и сажей лицом,— сверкали только зубы,— ворочал тачки:

— Вон они, ваши женушки. Добро выбирай, ковать к тачке будем, потом не сменяешь. По-христиански женим — до гроба...

Сенька отобрал себе тачку, дед Поруха вытащил из-за камней молот. Надсмотрщик поднес фонарь.

— Ну, давай железа ручные... Их ты, горемыч-

ный! — Дед схватил Сенькины цепи и стал приковывать к ним тачку; вглядевшись в Сенькино лицо, вдруг узнал:

— Э, батеньки, да то знакомый, наш, тульский. Сенька, да ты как попал сюда?

— Угодил так же, как и ты. Отковались, дед, теперь руду копать будем...

— И-их, сынок, плохо.— Дед Поруха застучал по кандалам молотом.

«Вот оно и счастье свое обрел,— с горечью подумал Сенька.— Неужели до гроба?»

Кержак, словно угадав мысль Сеньки, угрюмо кинул:

— Ну вот и отгуляли, знать, по земле, а теперь к самому дьяволу в преисподнюю пожаловали.

— А ты еще шуткуешь? — брякнул по цепи молотом дед Поруха.— Погоди, поживешь, покаторжничаешь и остатнее человеческое стеряешь. У нас, брат, тут так... Ух, держи кандалье! — Он взмахнул молотом.

В пустой тьме жалобно зазвенело железо...

3

Под землей дух тяжелый, теплынь; густая, гнетущая тьма; нет ни дня, ни ночи. Свет сального светильника неверен, то меркнет, то вспыхивает, на каменных сводах колеблются угловатые тени. Рудокопщики выбиваются из сил; работают тут бородатые кержаки, и посадские жильцы из Верхотурья, и беглые солдаты, и монахи-расстриги, и башкиры: лишь бы руки кирку держали да в камень били. Сенька бил киркой до соленого пота, от него рубаха стояла коробом. В забоях надрывались артельно; направо от Сеньки — кержак-рудокопщик медвежьей силы, в его волосатых руках лом гудел, брякали цепи, во тьме поблескивали кержачьи злые глаза. Словно конь в испарине, кержак дышал тяжело, на могучей спине дымился парок. Он ладонью растирал пот на лице и гудел:

— Попадись сюда Демид — башку сшибу!

Лом прыгал по каменьям, высекал искры. Кержак присел на корточки, ощерился. Доглядчик погрозил кержаку:

— Помалкивай, аль шелепа захотел? — За поясом у демидовского стервятника — плеть.

Кержак схватился за лохматую голову, плечи опустились, задергались:

— Уйди, леший...

Сенька слабел, кружилась голова. В темных углах мерещилось нехорошее: будто стоит кто-то грузный и плачет. А там никого и не было: серый камень да каплет вода...

Когда ложились на роздых и приходил тяжелый сон, по телу шарили мерзкие крысы. Изголодавшись, они пожирали все: и сало в светцах и последний припасенный хлеб, не щадили и человека. Среди сна Сенька проснулся от их писка: крысы люто грызлись, не поделили добычи. На камне, поджав ноги, сидел кержак, в его руках дрожала зажженная лучина. Зубы кержака ляскали:

— Страховито... У-ух...

— Да ты ж на медведя ходил,— поднял голову Сенька.

— Так то медведь, а тут нечисть... Ой!..

Тишина грузным камнем давила темя; чтобы уйти от тоски, иногда пели песни, но они были тоскливы и темны, не прогоняли боль. Соколу мерещились зеленые перелески, небеса, дороги-перепутья. Мучила жажда; пили подземную загаженную воду.

Наломанную руду грузили в тачки и по штольне везли в рудоразборную светлицу. Сверху в колодец спускалась бадья, в нее ссыпали руду. Вверху маячил кусочек неба, и Сенька радовался ему.

Время шло немерянное, неизвестное; сколько отбыли, сколько отжили — никто не знал. В забоях крепи ставили ненадежные,— хозяин жалел лес,— часто грохотало и давило людей. По многу дней покойники лежали в забоях, крысы устремлялись к ним, шла грызня, и по шахтам тянуло тошнотворным душком. Коваль, дед Поруха, сбивал с покойников кандалы и чинил поврежденные тачки.

Под землю спускали новых работников, и снова гремело железо: лохматый дед венчал кабальных с тачками.



ЧАСТЬ 2

Глава первая

Вверх по реке Нейве Демидов поставил вторую плотину; новые водяные машины приводили в движение обжимные молоты. Закончили каменные демидовские хоромы, тайные подвалы соединили трубами с прудом, и стоило открыть шлюзы, как прудовая вода устремлялась в них. К осени завод обнесли тыном, отстроили башни и у ворот приставили вооруженных сторожей.

За тыном кругом завода повалили вековой лес; теперь далеко видно было всякого, кто пробирался к заводу. По лесам хозяин расставил тайные заставы.

Кругом горы, дебри, леса — остался Демидов с глазу на глаз со своей совестью.

Наступила ранняя уральская зима. Облетел лист с задумчивого леса; от первых морозов покрылись льдом прозрачные горные озера.

По зимнему первопутку, по указу царя Петра Алексеевича, в Невьянск наехал думный дьяк Андрей Андреевич Виниус — знаток и любитель горного дела. Думный дьяк только миновал Казань, а уже демидовские дозорные дали знать о том хозяину. За сотню верст до Невьянска Демидов выслал дьяку крытый возок и дорожную волчью шубу.

«Край наш студеный,— велел передать заводчик царскому посланцу,— морозы трескучие».

На реках гудели льды, трещало сухое дерево от мороза; тощий и длинный дьяк обрадовался волчьей шубе. Встретили дьяка в Невьянске хлебосольно, без лишнего

низкопоклонства. Виниусу по душе пришлась простота и суровость Демидовых. Умывшись с дальней дороги, отдохнув, Андрей Виниус обошел завод. Он, как и Никита Демидов, помалкивал. Сметив хорошее, дьяк одобрительно качал головой. Своим пытливым глазом он заметил, что заводы и горное дело попали в суровые, хозяйские руки. В молотном Виниус подпоясался фартуком, сам показывал, как надо ковать. Делал дьяк все неторопливо, вдумчиво, и то, что в нем не было пустой суеты и работал он без ругани, работным людям по сердцу пришлось.

Рабочие головами покачивали:

— Ишь, по царю и дьяк!

Андрей Виниус пожелал самолично слазить в шахту и узнать, как идет добыча руды. Никита Демидов долго уговаривал дьяка не лазить в преисподнюю, но Виниус остался непреклонен.

В горной избе Виниус поглядел на плети, покачал головой, сказал:

— О, это нужно в меру!

Чубатый Федька-стражник вытянулся перед дьяком по воинскому артикулу и гаркнул:

— Верно, по-хозяйски отпущаем, в полной мере!

Рожа у Федьки лоснилась: жилось стражнику сытно, вольготно. Виниус нахмурился:

— Ты пробовал ломать руду?

— На то у Никиты Демидыча кабальные есть, а наше дело оберегать добро его.

Стражник взял дьяка за локоть, но тот брезгливо отодвинулся, поморщился и быстро прошел в узкий проход. Впереди шел надсмотрщик с фонарем. Демидов поразился: Виниус бесстрашно и ловко полез в дудку...

Сенька увидел: по штольне мелькали и двигались огни.

«Уж не новых ли ведут?» — подумал он.

Перед тем в шахте произошел обвал; каменные глыбы покрыли пять горщиков.

В мутном свете перед Соколом появились сам хозяин Никита Демидов и высокий длинноносый дьяк. Сенька и кержак бросили работу.

Виниус присел на тачку; его умные глаза уставились в Сеньку:

— Ну, как тут работается?

— А ты спроси хозяина. Да и о чем говорить — сам видишь.

Из-за плеча Виниуса ухмылялось бородатое лицо Демидова:

— Аль худо?

Сенька стоял, высокий, смелый; не опустил глаз перед хозяином.

— Вот она, наша жизнь,— Сокол шевельнул кандалами,— солнышка нет, хлеба нет, радость забыли; тешит хозяин нас плетьми.

Виниус встал, взял Сеньку за плечо. Горщик внимательно смотрел на дьяка. Виниус изумился:

— Храбрый очень ты!

— Что верно, то верно,— поддакнул Никита.— Видать, не обломали ни тьма, ни кайло.— Демидов потемнел, насупился. Сенька догадался: будет порка.

Кержак грузно сидел на земле, с бородатого лица катился едкий пот. Он сумрачно поглядел на Демидова:

— Крысы одолели, хозяин. Кота бы сюда...

Демидов насупился:

— Может, и женку?

— Ты, Демидыч, не насмехайся. Я кузнец и вольный человек. В одной слободе с тобой жили. Пошто в железах держишь?

— У каждого человека своя стезя,— строго ответил Демидов.— Царю-государю надо руду искать. Так!

Дьяк залез в забой, оглядел породу, кайла и долго крутил головой. По штольне, как призраки, мелькали полуголые бородатые рудокопщики; поскрипывали тяжелые тачки...

Андрей Виниус пробыл под землей полдня, брал кайло из рабочих рук, разбивал камни и подолгу любовался поблескивающей в изломах рудой. Когда хозяин и дьяк поднялись наверх, синел зимний вечер.

Дьяк взял Демидова под руку и сказал:

— Ты, Демидыч, умный хозяин, послушай, что я посоветую. Конь тяжелый воз тянет, если его вовремя кормить и беречь. Ты рабочую силу оберегай. И плетей помене. Частая плеть озлобляет человека!

— Помилуй, Андрей Андреевич,— развел руками Демидов.— Где это видано, чтобы рабочего человека по голове гладили? Плеть — она, брат, человека в разум вгоняет. Самому мне портки не раз спущали, оттого кость окрепла.

Виниус сжал сухие губы и сказал строго:

— Царь бьет только за дело!..

В демидовских хоромах зажгли огни: хозяин и гость сидели в горнице с каменными сводами; двери и пол в горнице сделаны из крепкого, томленого дуба; темная мебель тяжела; огни скупы. Массивность вещей была под стать хозяину. У порога, положив пасть на вытянутые лапы, растянулся хозяйский волкодав и зорко следил за гостем. Крупными желтыми зубами Виниус зажал короткую трубку; синий табачный дым плавал по горнице.

На столе лежала привезенная думным дьяком царская грамота. В ней царь Алексеевич подтверждал туляку отдачу заводов, а при них — лесов, земель с рудами и живностью. Зато поторапливал царь с исправной и дешевой поставкой в казну воинских припасов. Разрешалось Демидову наказывать нерадивых заводских людей, однако государь остерегал Демидова, чтобы тот не увлекался этим и не вызвал правого ропота.

По высокому лбу Никиты пошли складки:

— Так, верно царь-государь пишет. Жилы полопаются, а сполню царское повеление. А только разойтись душа просит, а разойтись не дают.

Думный дьяк выпустил клуб табачного дыма:

— Простор здесь необъятный.

Демидов блеснул синеватыми белками:

— Простору для умножения заводов хватит, да вот рабочих людишек недостача.

— Ты прикупай да вольных нанимай.— Виниус покосился на хозяина; глаза Никиты горели жадностью. Пес потянулся, зевнул.

Никита в скрипучих козловых сапогах прошелся по горнице. Подковы гулко стучали по дубовому полу. На стенах колебались тени от могучей фигуры Демидова.

— Это не выход, Андрей Андреевич,— рассудительно сказал Никита: — Я человек слабосильный деньгой, да и хозяйство только-только лажу. Когда мужик новый дом ладит — пуп надрывает. Так! А вот я мыслю такое...

Виниус насторожился, вынул изо рта трубку. Сухое, нервное лицо его выражало внимание. Демидов слова клал, как топором рубил:

— Однако в горном деле без оглядки надо идти. Горами ворочать — надо силу иметь...

— Верно,— согласился дьяк.

— Мыслю я,— Никита стоял посреди горницы, груз-

ный, высокий, поблескивал глазами,— кругом мужицкие волости да сельца монастырские, крестьян тут немало, если заставить их робить — поднимут горы...

Виниус отложил трубку; из нее посыпался пепел.

— Это значит, в крепостных их обратить...

— Зачем? Ни-ни.— Никита покрутил плешивым черепом, темные глаза сузились. Он тихо подошел к думному дьяку, наклонился:

— Поразмысли, Андрей Андреевич, как то можно. Крестьяне в государеву казну несут подати? Так! А теперь, ежели я, скажем, Демидов, сразу внесу за них подати в казну: казне выгода от этого? Выгода! А внесу я всю подать за них, положим, не деньгами, а железом да воинскими припасами по дешевой цене. Выгодно ли и это казне? Опять выгодно! Так!

Серые глаза Виниуса не моргали, Демидов вздохнул, отошел от стола:

— А теперь со мной расчет короток, прост. За то, что подать внес, приписные мужички пусть на моих заводах отробят ее. Так! Вот и весь сказ.

Виниус всплеснул руками.

— Никита, голова разумная, дай поцелую.— Думный дьяк обнял Демидова и поцеловал в макушку голого черепа.— Надо подумать, надо подумать...

— А ты подумай, подумай, Андрей Андреевич. Одначе на пустое брюхо худо думать, пора и подзаправить его. Эй! — По хоромам покатился зычный окрик Никиты; волкодав поднял морду.

В дверях появилась разбитная молодка.

— Марина, нам ужин, вино да перину дьяку спроворь. Живо!

— Враз будет, хозяин...

Хозяин и гость после хлопотливого дня ели с аппетитом курники, свинину, лапшу, пироги. Дьяк запивал еду крепким вином, но не хмелел. Никита зелье обходил, но ел хорошо: лицо вспотело. Кости Демидов бросал псу; тот с хрустом крушил их.

На дворе потрескивал мороз; окна заволокло затейливыми узорами, а стряпуха топала по холодному дубовому полу босая; мелькали ее крепкие красные пятки.

На дворе сторож отбил полночь в чугунное било. Хозяйский волкодав улегся в углу, повизгивал в собачьем сне.

Гость поднялся из-за столa, собрался спать. Никита бережно взял дьяка под руку:

— Ты, Андрей Андреевич, подумай над моим делом... Так... Эй, бабы-чернушки...

В горницу вбежали две девки. Демидов мигнул на Виниуса:

— Отвести на покой!

Девки отвели думного дьяка в спальную, проворно разоблачили его и уложили в нагретую перину; огни погасили и скрылись.

В горнице наступила тишина; в узкой оконной прорези в холодном синем небе сверкали крупные звезды.

Думный дьяк Виниус прожил в Невьянском заводе несколько недель, изучил работу домен, ознакомился с рудами; все виденное и узнанное дьяк обстоятельно записывал в тетрадь. Вечером в сумрачной горнице они с хозяином по-деловому коротали время. Крепкий хваткой, рассудительный Никита обворожил гостя; Виниус по-дружески похлопал хозяина по плечу:

— Ох, Никита, умная ты голова, а рука тяжкая!

— Верно, тяжкая,— согласился Демидов,— касаемо головы да рук — царю да тебе, дьяк, с вышки виднее.

В полночь проворные девки волокли дьяка на покой. Дьяк пытался в потемочках поймать лукавых, но девки, как дым, таяли: берегли себя...

За день до отъезда в Москву Никита Демидов провел дьяка в каменную кладовушку. Виниус ахнул: на столе и на скамейках лежали соболиные меха. Мягкая, приятная рухлядь скользила меж пальцев; Виниус не мог оторвать глаз от богатства. Демидов весело подмигнул дьяку:

— Эту рухлядишку, Андрей Андреевич, для тебя припас, за нашу дружбу. Ноне в коробья покладем да в дорогу...

— Ой, Никита, как же ты! — В дьяковых глазах светился жадный огонек.

— А так... Попомни, дьяк, да подумай в дороге.— Никита рукой гладил мех, из-под ладони сыпались веселые голубоватые искорки. У дьяка от этих искорок разгорелось сердце.

— Вспомню и царю расскажу! — пообещал он.

Утром дьяка усадили в возок, укрыли его медвежьей полстью. На госте добрая дареная шуба. Впрягли в возок серых резвых коней. За возком шел обоз с мехами, подарками и образцами уральских руд...

Под санками поскрипывал морозный снег, на дорогах кружила метель. В шубе дьяку было тепло, не страшно, охватывала дрема; он мысленно бережно гладил дареную соболиную рухлядь...

Демидовские вершники провожали думного дьяка Виниуса до самой Москвы.

Глава вторая

I

Акинфию Демидову так и не пришлось увидеться с думным дьяком Виниусом. Кружил в ту пору Акинфий Никитич по горам да по увалам: ладил путь к Чусовой-реке. Шла по ней древняя дорога в Сибирь. Тут в давние времена прошел Ермак Тимофеевич со своей храброй казачьей ватагой.

Метил Акинфий Демидов к весне выбраться на чусовской водный путь: возле деревни Утки на Чусовой ладили пристань, рубили амбары из векового леса, каменские плотники строили струги. Над замерзшей рекой стоял стук топоров, галдеж; ругались-покрикивали соликамцы, чердынцы, кунгурцы, вятичи. От Чусовой через Камень по снегу рубил Акинфий просеку, по ней строил новую дорогу для уральского чугуна и железа.

Боры стояли оснеженные, зима потрескивала лютая: от горячей работы над лесорубами пар стоял. Жили работные в курных ямах, спали на еловых лапах, подостлав сермяги.

За работой приглядывал сам Акинфий. Разъезжал он по просеке на бойком башкирском коньке, одетый в добротный полушубок, за пазухой — пистолет, в руке — плеть. Заглядывал Демидов в кержацкие скиты, кормили кержаки его блинами, толокном, медом. Держался заводчик с кержаками чинно, степенно; это любо было раскольникам.

Лесорубы на просеке не знали праздничных дней, оборвались, обовшивели. Изредка потехи были: в борах тревожили медвежьи берлоги. Рабочие с топорами, с рогатинами шли на зверя. Раз неподалеку от Тагилки-реки потревожили матерого медведя. Зверь рявкал на весь лес, по-необычному был громаден, могуч; по дороге он хватил лапой ель — дерево с хрустом переломилось.

Лесорубы не струсили, с топорами побежали на медведя. Акинфий остался на просеке, любуясь схваткой.

Старшой лесорубной ватаги выскочил вперед и проворно сунул под медвежью лопатку рогатину. Зверюга взревел, по снегу заалели ручьи крови.

Смертельно раненный зверь переломил рогатину, схватил мужика за плечи и подмял под себя.

Лесорубы, размахивая топорами, кинулись на зверя. Акинфий поморщился:

— Пакость! Мерзкое убийство! Чтобы единоборство...

Он вспомнил юность в Туле, поход к дьяку Утенкову и недовольно нахмурился.

— Трусы! — брезгливо бросил он лесорубам.

Мужики, не расслышав его окрика, похвастались:

— Уложили-таки лесного хозяина!

Демидов повел бровью и сказал сердито:

— На Каменном Поясе один хозяин — Демидовы. Других не потерпим!

Мужики покорно сняли шапки.

Жадная сучонка, трусливо поджав хвост, лизала по снегу липкую кровь...

Шел рождественский пост, но лесные варнаки содрали со зверя шкуру и варили медвежатину. Мясо было жирное, отдавало чащобой. После обильной еды народ изводился животами, а Демидов сердился:

— Дурома, рады дорваться; медвежатину надо с толком жрать! Э-гей, на работу!

Спал Акинфий в курной яме вместе с лесорубами — на еловых лапах. Ямы были покрыты толстым накатником, в накатнике — дыра, в нее и уходил дым. В землянке застаивался синий угар, и Демидов подолгу не затыкал дыру в накатнике. В дымоход виднелись оснеженные ели, темное небо и яркие звезды. Несмотря на утомленность и долгое пребывание на морозе, Акинфий не мог уснуть; ворочался, как зверь в берлоге, вздыхал. За хлопотами и работой к Акинфию подкралась тоска по женской ласке. Днем Акинфий помогал валить лесорубам вековые сосны, но въедливая тоска не проходила. В двадцать четыре года кровь бежала жарко, не могли ее остудить злые морозы, горные ветры и маятная работа. Решил тогда Акинфий на несколько дней выбраться из бора и податься к Невьянску...

Синел вечер, над елями кружило воронье: никак не могло примоститься на ночлег. В глухом лесном овраге завыла голодная волчица. Конек под Акинфием фыркнул, тревожно покосился. Акинфий нащупал за пазухой пистолет.

Резвый конь вынес Акинфия к ручью. Из трясин вытекал незамерзающий родник, подле пылал яркий огонек. Под еловым выворотнем у костра сидели двое.

Акинфий Демидов решил ехать на костер.

Навстречу ему у выворотня поднялся рослый бродяга с ружьем в руке и зычно крикнул:

— Кто идет? Эй!

Акинфий неторопливо подъехал к костру; над огнем висел котелок, кипела вода. За костром сидела освещенная пламенем чернобровая девка с пухлыми губами, над ними чуть темнел пушок. Она пугливо разглядывала вершника.

Держа наготове ружье, щетинистый рыжеусый бродяга исподлобья поглядел на Акинфия. Демидов заметил на бродяге добрый полушубок, пимы да заячий треух. По одежде видать — исправный мужик.

«Кто знает? — подумал Акинфий.— Может, это и не бродяга, а дальний посельник, а девка — то женка».

И вдруг Акинфий припомнил старое. Где он видел эти зеленые кошачьи глаза да рыжие усы? Никак это преображенец? Ой ли?

— Бирюк! Изотушка! — крикнул Акинфий и спрыгнул с коня.

Детина опешил, опустил ружье:

— Акинфка, никак ты? Вот бес!

Оба крепко обнялись; девка суком поворошила костер, в густую синь вечера посыпались золотые искры.

— Вот где нам пришлось свидеться! — обрадованно сказал солдат.

— А это кто? — Акинфий завистливо поглядел на девку; молодка потупилась, над большими глазами затрепетали черные ресницы.

— Женка. Да ты погляди, какая кержачка. Эх, и бабу я достал, Акинфка! — похвастался счастливый солдат.— Весь Камень обошел, а нашел по себе. Аннушка, глянь на друга...

Молодка зарделась, махнула рукой:

— У-у... Пристал! Вода-то вскипела, аль толокно засыпать?

— Сыпь погуще...

От костра шло тепло; конь, опустив голову, пригревался. Под выворотнем были настланы свежие еловые лапы. Неподалеку потрескивало сухое дерево.

— К ночлегу сготовились,— пояснил солдат.— Ну, подсаживайся к огню.

Оба уселись рядом, крепкие, плечистые. Молодка пошевелила головешки в костре, молчала да исподтишка поглядывала то на мужа, то на гостя...

Мужики разговорились. Акинфий протянул к огню озябшие руки, растер.

— Каким лихим ветром занесло тебя на Камень?

— Подлинно, лихим.— Солдат разгладил рыжие усы: на его загорелых от морозного ветра щеках золотилась щетина.— От тебя не скрою. Сбег я из полку. Осатанело, во! Петлю накидывай, а жить хочется, ну, я и в бега. Убег без дум, без мысли. Может, то и озорство, ребятство. У царя руки длинные: куда податься? Пораскидал головой, поглядел на следы других и по ним подался на Каменный Пояс, в раскольничьи скиты... Я сам — кержак, вон оно что, брат!

Акинфий повернулся к лошади, а сам быстро взглянул на молодку: щеки у нее вспыхнули.

Солдат продолжал:

— Скитался я по раскольничьим скитам; старцы укрывали да пересылали один к другому. Да... Кержаки — народ крепкий, прямодушный. Думал я: что будет? Идти спасаться, а может, полесовать? На спасенье — у меня кровь горячая, отвернет. Ну, так полесовать надо... Вот и ходил я по лесу да по скитам. Привольно, душе легко; лучше и не надо. В кержацком поселке на свою Аннушку набрел... Не смерзла, Аннушка? — Солдат ласково поглядел на женку. Она повела плечами:

— Что ты! Аль я старуха какая...

— Вон как, горячая моя. А ты слушай...

На Акинфия опять навалилась тоска: за костром ровно дышала кержачка; на голове у нее заячий треух, из-под него выбилась прядь кудрявых волос.

— Счастливый ты,— позавидовал Акинфий солдату.

В ближнем ельнике завыл волк. Молодка подняла румяное лицо, сдвинула густые брови.

— Поразвелось проклятых...

— То к рождеству волчьи свадьбы,— пояснил солдат.— Теперь их самая волчья пора. Так вот... Набрел

я на Аннушку и разом по хорошей жизни затосковал. Надумал я двух зайцев ухлопать. Знакомо тебе, что бирючи на Москве кликали: «За объявление руд от великого государя будет прощенье и жалованье». Вот оно как!

Акинфий вспыхнул, в сердце всколыхнулась жадность. Впился глазами в солдата:

— Так ты что ж?

Кровь в жилах Акинфия приостановилась, он затаился. Солдат весело подхватил:

— А то ж! Две выгоды: прощенье, и добытчик буду! Полесовал я: белку да соболя бил, да на руду набрел...

— Где? — прохрипел Акинфий, глаза помрачнели, руки задрожали.

— На Тагилке-реке, а где — не скажу...

— И чего нахвастал,— шевельнула бровями Аннушка.— И не ты нашел, а батя... А может, ничего и не было.— Она наклонилась и тихо дернула солдата за полушубок: — Ишь, развязал язык...

— Эге, еда готова, садись есть! — весело закончил солдат и взялся за котелок.

Ели торопливо, молча, обжигаясь. Акинфий еле сдерживался: на демидовских землях какой-то беглый солдатишка открыл руду, у кержаков раздобыл девку-красавку... Ух-х...

Демидов пригласил лесовиков:

— Поедем ко мне в гости?

Солдат ел проворно, двигались крепкие скулы; поперхнулся.

— На том прости, нам некогда. На объявку торопимся. Утречком и поспешим дале...

После ужина солдат притащил бревно, положил его вдоль логова и разжег.

— Ну, а теперь на роздых... Спать — оно будет тепло...

Солдат сразу захрапел,— словно камнем ко дну пошел. Женка посапывала, потом подкатилась к солдату, заснула крепко.

Синие огоньки пламени бегали, лизали сухое бревно. Конь дремал стоя. Один Акинфий не спал; он поднял голову, долго смотрел на женку. Спокойное лицо ее было приятно. Рядом храпел солдат, во сне он жевал, и острый кадык его ходил ходуном.

«Так ты и бабу и руду захапать? — зло думал Акин-

фий. Темная и страшная мысль обожгла его: — А ежели разом и ни руды тебе и ни бабы...»

Опять на Демидова нашло томленье, и в то же время в груди поднималась лютая злость:

«Ишь пес, на демидовское богатство руки потянул, а ежели, скажем...»

Акинфий встал, лицо разгорячено; он поправил бревно, голубые языки огня стали длиннее, ярче. Он прошелся по тропке, поднялся на шихан; перед ним лежала падь, крытая лучистым снегом. С темно-синего неба из Млечного Пути на оснеженную землю сыпалась звездная пыль. Демидов снял треух, приложил к голове горсть снега, но разгоряченная кровь, однако, не остывала.

«Он же человек,— убеждал себя Акинфий.— И каждый свое счастье ищет».

Но тут же со дна души его поднимался злой, безжалостный голос:

«Ну, и пусть ищет подальше! Земли наши, наведет он сюда крапивного семени, потеснят нас... Ежели хочешь хозяйничать, Демидов, сердцем каменей...»

Он и сам не помнил, как снова очутился у костра. Солдат раскинул руки, рыжие усы от храпа шевелились. Женка уткнулась носом, спала спокойно. В руках Акинфий держал треух и охотничий нож. Он задел ногой солдатскую походную сумку, из нее вывалился рудный камень.

«Наша руда...»

Синие огоньки пламени гасли, костер смежил голубые глаза. Акинфий подошел к логову, стал на колени, взмахнул ножом.

— Господи...

Солдат дернулся и затих. Стало страшно, задрожала рука.

Женка спала спокойно, крепко. Акинфий оттащил солдата за ноги, положил на коня. Без тропы, через ельник, через глубокий снег отвез тело на реку и бросил на лед.

— С водопольем пошли ему, господи, путь дальний,— перекрестился Акинфий.— Прощай, приятель...

Не глядя на реку, Акинфий на коне вернулся к костру. Конь захолодал, дрожал мелкой дрожью. Женка все еще спокойно спала... На строгом лице кержачки блуждала счастливая улыбка...

2

Зимний день сумрачен: из-за снежных туч тускло глядит солнце. Вратарь открыл ворота, и в Невьянск на башкирском коне въехал Акинфий Демидов. Сторож подивился: на коне позади Акинфия сидела заплаканная молодка.

Привратник согрешил, подумал:

«Приволок молодец бабу. Знать, закружит коромыслом».

Никита Демидов не подивился молодке, но встретил Акинфку сурово. Молодку отвели в маленькую горенку, холопка принесла есть, но кержачка до еды не дотронулась. Села на кровать, незряче уставилась в угол, так и просидела весь день...

Батька заперся с сыном в горнице с каменным сводом. У порога на волчьей шкуре лежал пес. В печке потрескивали дрова.

Никита опустился на скамью:

— Ну, сказывай, как дела?

У Акинфия забилось сердце, но, сдерживая себя, он спокойно рассказал отцу о просеке к Чусовой.

Тут взор его разгорелся, он рассказал про встречу с солдатом и о рудах...

Никита встал, прошелся по горнице.

— Мохнорылый, а чужое добро задумал огребать. Ты что ж? — В глазах Никиты стояла ночь.— Бабу уволок, а о рудах не подумал?

— Батюшка! — Акинфий упал в ноги отцу.— Батюшка, согрешил: убил я солдата, оберегая наше добро... Страшно мне от крови. Кажись, и сейчас горит сердце... Первый мой грех...

Никита поднял за плечи сына, успокоил:

— Успокойся! Не ты виновен в его смерти, сам напросился. Закажи панихиду по усопшему, на душе и полегчает. Всякое, сынок, в жизни бывает!

Больше они в этот день ни о чем не говорили. Сын ушел в горенку и пробыл там до утра.

3

У Аннушки густые черные ресницы и круглая, словно точеная, шея. На ее широкой спине — толстая темная коса. Одета она в голубую кофту, на плечах пушистый платок. Аннушка любит сказки; проворная демидовская

старуха складно рассказывает их. Лицо кержачки строго, глаза печальны: скорбит глубоко. Из раскольничьих скитов принесла она крепкую веру и любовь к суровой молитве.

Акинфию нравилось печальное лицо и покорность кержачки. Больше он не спрашивал ни о чем. Дел по заводу нахлынуло много; они шли, как водополье. И жил Акинфий, как на водополье; на своем башкирском коньке ездил по горам и падям, намечал новые заводы. За делами, в работе, когда подкрадывалась тоска по женской ласке, он вспоминал Аннушку. Тогда — на стану, или в лесу, или в куренях, где рабочие вели пожог угля для прожорливых домен,— перед ним вставали зовущие глаза кержачки. В пургу, в мороз, через дебри и тайгу он ехал к ней в Невьянск и день-два не уходил из ее горенки.

Отец подумывал о Туле, торопился с литьем. Он предупреждал сына:

— Гляди, не шибко прилипай к бабе, не то дело порушится, а нам надо поднять такой дикий край!

О жене Акинфий вспоминал редко, по весне собирался навестить ее. Тут не было тревог; знал и верил отцовскому домострою. Верна будет Дунька!

Когда уезжал Акинфий, Аннушка изредка выходила погулять по заводу. Недремлюще было око Никиты Демидова. За ворота завода-крепостцы ее не пускали. Да и куда пойдешь, когда по тайным тропам в горах и лесах притаились демидовские дозоры. Никита пригрозил ей:

— Ты, Анна, бегать не вздумай. Настигну и в скитах; скиты разорю и попалю. Так!

Он хвалил сына:

— Да и другого ты, как Акинфку, не найдешь. Умен, пес, и жадный к работе...

В одну из глухих, волчьих ночей в Невьянск возвратился Акинфий. За ним демидовская ватажка влекла на коне связанного кержака. Пленный скитник был волосат, черен, как жук, и глазами напоминал раскольницу Аннушку.

Кержака немедленно отвели в глубокий демидовский подвал. Сам Никита спустился в тайник. В погребе пахло плесенью, пламя в каганце горело прямо. Связанный кержак угрюмо молчал. Никита сжал кулаки, шагнул к нему:

— Молвишь, что ли, где Аннушкин полюбовник руду сыскал?

— Неведомо мне это...

— Их-х, пес!..

Кержака повалили на каменный пол.

Ночью в горенке Аннушка слышала, как в подполье глухо стучали... Отчего-то скорбело сердце, не находило покоя. Суеверная кержачка опасливо подумала:

«Не домовой ли то шебаршит в подполице?..»

Скованного кержака заключили в узилище...

Прошли крещенские морозы, по пышному снегу наметилось много звериных следов. По ночам к заводскому тыну приходили волки. Наследив по снегу вокруг крепостцы, волки садились против ворот и, подняв морды, начинали выть; в этом вое были темная тоска и ярая злость. Пристав взбирался на башню,— от мерзкого волчьего воя по коже драл мороз,— бухал по волкам из дробовика. Звери, ляская зубами, отбегали, садились и начинали опять выть.

Ставили капканы, но волки обходили их.

Волкодав в хозяйских хоромах угрюмо поглядывал на Демидова. Волчий вой беспокоил хозяина. К тому же на него напали тоска и подозрительность.

В ночную темь, в во́лчьи ночи заводчику не спалось, пробуждалась совесть. В густом мраке вставал Кобылка с ершиной бороденкой, хрипел. В углу, казалось, не сверчок верещал, а замученные. Сколько их? Об этом знал только один Никита. В эти глухие ночи, когда он оставался наедине со своей совестью, его томила тяжкая тоска.

Он кряхтя вставал с постели и подходил к потайным слуховым трубам, долго прислушивался. В огромном каменном доме-крепости среди мертвящей тишины рождались какие-то звуки: то ли стон, то ли плач, а может — треск старых дубовых половиц...

«Вот оно как бывает! — озадаченно думал Никита: — Демидовы крепко сшиты, а душа и у них тоскует...»

Он до полуночи ходил по горнице; пес тревожно поглядывал на хозяина.

«Уж не Аннушка ли затеяла что? — подозрительно прислушивался Демидов.— Кержаки-то — они народ лесной, тяжелый. Ежели им топоры в руки... Долго ли до беды?..»

Никиту обуревали подозрения. Ему казалось, что Аннушка узнала об отце-узнике, подговорила служанок...

— Ух ты! — тяжко вздохнул Никита, сунул жилистые худые ноги в валенки и, освещая путь горящей свечой, крадучись пошел вдоль коридора. По пятам шествовал пес, с преданностью поглядывая на хозяина. Глаза Демидова горели недобрым огнем, гулко колотилось его сердце.

Заводчик остановился перед дубовой дверью; пес вилял хвостом, ожидал. В горенке стояла тишина: спали. Пламя свечи в шандале колебалось.

«Никак почудилось? Спит баба... А может, притаилась? Нет, не может того быть...»

Он сжал челюсти, закрыл глаза; ноги словно вросли в каменный пол; на двери с минуту колыхалась огромная угловатая тень человека.

Никита резко повернулся от двери:

«Волки окаянные тоску навели...»

Грузным шагом он медленно возвратился в горницу. На башне бухнул выстрел. Волки замолкли, но через минуту вой их поднялся снова.

Демидов накинул полушубок, надел треух, взял дубинку и вышел на двор. За ним по пятам шел верный пес.

С темного неба по-прежнему с шорохом падал снег. Никита, крепко сжимая дубину, подошел к воротам.

— Открывай ворота, бей зверя! — злым голосом крикнул Демидов. Пристав сошел с башни, перед ним стоял взлохмаченный хозяин.

— Открывай! — гаркнул Никита.

У пристава от хозяйского грозного окрика задрожали руки.

Нетерпеливый Демидов отпихнул пристава, загремел запорами и открыл ворота. Против них на голубоватом снегу полукружьем сидели волки. Зеленые огоньки то вспыхивали, то гасли. Пес ощетинился, зарычал.

— Воют, проклятые! — Хозяин с дубьем бросился на волков.

Звери, ляскнув зубами, отскочили... Демидов прыгнул и шарахнул дубиной — передний волк взвизгнул и покатился на снег. На него набросилась стая.

Никита подумал: «Эх, волчья дружба».

— Батюшка, Никита Демидыч... Ой, остерегись! — кричал из-за тына пристав.

Волки грызлись. Никита дубьем врезался в волчью стаю. Матерый зверь с размаху прыгнул Демидову на спину — Никита устоял на ногах. Пес острыми клыками

цапнул зверя за ляжку — зверь оборвался. Пес и зверь, грызя друг друга, покатились по снегу.

Остервенелый Никита бил дубьем зверя, а волки ярились; длинный и тощий прыгнул на грудь Никите и острым зубом распорол полушубок...

— Так! — одобрил Никита и взмахнул дубиной.

— Ой, страсти! Осподи! — Пристав не переставая палил из дробовика.

На дворе заколотили в чугунное било. Сбежались сторожа и еле оборонили Никиту и пристава.

Волки разорвали полушубок на Демидове, ветер взлохматил его черную бородищу. От Никиты валил пар. Зло ощерив крепкие зубы, с дубиной в руке, Демидов прошел в ворота и зашагал к хоромам. Тяжело дыша, он сам себе усмехнулся:

«Ну что, старый леший, со страху наробил?»

На истоптанном снегу с оскаленной пастью растянул лапы изорванный волками верный пес...

По наказу Демидова работные люди огнем отогрели глубоко промерзшую землю, ломами выбили яму и схоронили пса. На псиной могиле поставили камень; на нем высекли слова:

«За верную службу хозяину».

Утром, узнав о волчьем побоище, Акинфий спросил отца:

— С чего, батюшка, удумал такое?

Борода у Демидова дрогнула, он крепкими ногтями поскреб лысину и сказал угрюмо сыну:

— Вот что, ты свою раскольницу на заимку отвези... Покойнее будет. Так!

Акинфий понял, поясно поклонился отцу.

На другой день Аннушку отвезли на дальнюю заимку...

Глава третья

I

Думный дьяк Виниус сдержал слово, данное Демидову.

На масленой неделе невьянский заводчик получил царскую грамоту. Помечена была грамота января девятого, года 1703-го. В грамоте говорилось, что царь Петр Алексеевич, убедившись в полезной работе Демидовых, для умножения их заводов приписывал к ним на работу

волости Аятскую и Краснопольскую и монастырское село Покровское с деревнями, со всеми крестьянами и угодьями. В свой черед, Демидовым указывалось добросовестно вносить в казну железом подати за приписных крестьян.

— Вот оно и вышло! — ликовал Никита.— И не крепостные и не вольные, а одно слово — демидовские кабальные... Учись, Акинфка!

Монастырский игумен, узнав про царский указ, приказал готовиться к дальней дороге. В крытый возок положили пуховики и подушки, усадили монастырского владыку, укрыли шубами и повезли в Верхотурье. За возком игумена тянулся, поскрипывая полозьями, монастырский обоз, груженный битой подмороженной птицей, бадьями меда, добрых настоек и свиными тушами.

Верхотурский воевода благосклонно принял монастырские дары; игумена отвели в баню, знатно попарили. От крутого пара тучному игумену дышалось туго; верхотурский цирюльник пустил дородному мужу кровь: шла она из порезов густая, черная; курносый брадобрей, глядя на монашью кровь, думал:

«Эх, и разъелся поп на мужицких хлебах...»

Кабы знал игумен мысли цирюльника, придавил бы шишигу, но тот дело свое сделал исправно, учтиво подошел под благословение и с подобострастием облобызал игуменскую руку.

За монастырской настойкой игумен открыл воеводе свою печаль.

— Обошли Демидовы царя, ох, обошли,— кручинился монах.— Ты, воевода, присоветуй, как стреножить тульских грубиянов.

Воевода полез в тавлинку, понюхал, замахал руками:

— Ой, что ты, отец! Разве их стреножишь, варнаков? Моих людишек и то гонят в три шеи. Известно, други царевы... Вот тут и сунься в их городишко, за их тын... Враз оттяпают потребное што... Я и то с опаской поглядываю, что дале будет.

Игумен хитро прищурился:

— А ежели я самому царю-батюшке напишу о демидовском разбое? Ты поразмысли: Демиду — село да деревнюшки. За что про что? Мы хошь молитвы за его светлость, царское величество, возносим да на ектеньях поминаем.

Воевода Калитин сидел в Верхотурье на кормлении давно, набил на плутовстве руку: подходил он к делу практически. Затянувшись крепкой понюшкой, воевода долго чихал. Игумен покосился:

— И когда ты табачище свой кинешь? Ох, искушение!..

— Когда на погост попы-божедомы сволокут, тогда и кину,— отмахнулся воевода.— А ты слушай, что я тебе по добромыслию поведаю.

Игумен приложил пухлую ладошку к уху.

— То верно, что у тебя сельцо да деревнюшки с мужицкими животами отняли... Брысь, окаянный...

Воевода пнул ногой под стол; по горнице разнесся кошачий визг. Лицо воеводы вспотело, он красным фуляровым платком утер лысину.

— Ты дале, отец, слухай,— как ни в чем не бывало продолжал воевода.— И то верно, что за государя и род царский ты молитвы богу возносишь. Но теперь сам посуди да прикинь, какая от сего царю польза?

— Ты что, еретик? — сердито перебил игумен.— А ведомо тебе, что за молитвы наши царю воздастся на небеси... От!

Игумен перекрестился. Воевода не унимался:

— Ох, отец, речешь ты как дитя малое, а того не ведаешь, что царь Петр Алексеевич такой царище, что и без твоих молитв на небо заберется и цапнет, что ему занадобится. Рука да ум у него — ух, какие!..

— Не богохульствуй, епитимью наложу,— пригрозил игумен.

— Не беленись, игумен. Пригубь чару да слушай.— Воевода налил чары, придвинул игумену блюдо с балычком.— Ты за крестьянишек — молитвы, а Демидовы царю за них железо да пушки дадут. Царь-то наш умный. Железом да пушками, ух, и надает ворогам!

Игумен опустил голову, отодвинул недопитую чару, вспылил:

— Я сам поеду к царю да о душеспасении поведаю. Богом пригрожу.

— Эх, игумен, эх, отец! — покачал головой воевода.— Езжай, сунься к государю! Царь на пушки колокола поснимал, а ты — с молитвами. Поди покажись — спина у тебя жильная, широкая, царь по ней дубиной знатно отходит, вот послух тебе будет!

Воевода засмеялся, луковка его носа сморщилась. Он подлил игумену в чару и досказал:

— Молитвы и храм — это, отец, для крестьян да простых людишек оставь. А царская голова светлая, знает, что робит...

До вторых кочетов услаждались едой и речами игумен и воевода, жаловались друг другу на беды.

Отгостив три дня, игумен с пустыми санями вернулся в монастырь и, закрывшись в келье, запил горькую.

2

Демидовские приказчики подняли на ноги приписанные к заводу волости. Крестьяне, почуяв кабалу, противились. В Краснополье крестьяне встретили демидовских приказчиков с дрекольем, с вилами. Главного приказчика Мосолова стащили с коня, искровянили морду и посадили в холодный амбар под замок. Мосолов выворотил дверь и сбежал ночью в Невьянск. Как ни кряхтел верхотурский воевода, а выслал солдатскую инвалидную команду. Крестьяне притихли.

По дорогам к Невьянску потянулись подводы с приписными. Демидов посмеивался:

— Что, напетушились? Ин, ладно. На работу пора!

Сразу прибыло рабочей силы. Приписных крестьян разбили на артели, поставили старост над ними и развели их по лесным куреням. По глубокому снегу валили приписные мужики лес, готовили дерево на пожог угля. Работа по куреням была тяжелая, а харчи дрянные. За каждую провинность пороли, дерзких ковали в железа и увозили в Невьянск. В демидовских каменных подвалах появились закабаленные посельники.

Акинфий Демидов разъезжал по горам, выглядывал места для возведения новых заводов. Мыслил по весне Акинфий Никитич ставить новые домны на Тагилке-реке — на том месте, где солдат нашел богатые руды...

Часто проезжал Акинфий по знакомой тропке, мимо елового выворотня на Тагилку-реку.

Проезжал он это место молча.

Отец совсем в дорогу собрался, подошел март. На буграх хорошо пригревало солнце. Возки давно нагружены кладью. Никита созвал заводских приказчиков, отдал строгие наказы, как дела вести; посулил скоро на Каменный Пояс вернуться да учинить проверку, как его наказы выполнены.

Акинфка пожаловался отцу:

— Батюшка, проезжал я тем местом, где солдата видел, на душе неладно стало...

Никита задумчиво теребил бороду.

— Оно известно — кровь. Облегченья ради церковь строй... Богу угодно и кабальным в утеху и в назиданье. Так!

Отъехал Никита Демидов солнечным полднем. Сверкали снега, по дорогам ходили галки. Впереди хозяйского возка скакал казак, встречные мужицкие подводы сворачивали в сторону, в глубокий снег. Казак грозил, чтобы мужики шапки снимали: едет хозяин Каменного Пояса, сам Никита Демидов.

Крестьяне, сняв шапчонки, угрюмо глядели на демидовский возок...

Марта двадцать пятого, в день благовещенья, облегчения ради от тревожных дум заложил Акинфий Никитич на заводской площади каменную церковь...

Глава четвертая

1

Настойчиво стремясь к берегам Финского залива, царь Петр продолжал ожесточенную борьбу со шведами. В короткий срок были сформированы новые полки, отлиты пушки, вокруг Пскова и Новгорода возвели сильные земляные сооружения. В Архангельске закончили строительство боевых фрегатов.

Но Карл XII, король шведский, не дремал. Он понимал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть.

По указанию короля опытные шведские инженеры укрепили Ингерманландию и южный берег Финского залива. Шведы поджидали нападения русских войск с юга или юго-востока и думали нанести им сокрушительный удар, подобный нарвскому. В Финском заливе плавала шведская эскадра, обороняя невское устье.

Однако царь Петр разгадал замыслы шведов: решил напасть и овладеть берегами Финского залива с такой стороны, с какой его меньше всего ожидали враги. В начале августа 1702 года он прибыл в Архангельск. На Двине дули предосенние ветры, хмурилось небо. Царь с небольшой свитой проехал в деревню Вавчугу, к корабельщикам Бажениным. Старинная дружба связала царя с этими талантливыми русскими людьми, род которых появился под Холмогорами еще во времена Ивана Грозного. Статные, крепкозубые, бородатые красавцы Осип

и Федор Баженины понравились царю своей сметливостью и предприимчивостью. От отца Андрея Баженина им перешло в наследство лесопильное дело. На дальнем севере Баженины впервые построили пильную мельницу, и теперь два брата энергично развивали это дело. С тех пор, когда Петр Алексеевич обратил внимание на Архангельск и стал в Соломбале расширять судостроительную верфь, понадобились добрые доски, тес,— тут и пошли в гору Баженины.

Хорошо налаженное и выгодное лесопиление в Вавчуге породило у Бажениных много завистников, которые всяческими неправдами старались оттягать у братьев их земельные угодья. Еще при царе Федоре Иоанновиче некий истец Аника Лыбарев затеял с Андреем Бажениным тяжбу, и ничего из этого не вышло. Анике Лыбареву в иске отказали. Прошло несколько лет, и на Бажениных навалилась горшая беда. Духовным отцам сильно приглянулось пильное дело в сельце Вавчуге. Архиепископ Важеский и Холмогорский Афанасий подал юным царям Петру и Ивану Алексеевичам челобитную об отдаче ему сельца Вавчуги. В ту пору Петр Алексеевич, еще юнец, впервые и узнал о Бажениных. Вместе с братом он стал на их сторону и отписал архиепископу Афанасию, чтобы он не вмешивался в дела Бажениных и не притязал на их вотчину.

Только Баженины отбились от этой беды, на них навалился третий враг. Переводчик посольства немец Крафт, имевший царскую привилегию на постройку в России пильных ветряных и водяных мельниц, подал на них жалобу царю Петру.

10 февраля 1693 года Петр Алексеевич подкрепил грамотой право Бажениных производить лесопиление и размол муки на их мельницах, а Крафту указал не соваться в предприятия Бажениных.

Как было не стараться при такой сильной защите! И умные, даровитые братья Баженины еще больше расширили свое лесопильное дело, и доски с их заводов шли не только на русские верфи — их с охотой брали и иноземные купцы.

Однажды нежданно-негаданно, после закладки корабля в Соломбале, к Бажениным нагрянул сам царь Петр Алексеевич. Ох, и обрадовались братья! Царь пришелся им под стать. Он интересовался всем и до всего доходил сам. Петр Алексеевич облазил пильню, сам с полдня поработал на ней и похвалил братьев:

— Молодцы вы у меня! Но мало сего, братцы, подумайте о судостроении! И лес и пильни есть, тут только корабли и закладывать!

— Да нашим ли умом это ладить, ваше величество?

— Кому, как не новгородцам, корабельщиками быть! Они пораньше иноземцев своими ладьями избороздили и дальние реки и моря на белом свете! — подбодрил царь.

Крепко задумались Баженины и после отъезда царя Петра в Москву все чаще стали наведываться на Соломбальскую верфь и приглядываться к постройке кораблей.

Наконец решили они попытать счастья и написали царю челобитную: «...вели государь в той нашей вотчинишке в Вавчужской деревне у водяной пильной мельницы строить нам, сиротам твоим, корабли, против заморского образца, для отпуску с той нашей пильной мельницы тертых досок за море в иные земли, и для отвозу твоей государевой казны хлебных запасов, и вина в Кольский острог, и для посылки на море китовых и моржовых и иных зверей промыслов...»

И просили еще Баженины у царя дозволения на рубку корабельного леса в прилегающих уездах: Двинском, Каргопольском и Важеском. Испрашивали дозволения нанимать работных на строительство кораблей и для морского плавания, а также разрешения содержать те корабли вооруженными для защиты от морских разбойников.

Ответ на просьбу Бажениных долго не приходил, так как царь пребывал в Голландии. Но по возвращении из-за границы Петр Алексеевич немедленно написал братьям грамоту, в которой подробно изложил не только мотивы своего разрешения, но и льготы и указания, как лучше наладить кораблестроение.

...Баженины оправдали надежды царя: без проволочек построили верфь и заложили два судна-фрегата: «Курьер» и «Святой дух». Они оснастили корабли своими парусами и канатами,— к этому времени предприимчивые братья обзавелись уже прядильным и парусным заводами...

И вот на заре, когда солнце только что позолотило вершины елей, на реке показался фрегат. Баженины и все работники высыпали на берег. В корабле они узнали трофейный фрегат, только что отбитый у шведов, дерзнувших напасть на Новодвинскую крепость. А вот на

борту стоит великан и размахивает треуголкой. «Батюшки, да это сам царь!» — ахнули Баженины и испугались. Сдавать вновь отстроенные корабли самому царю им показалось страшновато. Петр Алексеевич сам заказывал фрегаты и сам в случае чего может сгоряча учинить расправу. Одно только и оставалось в утешение,— фрегаты по царскому слову были отстроены весьма быстро, в небывало короткие сроки.

Рядом с фрегатами строились торговые суда самих Бажениных. По приказу Петра Алексеевича спустили шлюпку, и он сразу перебрался на вновь отстроенный фрегат. Туда поспешили с мастерами и Баженины. Петр обнял братьев, расцеловал:

— Спасибо, весьма тронут поспешанием...

Царь внимательно осматривал корпус и управление судна, лазил в трюмы, испытывал паруса, канаты и всем остался доволен.

— Добры, добры! — повторял он.— Ай да Баженины! Ну, чем вас отблагодарить, ко времени выручили вы державу Российскую...

В сопровождении мастеров и хозяев царь обошел и второй фрегат, затем всю верфь, сделал много полезных указаний, и ему захотелось поглядеть с колокольни на окрестности Вавчуги.

— Как река Двина растекается? Добра ли для кораблей наших?

Вместе с Бажениными он поднялся на звонницу и долго не мог оторваться от созерцания изумительных зеленых придвинских заливных лугов, от сине-дымчатых ельников, корабельных боров, уходящих к горизонту от просторов Двины с ее заливами и островами. У тихих плесов приютились деревянные селения, а на пастбищах бродили большие стада.

— Хорош край! — одобрил Петр.

— Сердцем приросли к нему, ваше величество! — отозвался старший Баженин.

— Гляди, лесу сколько! Кораблей, тесу на века хватит! Проси, Баженин, все тебе отдам!

— Как, и людей, что в селениях живут? — удивился Баженин.

— На сколько хватает глаз, все подарю! — отрезал царь.

— Земно кланяюсь за вашу царскую милость, но не обессудьте, не для нас она! И за себя и за брата отказываюсь! — поклонился старший брат Осип.

— Ты что, одурел? — резко спросил Петр, а у самого в глазах заиграли довольные огоньки.

— Ваше царское величество, рассудите сами! — начал Осип.— Люди, кои населяют видные отсюда селения и деревни,— выходцы из вольного Новгорода. Они и север покорили и по морям ходили! Кипучая у нас, новгородцев, кровь! Нет, государь, не хочу владеть я подобными себе... Не по плечу задача! Спасибо, государь, за заботу...

Царю понравился ответ старшего Баженина. Он молча слез с колокольни и приказал вести себя в дом. Петр Алексеевич велел созвать и усадить за стол мастеров и плотников, которые привержены корабельному делу. Он первый поднял чару за добрых корабельщиков.

Царь перецеловался с женками братьев и стал угощаться. Баженины несказанно были рады и по простоте душевной наугощали царя «до зела». Пребывая под изрядным хмелем, Петр Алексеевич стал хвастаться. К слову пришлось, поведал гость, что в Амстердаме он как-то остановил крылья мельницы-ветрянки.

— Силен! — похвалил хитроглазый плотник.— Силен царь!

— Не веришь, лукавец? — догадался по взгляду царь и закочевряжился: — Хочешь, то ж с водяным колесом на пильне сделаю?

— Да что ты, батюшка-государь, с дураком связался! — испугались Баженины. Знали они страшную мощность водяного колеса своей пильни. Не только от человека, но от дуба останутся одни ошметки. Беда, как сильна! Старший, Осип, подмигнул младшему, Федору: «Распорядись немедленно!»

Раскуражившийся царь вышел из-за стола и направился к пильне. За ним поспешили гости. Но только что подошел Петр Алексеевич к колесу, оно замедлило движение и, как только царь подставил свое плечо, оно с легким скрипом остановилось.

— Теперь сам вижу, государь, что в Амстердаме и впрямь не выдумка твоя была! — заулыбался плотник.

Царь махнул рукой и попросил отвести его на покой. Солнце закатилось за ельник, а Петр Алексеевич завалился в хозяйскую перину и захрапел. Наутро он проснулся рано,— побаливала голова. Поднялся, а Баженины были тут как тут.

— Как будто я дурость под Бахусом[1] совершил? — спросил царь.

— Что-то не припомним, государь!

Петр Алексеевич встал, умылся, расцеловал Баженина.

— Молодец! Все насквозь вижу: и царское слово мною сдержано и хвасть моя наказана! Хвалю! Жалую тебя...

Оба Баженины упали царю в ноги.

Государь подарил братьям-корабельщикам две тысячи четыреста семьдесят десятин доброго леса:

— Стройте корабли, крепите державу нашу, дабы ни один иноземец и пикнуть против нас не посмел!

В полдень вновь отстроенные фрегаты «Курьер» и «Святой дух» отплыли в Архангельск. И там Петр не мешкал: в течение нескольких дней он посадил четыре тысячи солдат, погрузил большие запасы провианта на тридцать кораблей и отбыл в Соловки.

Через несколько дней фрегаты остановились под стенами Соловецкой обители, подле Заяцкого острова. Прослышав, что на судах находится царь, наехали монастырские старцы и пригласили царя на отдых да допытывались, куда он путь держит.

Петр был несловоохотлив с монахами, однако от гостеприимства не отказался, съехал на островной берег и осмотрел монастырь. Соловецкие острова со своими лесами, озерами, церквами, скитами, горами понравились Петру Алексеевичу. На лужайках паслись стада оленей. Стены монастыря крепки, серы от мха; государь наказал еще укрепить их. Архимандрит Фирс подле монастыря отслужил молебен, однако царь был сильно озабочен, молился плохо, угрюмо поглядывал в даль северного взволнованного моря и чего-то поджидал. На Соловецких островах чуялось приближение осени, перелетные птицы уже улетели, только беломорские чайки с печальным криком носились над судами, поскрипывали мачты да в снастях свистел ветер.

В середине августа со стороны кемского берега под белым парусом пришла утлая рыбацкая шхуна; Петр оживился. Вскоре на фрегат взобрался офицер с суровым обветренным лицом; царь радушно принял его, увел к себе в каюту и, усадив против себя, спросил:

— Как сержант Михайло Щепотьев, выполнил мой приказ?

[1] Во хмелю.

— Все в точности выполнено им, ваше царское величество! — четко и коротко ответил офицер.

Петр Алексеевич разгладил кошачьи усы, лукаво улыбнулся. Ответ офицера ему понравился. При таком разговоре для посторонних не раскрывалась тайна. А тайна эта была такова. 8 июня 1702 года государь вызвал к себе отмеченного им ранее деятельного сержанта Преображенского полка Михайлу Щепотьева и вручил ему указ, а в нем повелевалось: «Проведать ближайшего и способного водяного и сухого пути к Олонцу и Новгороду».

Михайло Щепотьев хорошо знал нрав своего государя по Преображенскому полку и в быстроте решений всегда подражал царю: уже в конце июня он собрал со всего Беломорья, Заонежья и Каргополья несколько тысяч крестьян и начал «чистку» пути от Нюхчи до Повенца, расположенного на севере Онеги-озера. Стояли тихие белые ночи, и работа посменно велась круглые сутки. Валили беломорцы и заонежцы лес для пристани и мостов, вырубали просеку, мостили зыбуны-болота, ладили переправы, взрывали и убирали огромные скалы с перевалов. Со всего края сгонялись подводы и ладьи, необходимые для переброски царя с войском. Все делалось втайне, и в разговорах царь Петр это тщательно скрывал.

Пронзительно взглянув на офицера, он спросил:

— А донесение о том сержанта Щепотьева имеется?

— Так точно, ваше царское величество! — поднялся и стал во фронт офицер. Он добыл из-за обшлага мундира запечатанный пакет и вручил царю.

Петр вскрыл его. Сержант Михайло Щепотьев доносил государю:

«Известую тебя, государь, дорога готова и пристань, и подводы и суда на Онеге готовы... А подвод собрано по 2-е августа 2 000, а еще будет прибавка, а сколько судов и какою мерою, о том послана к милости твоей роспись с сим письмом».

Офицер выложил перед государем и роспись.

Петр Алексеевич остался доволен.

— Думается мне, трудов предстоит еще много, но главное сделано: люди и подводы есть! Протащим фрегаты!

— Непременно, ваше царское величество! — согласился офицер.

На другой день с ранней зарей фрегаты отплыли от

Соловков; крикливые чайки долго провожали корабли, пока они не исчезли в серой мути скудного северного утра.

В деревне Нюхче на кемском берегу войско высадилось. Среди ползучих хилых березок стояли унылые избенки, кругом белели палатки, темнели шалаши, дымились костры, пять тысяч белозерских, каргопольских, онежских крестьян да поморов во главе с сержантом Михайлом Щепотьевым поджидали царя.

Высадив войско, корабли повернулись и ушли в море; остались два фрегата: «Святой дух» и «Курьер».

Поморы с любопытством разглядывали государя, Одет он был в поношенный кафтан, на ногах высокие козловые сапоги. Петр был брит, при смехе топорщил усы. Он прошелся по берегу, усеянному камнями, и подолгу всматривался в дали. Возле долговязого царя стоял крепкий загорелый онежец, туго подпоясанный кафтан его пропах рыбой. Петр сиповатым голосом спросил у онежца:

— Какой край?

Онежец размял угловатые плечи, провел ладонью по курчавой бороденке и степенно ответил ему:

— Край такой: озера да реки, болота да лес-чащоба.

— Как, пройдем с народом да кораблями? — Царские глаза уставились в онежца. Тот раскрыл рот, помялся:

«Не шуткует ли государь? Тут пробегает олень да медведица ломит чащобу, а человек...»

Онежец смутился. Петр сгреб его за плечи:

— Пройдем и корабли проведем, сам увидишь!

На другой день Петр Алексеевич выслал нарочного к Шереметеву, дравшемуся со шведами. В своем уведомлении царь сообщал: «Мы сколь возможно скоро спешить будем».

В тот же день он послал депешу и союзнику — польскому королю Августу: «Мы ныне обретаемся близ границы неприятельские и намерены, конечно с божьей помощью, некоторое начинание учинить...»

Начинание это совершалось с великой поспешностью. Сержант Щепотьев солдат и крестьян разбил на дружины и выслал вперед подчищать просеку, ладить на реках мосты и стлать на болотах гати. С уханием, с песней фрегаты вытащили из воды и поставили на полозья и катки с упрягой. Каждое судно везли сто людей и сто коней. Начался великий и неслыханный поход.

Десять дней царь Петр шел с воинством и мужиками по просеке Щепотьева. Трудная выпала пора: сыро, грязь, продувала моряна. В тяжелых сапогах царь шлепал по болотам, таскал с поморами лесины, стлал гати. Крестьяне старались, и работа у них спорилась. Для облегчения пели песни. Петр не отставал от мужиков, первый заводил голосистую.

На передышке он вытягивал фляжку и выпивал стакашек анисовки, чтобы тело не стыло да работалось веселей.

Во встречных реках шло много резвой рыбы. На берегах были ставлены воинские магазеи, в них хранился хлеб. По глухим чащобам солдаты выгоняли зверя, били ожиревшую птицу. Лес над прозрачными водами стоял задумчивый.

С великими тяготами прошли и на катках протащили фрегаты первые двадцать верст. Здесь по указу царя был ставлен первый ям. Для государя и офицеров поставлены зимушки; покрыли их дерном, и ветер не продирался в них. Солдаты да поморы изловчались по умению: кто в землянки, кто в ловасы[1] забирался, а кто просто в мох зарывался. По воинским магазеям отпускались на харчеванье припасы, из озерных сельбищ да погостов подвозили рыбу и оленину.

Государю не сиделось в зимушке, рыскал по таборам да по просеке, бодрил походных.

Так и шли да фрегаты на катках катили, горький пот на землю роняли.

От Полуозерья легли болота, топи; народ изнемогал и надрывался от натужной работы. Настигли хворости, упадок сил; работники ложились костьми. Позади войска по мхам и по берегам озер и речек оставались тесовые кресты.

Падал пожелтелый лист, медведи по чащобам отыскивали логово; изнуренное войско подошло к Выг-озеру. Вокруг лежали бездонные топи; идти в обход озера — поджидала гибель. По царскому указу со всего Выг-озера добыли ладьи, долбенки и навели плавучий мост.

На Выг-озере всколыхнулись волны, день и ночь хлестал ливень, бушевал ветер; мост раскачивало и грозило разметать. Истомленное небывалым переходом войско продрогло; разожгли костры, сырье горело плохо, сипело на огне; солдаты отдыхали беспокойно.

---

[1] Шалаши.

На озерном берегу вновь ставили тесовые кресты над могилами; убывал народ от тяжкой работы.

Только царь головы не вешал, горел в работе и других подбадривал:

— Продеремся сквозь чащобу да побьем шведа!

Сидя у солдатского костра, Петр покуривал голландскую трубочку, лицо его осунулось, на впалых щеках темнела щетина, выпуклые глаза, однако, были веселы.

Непогодь улеглась; войска по плавучему мосту перебрались через залив Выг-озера. И опять пошли леса и болота. Истомленные войска двигались к реке Выгу. Неподалеку от устья Выга на правобережье ставлен был ям. В яме передохнули, от усталости гудели натруженные ноги да руки.

Тем временем ладьи с Выг-озера сняли, молчаливые выговские рыбаки провели их через кипучие пороги и против яма через Выг-реку навели мост.

Ветер раскачивал вековой ельник, небо было тускло, а вода в реке прозрачна. На берег Выга вышел лось, пил воду, и она серебристыми каплями падала с его мясистых губ. Лося испугали и пристрелили. Вдоль реки тянулся сизый дымок костров.

На левобережье Выга чаще встречались деревни. В глухоманях таились раскольничьи скиты и погосты. Выгорецкие раскольники прознали, что через чащобы и пустыни идет царь с войском. Боязно было: разорял государь скиты и раскольничьи поселения. Старцы нарекли царя антихристом, зверем Апокалипсиса и титул царский толковали как число звериное. Однако после немалого размышления раскольницкие старшины вышли на выгорецкий ям встречать его хлебом-солью.

Петр вышел навстречу бородатым раскольникам; были они в старинных азямах, волосы стрижены в кружок — по-кержацки. Бородачи сняли шапки и стали перед царем на колени.

— Что за люди? — спросил Петр.

Сержант Щепотьев объяснил государю:

— Это, ваше величество, раскольники, духовных властей они не признают, за здравие вашего царского величества не молятся.

Царь шевельнул усами, спросил:

— А подати платят?

Сержант покосился на раскольников, но сказал правду:

— Платят, ваше величество. Раскольники — народ

трудолюбивый, и недоимки за ними никогда не бывает.

Петр повеселел, взял от раскольников хлеб-соль.

— Живите же, братцы, на доброе здоровье; о царе Петре, пожалуй, хоть не молитесь, но подати государству сполна платите!

Раскольники поклонились царю в землю.

— Ну, прощайте. В поход пора.

Петр повернулся и большими шагами пошел к мосту. За ним потянулись ратные дружины.

От Выга дорога вышла на сухие места, войско вело просеку да рубило мосты. Двигались быстро. Близ деревни Телекиной в яме сделали новый роздых, набрались сил и опять пошли с песней крушить чащобы. На речках Мат-озерке и Муромке наладили мосты. Петр сам забивал бабой сваи, таскал бревна. Царский кафтан изрядно пообносился, и подметки на сапогах прохудились, но государь чувствовал себя бодро, часто посмеивался, на ночлегах любил послушать от стариков поморские сказки...

Вечером, на закате, двадцать шестого августа перед войском блеснули широкие воды Онеги-озера. На берегу приютился деревянный городишко Повенец.

После долгих тяжких трудов, мытарств через леса и топи наконец-то фрегаты «Святой дух» и «Курьер» были спущены в Онего-озеро и плавно закачались на воде. Фрегаты и войско после немалых трудностей добрались до Ладоги; оттуда Петр послал гонца в Лифляндию; там находился полководец Шереметев с войском. Государь торопил в Ладогу да наказывал захватить пушкарей, умеющих добро стрелять...

Глубокой осенью Шереметев прибыл в Ладогу и вместе с царем повел войско к Нотебургу — древней крепостце Орешку, построенному новгородцами еще в тринадцатом веке у самого истока Невы, на небольшом острове, в былые годы принадлежавшем Водьской пятине Зарецкого стана. Крепость была обнесена высокими каменными стенами. Невский проток подле Орешка от русской стороны не широк, не более ста сажен, но весьма глубок и быстр, и по нему подле самых стен проходили суда. Оберегал крепость шведский гарнизон при сотне орудий. Предвидя все трудности при штурме Орешка, царь приказал перетянуть свирские ладьи из Ладожского озера на Неву. День и ночь звучали топоры: солдаты валили вековой дремучий лес, пробивали широкую просеку и по ней волоком тащили ладьи и фрегаты. На

каждом шагу серели огромные валуны, острые скалы, пни-коряги, и много надо было умения и сил, чтобы проволочить суда без поломок. Местами их волокли на руках. Царь Петр Алексеевич и тут не уступал в рвении солдатам, работая вместе с ними на лесном волочке. За сутки пятьдесят русских ладей были доставлены в невские воды и на заре появились перед глазами изумленного шведского гарнизона крепости.

Осенний день был ясен, по небу плыли вереницей легкие облака. С Ладоги дул свежий ветер, поднимал волну. Ладьи с воинами шли на штурм древней цитадели.

Шведы бились храбро, но одиннадцатого октября русские войска ту крепость взяли. Древний русский Орешек царь назвал Ключом-городом — Шлиссельбургом, что означало ключ к долгожданному морю...

В апреле 1703 года, когда подсохло, Шереметев лесными дорогами повел войско невским побережьем к устью. При речке Охте полководец заметил небольшой земляной город Канцы, по-свейски Ниеншанц. Против этой земляной крепости за речкой Охтой раскинулся деревянный посад. Русские войска с боем взяли Канцы и остановились на отдых.

Но отдыхать долго не пришлось,— в заливе появились свейские корабли. Спустя несколько дней в невское устье вошли вражьи шнявы и добрый бот...

Петр решился на отчаянное дело: на тридцати лодках он усадил солдат и безлунной ночью в тумане подобрался к свейским судам.

Рявкнули свейские пушки, но было поздно: русские лезли напролом и кололи врага...

Спустя десять дней после этого события, 16 мая 1703 года, в устье Невы на острове Ениссари появились саперы: копали рвы, насыпали валы, рубили заплоты.

Строился новый город Санкт-Питербурх.

Город вырастал на глазах, а враг все еще не сдавался и делал бесконечные попытки вернуть невские берега. Однако все нападения шведов отбивались. В одной из таких схваток в 1706 году на Балтике, около Выборга, погиб сержант Михайло Щепотьев. По приказу царя он возглавлял пятьдесят преображенцев, посаженных на пять рыбачьих лодок. Эта своеобразная флотилия охраняла невское устье и однажды, заметив шведские торговые корабли, бросилась за ними в погоню. К несчастью, над морем скоро поднялся густой туман, и шве-

ды ускользнули от погони. Делать было нечего, пришлось ни с чем возвращаться к Неве. Однако туман становился все плотнее и плотнее, и лодки долго кружили в нем. Блуждая, преображенцы неожиданно для себя столкнулись с военным адмиралтейским ботом, на котором находилось сто десять хорошо вооруженных шведов.

Сержант Михайло Щепотьев не испугался вдвое превосходившего неприятеля. Он подал гвардейцам команду атаковать врага. Солдаты, работая штыками, бросились на палубу бота и вскоре перекололи часть команды, а другая часть сдалась в плен. Щепотьев приказал запереть пленников в трюм. К управлению судна и к пушкам он приставил своих людей. Спустя несколько часов шведы обнаружили пропажу адмиралтейского бота и бросились на его выручку. И снова сержант Михайло Щепотьев нашелся. Он вступил в бой, из трофейных пушек русские бомбардиры-наводчики обстреляли шведские корабли и заставили их удалиться...

Шведским ядром в этом бою был сражен насмерть сержант Щепотьев. Гвардейцы доставили в Санкт-Питербурх шведское судно, пленных матросов и офицеров и доложили о своей печали. Царь удивился дерзновенной храбрости морской пехоты и всех участников этой вылазки произвел в офицеры.

Долго он стоял над телом умного и храброго сержанта. Петр Алексеевич вспомнил его заслуги и приказал похоронить его как старшего офицера. Простого сержанта Михайлу Щепотьева хоронили с музыкой и пальбой из пушек, а гроб его на кладбище провожал весь Преображенский полк...

2

Царь Петр торопился с укреплением невских берегов: рыли валы, делали заплоты, в болотистом лесу рубили просеки — першпективы. На высоких и обжитых местах, где ютились финские мызы, ставились первые хоромы. Государь понуждал московских бояр, именитых людей и купцов обживаться в холодном, туманном городке. Каждый из них получил землю и должен был ставить усадьбу.

Для укрепления крепостных валов нужны были пушки, ядра и другие воинские припасы: знал царь, что шведы еще не раз пойдут на схватки за морские берега. Он пи-

сал Никите Демидову, торопил с литьем и с отправкой пушек с Каменного Пояса.

Никита Демидов съездил в Тулу, обладил там спешные дела по изготовке фузей, заторопился увидеться с государем.

Весна уже отшумела; воды вошли в берега; дороги подсохли. Ехать было приятно, свежая зелень ласкала глаза.

В Москве и по заезжим избам только и разговору было что о новом морском порте. Бояре недовольны были царским пристрастием к новому городу.

— И гниль и топь да туманы, и беспокойств-то много,— жаловались они.— Наши деды да отцы жили без моря, прожили бы и мы как-нибудь.

Досмотрщики и фискалы в новом городе зорко доглядывали за платьем, чтобы шилось оно по царскому указу. Русское платье, черкасские тулупы, азямы, охабни портным делать настрого запрещалось.

На Москве рассказывали о недовольстве народа иноземным платьем, и много чем устрашали москвичи Никиту Демидова, но, однако, ехать в новый город надо было. По дороге на Новгород, пробираясь на Санкт-Питербурх, шли обозы, груженные хозяйским добром и припасами. Город строился на болотах, среди глухих ельников, и хлеба своего там не взращивали.

Никита Демидов ехал на двуколке один, без холопа; для храбрости под сиденьем припас топор. Одет был Никита в сермягу, походил на простого мужика. Дорога на неведомый Санкт-Питербурх для Никиты незнакомая, любопытная, он ко всему приглядывался. Придорожные деревни обезлюдели: крестьян — кого побрали в царские рекруты, кого угнали город строить. До́ма пооставались бабы и ребята. Господа заставляли пахать землю крестьянок, и они, надрываясь, еле справлялись с тяжелым делом. По полям скотины не густо было: по селам шныряли разбитные подрядчики — прасолы, скупали скотину на воинские нужды, по дороге гнали конские табуны для рейтарских полков. По городкам стояли воинские заставы, проверяли едущих. За Новгородом пошли леса, часто тянулись топи да кочкастые болота. По дороге гнали каторжных и ватаги крепостных: шла рабочая сила на стройку нового города. По топким местам рабочие артели стлали гати. Под монастырским сельцом монахи бутили топь и проводили тракт. Подоткнув грязные полы черных ряс, монахи в лаптях, как

откормленные гуси, топтались по болоту. У дороги с лопатой трудился толстый монах; лицо его блестело от пота.

— Что, отцы-греховодники, натужно доводится? — усмехнулся Никита.

Монахи не откликнулись. Демидов не унялся:

— Всяк видит, как монах скачет, а никто не видит, как монах плачет.

— Проезжай, остуда,— стиснул лопату в руках толстый инок.— Проезжай, пока братию не вздразнил.

Демидов сощурил глаза; монахи были здоровенные, жилистые, по колено в топи таскали бревна и вязки хвороста.

— Работяги,— остался доволен Демидов,— умеет Петр Ляксеевич силу подбирать. Оно — душе спасительно и для дела утешительно. Эй ты, пошел, каурый! — Он хлестнул кнутом по коню. Двуколка быстро покатилась по дороге.

За сотню верст до Санкт-Питербурха Демидову встретилась партия пленных шведов. Шли они стадом, оборванные, башмаки стоптаны; невесело поглядели на Демидова.

— Эй, служивый, куда гонишь? — крикнул заводчик конвоиру.

— В Новгород, а то и дале,— отозвался солдат и приостановился.— А что, подорожный, нет ли табачку?

— Я не табашник! — насупил брови Демидов.— Тем делом не занимаюсь. Эй, робята, а есть ли среди вас плавщики железа?

— Тут всяки есть; а што табачку нету — жалость едина; а ну, чо стали? Пошли! — засуетился солдат.

— Стой! — крикнул Демидов и соскочил с тележки.— Табачку нет, а деньги дам — купишь.— Никита полез в штаны, достал алтын, дал солдату.— Чьи и куда гонишь? Мне бы мастера по литью...

— Тут всяки есть,— повторил солдат,— а гоню я в деревнюшку Александры Даниловича Меншикова... Вот и проси его...

«Дойду до Меншикова, упрошу»,— решил Демидов и погнал коня.

Место пошло ровное: по сырой равнине стлался вереск да чахлый, мелкий ельник. Над болотинами дымился туман. Города так и не было. Лес оборвался у Фонтанки-реки; на мутной воде раскачивался жидкий

паро́м. Дорогу загородил шлагбаум. Из будки вышел солдат с алебардой и спросил у Никиты подорожную.

Туляк всмотрелся в алебарду и признал:

— Эк, моей-то работенки! А подорожной-то у меня и нет.

Солдат, в раздумье поглядывая то на паром, то на проезжего, решительно отрезал:

— Вертай назад! Без подорожной не пущу!

Ехать бы Демидову назад, но, на счастье, в ельнике затрубили охотничьи рога, залаяли псы. На дороге на рыжем коне показался конник и поскакал к реке. Солдат застыл.

На всаднике был плащ черного сукна, ветер трепал полы, перья на шляпе развевались. По скоку и ухватке Демидов похвалил:

— Добр, молодчага!

— Да ты тише! То сам генерал-губернатор Санкт-Питербурха Александр Данилович Меншиков.

— Ой ли! — схватился за бороду Никита и просиял: — Вот те и подорожная...

Конник подъехал к шлагбауму. Никита Демидов снял колпак и схватил коня за повод.

— Кто? — Меншиков, подбоченившись, ловко сидел на коне; скакун нетерпеливо перебирал ногами.

Демидов поднял плешивую голову:

— Александр Данилыч, али не признал? Да я о пушках докладать к царю еду.

Генерал-губернатор прищурил наглые серые глаза и вдруг просиял:

— Демидыч! Вот здо́рово, ко времени приспел! — Он соскочил с коня и обнял туляка.

Солдат живо поднял шлагбаум, из караулки выскочили паромщики, дюжие парни, и перевезли их на другой берег.

Демидов недовольно поглядел на илистую речку, низкие берега, хмурое небо, поморщился:

— Не нравится мне, Александр Данилыч, тут, чухонский край!

— А ты приглядись-ка,— Меншиков разгладил пушистые усики.— Рядышком тут океан-море, дорожка славная, торговлишку заведем... Будешь торговать?

— Кто торговать, а я железо робить должен,— деловито отозвался Никита.

— А деньги где возьмешь? — поднял глаза Меншиков.— Деньги — вещь нужная.

— Верно,— согласился Демидов,— деньги — вещь нужная. Кто их не любит? Без них как без рук...

Паром пристал к берегу. Вдаль шла прямая просека. Меншиков махнул рукой:

— Невская першпектива. Ты куда?

— А мне бы в корчму али на заезжий...

— Да нет, ко мне жалуй, Демидыч.

Дом губернатора стоял неподалеку от Невы, строен из дерева, крыт тесом, вместителен. В доме хозяйничали румяные бабы-новгородки, в горницах чистота, много бархата и шелка. Жил Александр Данилович по-холостому, но Демидову по слуху известно было, что есть у губернатора одна зазноба, проживает она в Москве... Во дворе — рубленая баня,— губернатор любил крепкий пар. Утомленный государь частенько наезжал в баню. В бане из дубовых пластин слажена была купальня — просторная и удобная. С дороги губернатор зазвал Демидова в баню. В купальне вода теплая, и после хлестанья веником хозяин и гость уселись в купальне, им положили широченную доску, на нее поставили вино и закуски. Александр Данилович пил, не моргая глазом, не морщась, закусывая снедью, и отдувался: в теплой воде тело наслаждалось.

Демидов хоть и не пил хмельного, но ел вкусно.

Насытившись, Никита сказал губернатору:

— Данилыч, ты бы мне пленных свеев отпустил, кои на литье способны.

Меншиков опорожнил кубок, прожевал кусок говядины, спросил просто:

— Сколько дашь?

Никита поскреб бороду:

— Мы народ бедный, заводишко...

Но губернатор перебил:

— Ты, Демидыч, не виляй хвостом... Цена?

— Ух ты какой! — Глаза у Никиты вспыхнули.— Был бы народ, а то людишки дохлые, до Каменного Пояса, поди, не дойдут, сгинут.

— Ну, ты, брат, мертвого работать заставишь. Знаю тебя!

— Ох, не прижимай, Данилыч!

— А кого прижать, ежели не тебя...

По бане гуляло тепло, от сытости напала сонливость, у Никиты слипались глаза.

3

Никита Демидов поджидал из Невьянска сына с железной кладью. Вешние воды отшумели; Акинфка, наверное, уже сплыл по Чусовой. В ожидании сынка туляк расхаживал по Санкт-Питербурху и присматривался к поспешной стройке. Река Нева разбилась на множество рукавов и в устье разлилась широко. По лесам, болотам да топям стояли одинокие рыбачьи хижины. По буграм и холмам серели редкие мызы; в низинах народ боялся селиться: при моряне вода в Неве-реке поднималась буйно и заливала хижины. Рыбаки и те при буйном водополье спасались на лодчонках на Дудергофские горки. На Заячьем острове, по-свейски именуемом Ениссари, новгородские плотники рубили крепость. Народу на постройке было много, согнали со всех концов отчизны. Работы шли спешно; на островке, как по щучьему велению, росли бастионы: государев, Трубецкого, Меншикова, Зотова и других царских сподручников. И бастионы те прозывались так потому, что за работой надзирали эти государственные мужи. В крепости строилась церковь во имя апостолов Петра и Павла, и церковь ту заложил сам царь.

Однако на крепостных работах не хватало ни плотничного инструмента, ни землекопного, а того хуже — мало имелось тачек и телег, и люди таскали землю в полах своего кафтана, бревна тащили волоком, а землю рыли зачастую руками. Земля для крепостных валов нужна была сухая, а кругом простирались болотная тина да мох; поэтому таскали издалека.

Такая же работа шла и по другим местам. Тысячи людей рубили здесь городовое строение, рыли, гатили, крепили, мостили. Великое множество крестьян: дворовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и просто беглых, каторжных — робили тут, ютясь в смрадных мазанках, землянках, бараках, а то и просто в шалашах, в которых стоял изнуряющий холод. Кругом полегла топь, донимала сырость, а в теплое время — комары и гнус. От слякоти-мокряди, болотной жижи развелись лихоманки, трясовицы, вереды, ломотье в костях. И после тяжкой работы и в болезнях не залеживались в землянках и шалашах. Гнали на работу беспощадно. По целым месяцам работные не видели хлеба, который и за деньги нельзя было добыть в этом пустынном краю. Мерзли в землянках, ели капусту да репу, страдали от

поноса, пухли от голода, от цинги гноились десны. К тому же лихие начальники безмерно воровали, лихоимничали.

Не выдержав нечеловеческих тягот, многие убегали, но их ловили, били кнутом, ставили на еще более тяжелые работы, а когда и от этих работ убегали, снова ловили, рвали ноздри и ковали в цепи. Между тем болезни усиливались с каждым днем, лекарей не было, да и не до того было. Одно лекарство быстро шло в ход: аптекарь Леевкень пустил в ход водочную настойку на сосновых шишках; настойка была дорога, но расходилась быстро; народ пил от болезней и от горя.

По городским улицам-просекам часто тянулись дровни, груженные мертвецами, завернутыми в рогожу; их везли куда-либо на болотистое кладбище, где, как падаль, сбрасывали в общую яму.

Город вырастал на костях.

Прослышал Никита Демидов байку,— а может, это и на самом деле была правда, больно все схоже с характером царя Петра Алексеевича. Позвал будто царь своего шута Ивана Балакирева и спрашивает:

— А ну-ка, поведай, что народ говорит про Питербурх?

— А бить не будешь, государь?

— Говори!

Балакирев знал кипучий нрав царя и на всякий случай стал поближе к двери.

— Говорит народ такое, государь,— скороговоркой выпалил шут, размахивая колпаком.— С одной стороны — море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох! Вот оно как!..

Не успел Балакирев досказать, бомбой вылетел в сенцы. Государь оторвался от токарного станка и кинулся за дубинкой...

На глазах Демидова город рождался в муках.

По болотам рыли канавы, в зыбкую почву вбивали сваи. На сваях ставили рубленные из елей дома, крыли их берестой или дерном. Постройки воздвигали в ряд — линейно.

В крепости возвели дом плац-майора, арсенал, провиантские магазины, казармы, аптеку и докторский домик.

Вставал Никита Демидов, когда в крепости играли зорю — поднимали на работу строителей. Туляк каждый день ходил к государеву домику, но Петр отбыл в

Ладогу, где находился уже две недели и торопил постройку кораблей.

Выстроил царь свое жилище неподалеку от крепости, на месте разоренной рыбачьей хижины. Царский дом был срублен из смолистой сосны, которая росла рядом, на диком болоте Кейвусари. Он был необширен — три низеньких и тесных комнатенки: направо от сеней — конторка, налево — столовая, а за нею — спаленка.

Домик по-голландски был окрашен под кирпич и крыт дощечками под черепицу.

Неподалеку по берегам Большой Невки строили себе дома царские вельможи: Шафиров, Брюс, Головин и другие.

У крепостного моста построили питейный дом, названный веселыми людьми «Остерией четырех фрегатов». В нем продавались водка, пиво, мед, табак, карты. До полуночи тут играли в карты, курили табак, пили и спорили. В праздники перед остерией совершались все торжества, по окончании которых государь Петр Алексеевич с генерал-губернатором Меншиковым частенько заходили сюда выпить чарку водки и выкурить трубку кнастера с иноземными шкиперами.

Коротая время в ожидании прибытия государя, Демидов заходил в питейный дом, отыскивал там потребный народ и договаривался с ним о железе...

Вскоре из Ладоги приехал царь; прознав о Демидове, он потребовал туляка к себе. Никита поспешил на зов. Петр принял просто, расцеловался с Никитой и повел к столу.

Петр Алексеевич был в полинялом, заношенном халате с прожженной полой; под халатом виднелась шерстяная красная фуфайка; на его ногах серые гарусные штопаные чулки и старые стоптанные туфли.

Вид у царя был усталый: лицо бледно-желтое, одутловатое, под глазами мешки. Только в огромных выпуклых глазах светился юношеский задор.

— Здорово, Демидыч. Жалуй к обеду,— попросту встретил Петр.

В столовой горнице их поджидала статная темноглазая хозяйка в простом платье и в башмаках. Она была смугла, с густыми, почти сросшимися бровями и темным пушком на верхней губе. Две толстые косы обвиты вокруг головы.

Хозяйка глянула на Демидова своими большими

темными глазами, улыбнулась, и он вдруг заметил, как она хороша.

«Подружка царя!» — догадался Никита и упал перед хозяйкой на колени.

— Вставай.— Петр уцепился за плечо Демидова.— Катя, это туляк наш...

Екатерина Алексеевна ласково протянула Никите руку:

— Просим откушать хлеба-соли.

Демидова усадили за стол, покрытый льняной скатертью. На столе дымились щи с бараниной, стоял штоф анисовки. Туляк украдкой огляделся: горница обставлена просто, без затей; потолок и стены обиты выбеленным холстом; окна широкие и низкие, с переплетом из свинцовых желобков. Ставни дубовые, на железных болтах; двери в горницу низкие, не по росту хозяина. Мебель проста: царь сам мастерил. Государь выпил анисовки, крякнул:

— Ну, сказывай, Демидыч, много пушек отлил да ядер?..

Никита спокойно ответил царю:

— Может, и мало, государь Петр Алексеевич, да дорога́ ложка к обеду. Акинфка сплавом гонит...

— Хозяйственно! — Петр вывернул на оловянную тарелку кусок баранины и, шевеля усами, сосал из кости мозги.

Екатерина Алексеевна налила в кубок анисовки и протянула гостю.

— Не пью, матушка,— оробел Никита.

— А ты пригубь,— нельзя отказываться, раз хозяйка просит,— блеснул синеватыми белками царь.

«Ох, и добра женка,— позавидовал Демидов царю,— вальяжна и скромна. Эх, поцеловать бы царскую бабу!»

Однако не осмелился, опустил глаза и хватил анисовки. Ух, нехорош дух от зелена вина: туляк поморщился.

Поел гость сытно, лаской остался доволен. Поглядел на государя; Петр Алексеевич отодвинулся от стола, широко раскинул длинные ноги и ласково посмотрел на жену. Демидов подумал: «Царь, а жадный! Мою женку целовал, а свою не догадался посулить...»

Петр Алексеевич заботливо сказал подруге:

— Катя, поди отдохни, а мы с Демидычем в гавань съездим...

Петр переоделся, натянул на ноги высокие сапоги.

К домику подали тележку, запряженную одноконь. Царь и Демидов поехали к морю. Дороги через болотины везде мощены бревнами, ехать было тряско. Указывая на просеки, Петр тыкал вдоль них, пояснял: «Тут прошпект будет, построим гостиный двор. Здесь матросскую слободку видишь. Это адмиралтейство строят...»

У берега Невы изможденные, одетые в рвань люди бутили в топь серый камень. Каменщики с пыльными лицами пригоняли его друг к другу. Новгородские плотники вбивали в трясину сваи, землекопы копали рвы. В облаках пыли по всему Питербурху тянулись бесконечные вереницы телег и ручейками растекались по стройкам, сбрасывая у лесов строительный материал: бут, песок, бревна, доски, мох. Худо кормленные лошаденки с натугой, через силу передвигали ноги и так, жилясь, вытягивали шеи и клонили головы, что чудилось, вот-вот рухнут на землю и не встанут больше. Рядом с возами тяжело вышагивали возчики и грузчики в драных лаптях, а то и босые, с грязными, потрескавшимися ногами, всклокоченные, со злыми, угрюмыми лицами...

Никита то на царя поглядывал, то на стройку. Вдоль низкой набережной кое-где высились бледно-розовые кирпичные дома, похожие на голландские кирки, с высокими крутыми крышами, с острыми шпицами и слуховыми окошками. Рядом с ними ютились лачуги и хибары, крытые дерном и берестою; за ними дальше простирались топь да лес, где еще водились олени и волки. Часто они появлялись на улицах города. Никите рассказывали в остерии, что волки среди бела дня неподалеку от дворца Меншикова загрызли женщину с ребенком.

Наконец-то царь и Демидов добрались по гатям и мостам до гавани. На морском берегу рабочие строили пристань, склады, цейхгаузы. Впереди расстилалась серая неспокойная равнина — море волновалось. Серое, тусклое небо сливалось со свинцовым морем; дул свежий ветер. Плоский кочкастый берег был уныл. Никита вздохнул:

— Выйдет ли с сего что, ваше величество?

— Выйдет, Демидыч,— уверенно сказал Петр.

Стоял он на самом пустынном берегу, холодные волны жадно лизали подошвы высоких царских сапог. Государь стоял прямо, отставив трость, в треуголке; боль-

шие серые глаза его пронзительно смотрели в туманный горизонт.

— Ты, Демидыч, подумай,— продолжал Петр Алексеевич,— раз отбили древнюю русскую землю, теперь не упустим из рук. Упустил бы ты, что получил?

Никита вздохнул:

— Уж так, Петр Ляксеич, и повелось, коли что добуду горбом — этого не упущу. На то и хозяин!

— Ну вот, видишь,— обрадовался Петр. Усы его шевельнулись.— Вот и море, а по нему и гости к нам пожалуют. Лен, пеньку, кожу торговать будут. А ты железо слать за море будешь?

— Буду, государь, слать железо... Побьем шведов, расчистим дорогу. Ух, тряхнем горами, государь. Тряхнем!

Никита зорко впился в далекий горизонт. Верил Демидов: придут из-за моря корабли за русским товаром,— и радовался: «Эх, и размахнемся мы с Акинфкой,— простор-то какой!»

Свинцовое небо жалось низко, море ворчало, но покорно ложилось у ног. Петр все стоял и глядел вдаль. За его спиной — на болотах и топях — вырастал невиданный город...

Глава пятая

I

По последнему санному пути торопил Акинфий обоз за обозом, груженные железом, ядрами и пушками. С ближних и дальних деревень согнали демидовские приказчики крестьянские подводы. Тянулись обозы к Утке-пристани на реке Чусовой.

На берегу белели отстроенные смолистые струги. По селу толпами расхаживал народ; одних сплавщиков к Чусовой подоспели тысячи. Народ собрался крепкий и озорной. По Чусовой плыть — отчаянному быть! Вода на реке в половодье поднималась высоко и мчала грозно...

Река бежала среди гор, каменных утесов, а по ним лепились ели. Стремнину перегораживали грозные скалы — «бойцы»; об их каменную грудь весной часто разбивались струги. По реке славились исстари: Разбойник, Собачий, Боярин, Печка, Ермак, Крикун, Шай-

тан — всех не счесть «бойцов»; на дне возле них немало похоронено богатств.

Волга весной мчится и разливается неоглядно. Кама с гор бежит быстро, а Чусовая-река скачет зверем. Гляди да поглядывай, ухо востро держи, река закружит судно, перевернет вверх дном, о каменную грудь «бойца» хряснет,— прощай!

На приречных горах, как бояре в зеленых бархатных шубах, шумят неохватные, могучие дозорные богатыри — сибирские кедры... На камнях пихта, ели... Эх, путь-дорога, буйная река!

Снег стаял и шумными потоками сошел с полей и дорог. В Утке демидовские приказчики распределяли бурлаков по стругам: на реке сторожили опытные старики, поджидали, когда тронется лед.

Перед отплытием Акинфий на коне слетал на заимку к Аннушке. Встретила она печально и покорно. В лесу в тенистых местах синел последний снег. На сухой сосне долбил дятел, и по лесу звонко и далеко разносился стук. У лесной дороги голубели подснежники. Распахнув дверь избушки, Анна стояла на пороге и смотрела мимо подъезжавшего Акинфия на шумевшие вершины сосен. Небо раскинулось широкое, синее; по нему легко плыли караваны белых облаков. На пригретых местах пробивалась свежая зелень.

Акинфий соскочил с коня, взял кержачку за руку и увел в избушку.

Глаза ее смотрели безучастно, а ласки были холодны. В черном платочке она совсем походила на схимницу.

— Ну, как живешь, Аннушка? — Акинфий нежно обнял ее; не узнать было грозного невьянского хозяина.

— Живется... Лес тут шумит, смолой пахнет, а птиц мало.— Большие глаза раскольницы печально взглянули на Акинфия. Вдруг она соскользнула со скамьи, упала в ноги хозяину, обхватила колени его и запросила страстно: — Отпусти меня, Акинфий Никитич! Дозволь уйти в скиты!

— Ой, ты что? — вырвался Акинфий и обнял ее.

— Не могу я... Ой, не могу.— Она опустила голову и закрыла лицо ладонями. Тяжело дыша, волнуясь, она созналась: — Лежу с тобой, а лукавый шепчет: «Возьми топор да стукни!» Ох... Уйди, пока греха на душу не взяла.

— Аль не любишь? — Демидов крепко сжал руки кержачки; они хрустнули в суставах, но молодка не шевелилась, покорно опустила голову. Посинелые губы дрожали...

Акинфий оттолкнул Аннушку и, взбудораженный, заходил по избе...

За соснами погасал закат; казалось, среди медных стволов пылал пожар. В избушке становилось сумрачно. Акинфка, тряхнув головой, приказал по-хозяйски:

— Не за тем ехал... Стели постель, Анна...

Про себя Демидов подумал: «Видать, больна девка. Ничего, бабушку-знахарку пришлю. С уголька взбрызнет — пройдет».

Аннушка покорно постлала постель хозяину...

Ночью над бором ударил первый гром, по темному небу вспыхивали зеленые молнии. По лесу шел несмолкаемый гул, шумел ливень. От громовых раскатов сотрясались стены избушки.

Акинфий раздетый, босиком вышел во двор. Ветер раскачивал могучие сосны, дождь был теплый, по оврагам гремели ручьи. Демидова сразу промочило, он стоял с непокрытой головой и ликовал, когда над лесом вспыхивали молнии.

— Чусовая тронется!

Лес источал смолистый запах, в лужах пузырилась теплая дождевая вода. Акинфий пристально вглядывался в темень, чутким ухом прислушивался к шуму. Он забыл Аннушку, теплую постель; мокрый,— дождевая влага стекала, как с борзой,— он пробрался в сараюшку и вывел коня.

Гремел гром, полыхали молнии; хозяин оседлал коня, забежал в горенку, оделся. На секунду в сердце у него шевельнулось теплое, хорошее чувство к Аннушке; он подошел к постели и наклонился:

— Бывай здоровой, Аннушка...

— Да ты что? — приподнялась она с постели, испуганными глазами посмотрела на Акинфия.

— Чусовая, стало быть, трогается. Да...

Он вскочил и, стуча подкованными сапогами, выбежал из хатенки. Она бросилась к окну.

Над лесом рванулось ярко-зеленое зарево и угасло. Раз за разом ударили и прогремели раскаты грома. При свете молнии увидела Аннушка: по лесной дороге мчался темный всадник, конская грива метнулась под ветром, и конь голосисто заржал.

Конский топот стихал под шумом ливня.

Кержачка ткнулась лицом в подоконник и горько заплакала.

2

Акинфий прискакал к пристани на рассвете. На берегу толпился народ, ночью огромный вал покрушил льды. Теперь Чусовая вздулась, пенилась, с ревом рвала ледяные крыги; они налезали одна на другую, скрежетали. По небу плыли низкие серые тучи.

Струги стояли в затоне наготове. Навстречу Акинфию прискакал Мосолов; его бычья шея была темна от весеннего загара.

— Заиграла река-то! — закричал приказчик.

— Сам вижу.— Акинфий хлестнул по коню и поскакал к стругам.

На стругах суетились бурлаки, у поносных сидели по два десятка молодцов и выжидали сигнала. Завидев хозяина, народ засуетился пуще, многие поснимали шапки. Подъехав к реке, Демидов соскочил с коня и отдал поводья Мосолову:

— В Невьянск! Да за народом смотри; за хозяина оставляю.

Мосолов сидел на коне грузно, уверенно ответил:

— Плыви смело, Никитич. За делом догляжу похозяйски...

Акинфий поднялся на первый струг. У потесных стали рулевые.

К полудню река на вспененных волнах пронесла льды, воды очистились. Серые тучи поредели. Акинфий взмахнул шапкой. На берегу у леса ахнула пушка; за рекой отозвались дали. Акинфий крикнул:

— Отдавай снасть!

Подобрали пеньковый канат; освобожденная барка тихо тронулась. Бурлаки хватились за потесы и повернули барку в течение.

Плавным полукругом барка прошла поперек реки, попала в стремнину и понеслась вперед. От пристани один за другим отплывали демидовские струги...

Народ позади отставал, уходил в туман.

Свежий ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, озолотило лес и поля. Мимо барок бежали горы, кедры, редкие починки и сельбища. Хмурые ели, скалы. Мимо, мимо! Река ревет, как разъяренный зверь. Плечистые рулевые, пружиня крепкие мускулы, надрывались, борясь с бушующей стремниной.

Акинфий стоял на носу баржи, глядел вперед, навстречу с грохотом приближались скалы — «бойцы».

— Берегись! — закричал Акинфий...

Серый камень тяжелой громадой перегородил стремнину, и вода с плеском и грохотом билась буруном...

3

Плыли...

Мимо пронеслись Чусовые Городки, рубленные Строгановыми. На бревенчатых башнях темными жерлами грозили древние пушки.

Пронеслись мимо «бойцов»; народ суетился, опасались: вот-вот струг стрелой ударится о серый камень, разобьется вдребезги, и бурун унесет его на дно. Акинфий молча сжимал челюсти и зорко глядел на скалы; сердце было твердо, и он не ощущал страха. Позади плыли шестьдесят стругов, груженных железной кладью.

Приказчики из сил выбивались, знали: упустишь барку — убьет Демидов.

Оно так и вышло: под Разбойником один из стругов нанесло на каменную грудь, завертело, качнуло, и груженный железом струг пошел на дно. С тяжелой кладью пошли на дно и бурлаки. Семеро бросились вплавь, но стремнина захлестнула отважных. Только двое добрались до берега, отлежались и сбежали в лес.

В устье Чусовой струги стали на якорь. Дознался Акинфий о беде под Разбойником, потемнел:

— Сбегли? Их счастье: подохли бы под плетью.

Поднял серые глаза на приказчика и наказал строго:

— Согнать народ с деревень и со дна добыть железо. Государеву добру не гибнуть в омуте...

Струги отплыли дальше...

По вешней воде сплыл Акинфий Демидов к Волге-реке. Вверх по Волге до Нижнего Новгорода и далее по Оке струги тянули бечевой. Шли бурлаки, впряженные в лямку, с малыми роздыхами. Надо было торопиться, пока в верховьях не спала вода.

Пели горюны унылые песни в трудовой шаг; на перекатах, случалось, баржа садилась — с уханьем, надрываясь, снимали и тащили дальше. Вечерами на бережку жгли костры, обогревались; спина бурлацкая гудела от лямки.

Спустя несколько недель Акинфий Демидов сплавил военные припасы в Москву и сдал в Пушечном приказе, а сам выехал в Санкт-Питербурх...

4

Приехал Акинфий Демидов, когда бате на Мойке-реке отвели немалый участок землицы и сам государь велел Демидовым строиться.

— Эх, и не ко времени это подошло,— жаловался Никита сыну.— И без того рабочих рук великая недостача...

Акинфий Никитич добрался до санкт-питербурхского губернатора Александра Даниловича Меншикова. Тот сразу признал туляка:

— А, кузнец! К добру ты, молодец, пожаловал. Хоромы возводить надо...

Меншиков был все так же строен, румян и ловок, только появилась важная осанка, да преображенский мундир сменил он на бархатный камзол со звездой. В обращении с Демидовыми остался прост.

Пробовал Акинфий отнекиваться от стройки хлопотами по государеву делу, но губернатор не унялся:

— А ты там успевай, да и тут не зевай! Строй!

Так и не договорился Акинфий об отсрочке; вместе с батей они обдумывали, как бы урвать у губернатора рабочих рук да сманить на Каменный Пояс иноземных мастеров, могущих лить пушки...

Губернатор меж тем проявлял необыкновенную ретивость — каждый день его можно было встретить на стройке то в крепости, то в гавани, то на каналах, где рубили мосты. Вставал Меншиков с зарей, был бодр, энергичен и всюду поспевал.

Демидовы восхищались:

— Вот господь бог царю работничка послал!

Царь Петр Алексеевич снова отбыл в Ладогу — спускать на воду вновь отстроенные фрегаты...

Глава шестая

1

По-прежнему в кромешной тьме работали рудокопщики. Сенька Сокол оброс бородой, цепи натерли язвы, тело отощало, и проступали угловатые кости. Только глаза Сокола остались большими и яркими, горели непримиримой ненавистью. Кержак утихомирился, но и на него порой внезапно нападала ярость; тогда он креп-

кими руками рвал железо, но кандалы не поддавались.

Из-за плохих крепей нередко были обвалы, засыпало людей. Погиб подземный кузнец дед Поруха, и с новой партией кабальных ковать их к тачкам спустился тульский кузнец Еремка. У Еремки озорные глаза, шапка набекрень, покрутил русой бороденкой, сплюнул:

— Ай да Демидов, загодя у сатаны преисподнюю выпросил. Не кум ли подчас он ему?

Доглядчик ткнул Еремку в бок:

— Ты дело делай, а язык за зубами придерживай, а то самого к тачке прикуют.

— Эхма, подходи, народ крещеный, обвенчаю с каторжной! — Еремка взялся за молот и стал приковывать кабальных к тачкам.

Лежа в забое, Сенька Сокол по голосу узнал веселого хлопотуна Еремку. Сокол поднялся, сгибаясь и волоча тачку, пошел на тусклый огонек в штольне.

Еремка приковал последнего, поднял голову; струхнул. В него уставилась лохматая борода. На черном лице горели воспаленные глаза. Человек, согнувшись, держал в руках кайло и тяжело хрипел.

— Ой, леший! Осподи Исусе!..

— Еремка, аль не признал?

Тульский кузнец изумился:

— Ну, и по имени кличет. Во бес!

Сенька двинулся вперед, кандалы звякнули, отбросил тачку. Еремка напряженно, с опаской вглядывался в рудокопщика, и вдруг лицо его просияло:

— Ой, Сокол, ой, певун мой!

Они обрадованно глядели друг на друга. О чем говорить, когда доглядчик рядом вертится, кричит Еремке:

— Отковал свое, иди к бадье!

Еремка на ходу спросил:

— Как-то жизнь?

— Сам видишь.— Голос у Сеньки хриплый, оскудел.

Еремка приостановился, огляделся, сильно дохнул, и светильник погас; сразу сдавила черная тьма. Кузнец схватил Сокола за руку:

— Демиды отбыли на Москву, чуешь?

— Чую.— Сенька тяжко вздохнул.

— Вдругорядь спущусь, подарочек приволоку, а ты не зевай. Чуешь? — шепнул Еремка Соколу.— А пока — вот...

Сенька ощутил в руке добрую краюху теплого хлеба — нагрелась за Еремкиной пазухой.

— Э-ге-ге! — закричал зычно Еремка.— Светильня сгасла, кремня дай!..

Сокол, пошатываясь, вернулся в забой. Кержак сидел на выбитых глыбах, тяжко дышал:

— Куда бродил?

Сокол переломил хлебную краюху пополам и половину отдал кержаку:

— Ешь!

Кержак взял хлеб, но есть не стал, спросил:

— Хорошее, может, слышал?

— Погоди, будет и оно.— Сокол взялся за кайло и стал долбить породу...

Наломанную руду в тачках возили в рудоразборную светлицу, к бадье. Вверху глубокого колодца виднелось белесое небо, на краях бадьи лежал снег; рудокопщики догадывались о зиме. Но вот уж давненько, как на бадье снег исчез, края ее были влажны, скатывались ядреные, чистые капли. «Вешние дожди идут»,— угадывал кержак.

Прибывшая свежая партия кабальных рассказывала: на земле весна; лес оделся листвой, поют птицы. Сухой плешивый старичок из прибывших вынул из-за пазухи зеленую веточку березки. К веточке потянулись десятки рук. Все с жадностью разглядывали зеленые листочки. Кержак оторвал один, положил на ладошку, долго не сводил глаз, а в них стояли мутные слезы. Сокол глянул на друга, засопел и отвернулся:

— Год отжили в преисподней... Ни дня, ни солнышка, ни ласки...

Весь день Сокол пел тоскливые песни, рудокопщики побросали работу, слушали. Доглядчик пробовал разогнать плетью, но кержак крикнул:

— Не тронь, урок сробили... А тронешь — кайлом прибьем!..

Кандальники с тачками ходили в рудоразборную светлицу и долго смотрели вверх узкого колодца: там голубело небо. Все тянули бородатые грязные лица, ухмылялись:

— Весна!

Доглядчик выходил из себя. Хотя кабальные урок свой отработали, но вели себя непривычно, как пчелиный рой весной. Походило на бунт. Доглядчик при смене поднялся наверх и доложил о своей тревоге Мосолову.

Демидовский приказчик спустился в шахты. Тускло светились огоньки в забоях, мужики старательно лома-

ли руду, над потными телами стоял пар. В подземельях давила духота, стояла могильная тишина. Мосолов усмехнулся:

— Где бунт, коли людишки робят, как кони... А ежели песню поют, то разумей: от песни работа легче.

Сумрачный доглядчик перечил:

— Они табуном ходили и на небушко взирали!

Мосолов поднял палец и сказал внушительно:

— На господа бога, знать, ходили глядеть. Каются, ноне святая неделя.

Мосолов был полнокровен, полон силы; ходил он, заложив за спину руки, зоркие глаза заглядывали во все закоулки.

«Пустое,— подумал он,— человек спущен в могилу, прикован цепью к большой тяжести — тачке, где ему вылезти?»

Хотелось поскорей выбраться из сырых душных шахт, и он с легкой издевкой сказал доглядчику:

— Человек не птаха, не взлетит из этакой глубины.

Мосолов поднялся наверх спокойный и уверенный. Над прудом дымили домны; знакомо и равномерно стучали обжимные молоты. На горе шелестела свежая, сочная зелень, в пруду квакали лягушки. Солнце садилось за горы...

2

Рыжеусый стражник Федька, как только сплыл Акинфий по Чусовой, загулял. Дверь в шахтовый спуск запирал на замо́к, ружье ставил в угол и присаживался к столу. Доглядчик-раскоряка поднимался к нему, и оба пили...

Пьяный доглядчик жаловался:

— Говорит, человек не птаха, не подымется... А мы — гуси-лебеди. Пей, кум...

Пили...

В колодце вверху сверкали крупные звезды.

«Надо бежать! — решил Сокол.— Весной под каждым кустом дом».

На неделе демидовские дозоры поймали беглого и пригнали в шахты. Веселый Еремка спустился в рудник ковать беглого к тачке.

Как и прошлый раз, Сокол добрался до Еремки. Коваль встретил Сеньку насмешкой:

— Жив, шишига? Крепка шкура-то?

Доглядчик отвернулся. Еремка дохнул на светец — огонь погас.

Кузнец засуетился:

— Ой, будь ты неладно, кремня дайте...

Во тьме он ткнулся в Сеньку и сунул в руку напильничек:

— Держи подарочек... Ежели в бадье будет зелена веточка — наверху пьяны. Беги...

Высекли огонь; Еремка держал наготове молот, посапывал. Сокол как не был — растаял...

После каторжной работы кабальные укладывались на отдых поздно. Пели песни и под песни трудились с напильником над кандальем...

Мосолов сел на хозяйского конька и поехал осматривать стройку на Тагилке-реке. Невьянские жильцы вздохнули легче. Над прудом сверкало солнце, над горами голубело небо; люди как бы впервые увидели их. Веселый кузнец Еремка пришел к Федьке-стражнику со штофами и стал пить вместе с ним.

У пруда расхаживал народ — отдыхал, девки песни пели. Только бородатый кат с разбойничьими глазами ходил сумрачный у правежной избы, ворчал:

— Съехали хозяева — загуляли. Быть битым холопам!..

Кат в бадье отмачивал свои сыромятные плети: «Хлеще будут!»

В троицын день девки на реке пускали венки; по площади, заложив у целовальника в кабаке свою сабельку, расхаживал пьяный Федька, куражился.

Кат подошел к нему:

— Ты что ж, служивый человек, не у места?

— Я стражник — вольный человек,— бил себя в грудь Федька.— Пью-гуляю, ноне святая троица, а ты уйди, варнак...

У ката мысли ворочались медленно, хвастовство Федьки ему пришлось не по душе, он насупился и отошел от бахвала. Завалился кат на замызганные нары и весь день-деньской проспал...

Утром по заводской улице бежал доглядчик-раскоряка, размахивая шапкой, истошно кричал:

— Караул, рудокопщики сбегли!..

Федька-стражник лежал в пропускной избе, повязанный по рукам и по ногам, вращал хмельными глазами. В колодце болталась пустая бадья. Спустились вниз; по шахтам бегали растревоженные голодные кры-

сы да гулко падали в темных переходах капли. В рудоразборной светлице нашли одного старика рудокопщика, Лежал он на спине, заходился в долгом кашле, харкал кровью и смотрел вверх колодца на голубое пятнышко неба. Старик в забытьи говорил тормошившим его:

— Помираю. Улетели соколы — не поймать!

На земле стояла жара, но кату было холодно, он надел полушубок, взял плеть и пошел в горы отыскивать Мосолова...

3

В горы, в лес из рудника бежали кабальные. В лесу — дичь, тишина, болото; человеческий голос слаб, тонет во мхах, в буйных травах. В чаще под лапой зверя трещит сухой валежник.

Глухой ночью беглые выбрались на поляну, кузнец-кержак камнем сбил кандалы народу. Огня не раскладывали. Сокол сидел на пне, кабальные лежали на траве; меж вершин качающихся деревьев блестели звезды.

Сенька убеждал беглых:

— Бежим все вместях. Веник повязанный крепок, не сразу сломишь, а по прутику без труда переломаешь. На дорогах и тропках демидовские псы сторожат, по следу побегут, по одному перехватают.

Кержак сидел у пня, руками уперся в землю, примял папоротник. Борода взъерошена, глаза волчьи.

— Верную речь Сокол держит! — одобрил он.

Беглые молчали, потупив глаза в землю.

— Ну, что молчите? — Кержак потянулся и выворотил папоротник с землей.

— Я бы рад,— шевельнулся тощий мужичонка; бороденка у него ершиная, на лице ранние морщины,— рад бы... Да к дому спешить надо... Я — галичский...

— Вот видишь, ему до Галича, а мне к Рязани подаваться,— как тут вместе? Вот вить как, а? — Молодец в серой сермяге поскреб ногтями нечесаный затылок.

Сенька спросил с горькой усмешкой:

— А на Рязани что тебя поджидает? Аль не отведал у барина-господина плетей?

— Бухнусь барину в ноги; верно, отходит плетью, да простит. На земле маята лучше, чем под землей.

Сенька недовольно сдвинул брови:

— Эх ты, рязань косопузая, о себе думаешь. Зайцем потрусишь — поймают...

— Не поймают,— шевельнул плечами рязанец и ухмыльнулся.

— Храбрый! — Глаза кержака стали грозны.— Ослобождали — с нами, а ослобонили — в сторону. Я, Сокол, с тобой иду. Завязали мы, Сенька, свою жизнь одним узелком: драться нам вместе и умирать вместе.

К Сеньке подобрались пять беглых; решили с ним идти в огонь, в воду. Остальные — кто куда.

По лесу потянул предутренний холодок, на кустах засверкала роса, и звезды гасли одна за другой.

Беглые в одиночку, по двое уходили каждый в свой путь. Уходили молча, не прощаясь,— стыдно было за поруху товарищества.

Меж тем в Невьянск на взмыленной лошади прискакал демидовский приказчик Мосолов и начал расправу. Со всего завода согнали рабочих к правежной избе; перед ней стояли козлы. Первым привязали Федьку-стражника, спустили штаны, и кат, поплевав на ладони, стал хлестать нерадивого. Стражник пучил рачьи глаза, не стерпел — орал благим матом. Кат прибавил силы в битье — Федька, осипнув, поник головой и замолчал. После каждого удара дергались только Федькины пятки.

После Федьки-стражника перепороли всех рабочих: на каждом нашли вину. Заводские выстроены в круг, в центре ко́злы, Мосолов хватал подряд первого попавшегося и вытаскивал на середину круга. Злой, с перекошенным лицом, он люто кидался на людей:

— Где ходил, где был?

— Ды-к, я до кузни шел да прослышал — сбегли...

— Секи! — командовал Мосолов кату.

У ката глаза налились кровью, рука раззуделась, сек нещадно. Сыромятный ремень сочился кровью.

— Ой, ладно! Ой, так! — поощрял Мосолов и хватался сам за плеть.

— Уйди! — отталкивал его кат: — Уйди, а то и тебя отхлещу...

— У, черт ретивый! — Мосолову по душе была такая усердность ката.

Секли женщин, бесстыдно задрав сарафаны. Холопки огрызались, вырывались, но дюжий кат глушил их кулаком и привязывал к станку.

Розыск шел три часа; кат выбился из сил; он бросил

плеть, сел у козел прямо на землю и подолом рубахи утер ручьи пота; руки у палача дрожали.

— Что, пристал, пес? — недовольно поглядел на ката Мосолов.— Давай плеть...

Мосолов сбросил кафтан, засучил рукава, сам стал сечь. Палач глядел на приказчика, морщился:

— Плохо...

В сараях, где складывалось железо, нашли доглядчика Заячью губу. Доглядчик висел на кушаке, страшно высунув язык.

— Сам себя порешил,— доложили Мосолову.

Приказчик выругался:

— Труслив, губан! Выбросить из петли падаль...

По дорогам и лесам, на перевалах зашевелились демидовские дозоры, хватали беглых, вязали веревками и гнали в Невьянск. Поймали и галича, поймали и рязанца. Рязанец пал на колени перед объездчиком:

— Убей тута...

— Что, убоялся в Невьянск волочиться?

— Убоялся. Страшно,— тихим голосом сознался рязанец.

— Умел бегать — сумей ответ держать,— толкнул в спину беглого объездчик.

Галич держал себя смирно, шел с искровавленным лицом и утешал себя: «Христос терпел и нам велел...»

Искалеченных, избитых волокли в вотчину невьянского владыки. Каменную терновку[1] тесно набили провинными. Беглым набили колодки, заковали в цепи. Тем, кто огрызался, на шею надели рогатки.

4

Сенька Сокол и кержак да пять беглых ушли далеко; много застав миновали. На демидовских куренях нарвались на углежогов. Углежоги не донесли, поделились последним хлебом...

В лесу беглые поделали себе дубины. Вел Сенька Сокол ватажку на Волгу-реку. Дышалось легко, по лесам пели птицы, на глухих озерах играли лебединые стаи. Под июньским солнцем млели белоствольные березки, на полях гудели пчелы — собирали мед.

Раны от кандалья заживали, обертывали их лопушником — врачевались сами. Песен не пели, шли молча.

---

[1] Тюрьму.

— Успеем, напоемся.— Сенька всматривался в синие горы.— Все горы да увалы, увалы да горы. Погоди, вот минем Башкир-землю, выйдем на Каму-реку и запоем.

— Петь будем, купцов дубьем бить будем, ух, чешутся мои рученьки! — Кержак сладко потягивался, в черной бороде поблескивали острые зубы.

По горам да по лесам поселки редки, народ мается в них суровый, но обычай такой: посельники на полочке у кутного окна на ночь ставили горшок молока да хлеб. Бежали из Сибири на Русь измаянные люди, уходили от демидовских заводов на юг, в степи, скрывались кабальные на Иргиз-реке у раскольников. Всех беглых подкармливали посельники. Сенькина ватажка сыта была...

Вышли на Каму-реку: вода — синяя, леса — темные. По берегу тропы натоптали лаптями бурлаки, намочили едким пóтом; на тропах не растет трава, не цветет цвет. В Каме-реке рыба играет, струги плывут. В Закамье — боры, над ними медленно двигаются снежные облака...

В сельце ватажка упросилась в баню. Кривоглазая баба в синем сарафане недоверчиво оглядела мужиков:

— Может, вы беглые, а то каторжные, а мужик мой на стругах ушел...

Кержак присел на колоду, рассматривал бабу. Она была тощая, ноги — курьи, незавидная. Кержак сплюнул.

— Верно, народ мы ходовой, но баб не трогаем.

Про себя кержак сердито подумал: «Измаялись, а не всякую подбираем».

И женщине:

— Ты нас, хозяйка, пусти; испаримся да богу помолимся...

Посельница жадно оглядела ватажку:

— Лужок скосите — пущу. Мужики не мужики, гляжу, а медведи...

Пришлось стать за косу. Пожня густа и пахуча, травы сочны и росисты. Посельница накормила ватагу, косилось споро; работалось, как пелось. В мужицкой душе поднялось извечное — к земле приглядывались, принюхивались к травам.

Над пожней неугомонно играли жаворонки — старые приятели. Солнце грело, во ржи кричали перепела.

Сенька первым шел, за ним — кержак, за кержа-

ком — пятеро. Трава ложилась косматым валом, дымилась — испарялась роса...

К полудню покончили с пожней, посельница сытно покормила. Беглые накололи дров, истопили баню, залезли в нее.

В бане — хохот, хлест, ругань; кряхтели, мычали от запаха веников да хлестанья. Сладко ныло, свербело измаянное тело.

Кривоглазая посельница загляделась: здоровущие озорные мужики выбежали из бани — и в Каму-реку. Плыли, сопели; наигрались — и на берег; от накаленного тела шел пар.

После доброго пара и маяты беглые забрались на сеновал и захрапели.

Той порой беглецов заметил староста; он обегал дворы, собрал крепких мужиков-прасолов, судовщика; побрали вилы, топоры, окружили сеновал и повязали сонных беглых. Они спросонья глаза протирали:

— Откуда только пес злобный взялся?

Обувь у старосты — юфтяная, ноги большие, сам — дохлый кочет, а глаза желтые. Староста допытывался:

— Демидовские? Кто из вас ватажный?

Кержак глядел исподлобья. Сенька плюнул в рыжую бороденку старосты:

— Угадай, кто ватажный!

Прасол, плечистый мужик в темной сермяге и в смазных сапогах, нацелил на Сокола вилы:

— Заколю! Пошто забижаешь?

— А пошто повязал? Мы вольные казаки и шли своим путем...

Прасол оперся на вилы, морда — нахальная:

— Видывали таких казаков, их ныне от Демида бежит, как вода журчит.

— Ряди караул да гони по Сибирке.

— Знакома дорожка-то? — утер бороденку староста.

Беглые отмалчивались.

Кержак поднял волосатое лицо, загляделся на голубизну неба, вздохнул:

— А небушко-то какое... Эх, отгулялись, братцы!

Он стал рядом с Соколом, крикнул мужикам:

— Ведите, ироды!

Ватагу подняли, стабунили и погнали по дороге...

Дорога пылила, жгло солнце, а в небе кружил лихой ястреб-разбойник.

Сокол тряхнул кудрями, вздохнул глубоко:
— Не унывай, братцы. Споем от докуки.
Ватажники запели удалую песню...

Глава седьмая

1

Неделю усердствовал Мосолов: перепорол всех от мала до велика. Козлы у правежной избы и земля густо обрызгались кровью. Из терновки по ночам волокли гиблых, хоронили тайно. Доглядчика-раскоряку Заячью губу выбросили в лесу. Воронье передралось из-за мертвечины, зверье обглодало кости.

Приказчик хвалился кату:

— Слово мое крепко; хозяину своему предан. Вот оно как!

Кат от большой работы утешил звериный зуд, обмяк, умаялся. После правежа он нахлестался хмельного, повалился под тыном и мычал. Огромные пятки босых ног желтели на солнце. Лохматая голова палача покоилась в тени, в чернобылье...

Голодные псы лизали кровь с сыромятной плети...

Завод работал неустанно, равномерно постукивали обжимные молоты, на пруду шумели водяные колеса, в домнах варилось железо. Из лесных куреней приписные мужики возили нажженный уголь. От хозяина Демидова приходили хорошие вести. Все шло гладко, на добром ходу.

В воскресный день пополудни на заводской двор пригнали изловленных на Каме-реке. Беглых выстроили в ряд, из заводской конторы вышел Мосолов, обошел их. Насупился; кержака и Сеньку наказал отвести в сторону, а пятерым беглым приказал скинуть портки. Мужики оглянулись, кругом тын островьем кверху, у ворот пристава — не сбежишь; понурились и покорно сняли портки. Отдохнувший кат опять потешил душу...

Небитых Сеньку Сокола и кержака отвели в демидовские подвалы. С каменных сводов капала холодная роса; капли гулко звучали в густой тьме. Беглых приковали к стенке.

Сенька брякнул цепями:

— Ты здесь?

— Тут,— отозвался кержак.

— А кто стонет?..

Оба прислушались: в углу стонал человек.

— Эй, кто? — Сенька поразился: не узнал своего голоса.

Человек в углу не отозвался, затих.

Кержак пожаловался с сокрушением:

— В бреду у него душа, а нас, слышь-ко, не били, знать, хуже будет...

— К подземельям не привыкать,— кержак растянулся и захрапел. Сенька не смыкал глаз; во мраке плыли разноцветные круги, гасли и вновь появлялись. Мерещились леса, горы, солнце...

2

В углу под серыми сводами склепа, на гнилой соломе лежал прикованный на длинную цепь избитый раскольник и жаловался:

— Руду отыскал, солдату сказал, а солдат с дочкой пошли крепить место за собой — пропали. Наехали демидовские варнаки на скит, старцев не тронули, а меня сюда приволокли.

Сенька спросил:

— Пытали?

Голос раскольника задрожал горько:

— Еще как!

— Сказал, где руда? — не отставал Сенька.

— Скажешь. Кости хрустели. Во как!

— Ну, Сенька, сгибли тут.— Кержак брякнул цепью.— Пытать придут.

Скитник в углу шептал сухими губами:

— Наши древлей веры людишки бегут от антихриста на Каменный Пояс, а тут-ка свой царь объявился — Демидов. Где тут правду найдешь? Прошел я города, проплыл реки, перелез горы, правды на земле не нашел. Вот на цепь, как пса смердящего, приковали, измучили. Раздумал я и дошел, что правда в самом себе. Терпеть надо!

— Врешь! — вспыхнул Сенька.— Врешь, есть правда на земле, да упрятали ее купцы и бояре. А добыть ее — выходит, бить мироедов до корня.

— Крушить! — рявкнул кержак.— Эх, походить бы по Волге-реке, по разинской дорожке. Жалко, не пришлось!

— Ой, робята! — Раскольник измученно вздохнул.— Сижу под землей-маткой и слышу, как земля

стонет. Не нашелся еще тот человек, который все слезы да горе народное собрал бы в одну жменю да бояр и воевод царских к ответу стребовал. И не родится, детушки...

— Родится! — горячо крикнул Сенька.— Ох, и горько придется тогда боярину!

— За все разом отплатим! — с жаром сказал кержак.

В подвале стояла могильная тишина; по стенам сочилась сырость. Кат приносил раз в день по ломтю хлеба да перед каждым в берестяной корец плескал немного воды. Палач молчал, топтался по подземелью, тяжелым взглядом поглядывал на кандальных.

Хлеба и воды не хватало, тело стало сохнуть. Беглые томились — чего ждут? Или просто заживо погребли, и с тем конец?

Прошло много дней; раскольник в углу становился тише, уже не спорил, только слушал да покашливал.

— Отхожу. Не сегодня-завтра уйду в дальнюю путь-дорогу. Чую, мало осталось. Жаль, с Аннушкой, дочкой, не свиделся.

— Живи! Чего каркаешь? — Кержак сидел на корточках, привалившись спиной к стене, и зорко поглядывал в угол.

Раскольник вздыхал:

— Ноне сон виделся, будто с посохом иду в крутую гору, а на горе стоит отец и манит меня: «Торопись, Акимушка, хватит, походил по земле, навиделся горя». К чему, думаю? К смерти. Ноне помру.

— Чудишь, отец. Дай я песню спою,— предложил Сенька.

Старик прошептал:

— Не до песни. Слышь, что я попрошу тебя? Снял я крест, умру ноне,— а ты подыми, может вырвешься. Всяко бывает. Аннушке крест передашь, а узнать ее нетрудно...

Старик долго рассказывал о дочке, постепенно затихая. Вздохнул:

— Что-то слабость одолела, малость сосну...

Весь день и всю ночь отмалчивался старик. Пришел кат, принес хлеб и воду. Мутный свет фонаря слабо осветил угол: раскольник лежал скорчившись, лицом к стене. Кат ткнул ногой его тело.

— Ишь ты, никак отошел! — удивленно сказал он.

Кержак и Сенька застыли: ничто не нарушало мол-

чания. Кат опустил лохматую голову, поскреб затылок.

— Поди, господу богу теперь у престола жалуется. Руки-то наши по локоть в крови.— Палач тряхнул головой, насупился.— Вы-то не очень радуйтесь, еще плетью отгуляю! — пригрозил он.

Кат погасил светец; гремя подковами по каменному полу, ушел. Покойник стыл на соломе. Кержак прижался спиной к сырой стене и не отрывал от мрака глаз: поминутно спрашивал:

— Сенька, спишь?

— Не...

— Не спи, Сенька,— просил кержак.— Боязно. Крыс да покойников боюсь.

— С чего? Плетей не убоялся, а тут...

Кержак подтянулся к Сеньке поближе, тяжело дохнул:

— Смерти не страшно, а мертвяков боюсь.

Сенька лежал на гнилой соломе.

— А ты чуешь,— сказал он,— кат ушел, а я крест подобрал.

Прошло три дня, кат приносил еду и питье, но покойника не убирал. По узилищу поплыл тошнотворный душок. Кержак не сводил глаз с угла, томился. Сенька говорил:

— Ишь как по жадности напугался Демид, мертвяка — и того на цепи держит. Убоялся, как бы руду осподу богу не отдал.

Кержак угрюмо сказал:

— Ты молчи. Покойник — он, брат, все слышит. Эх, убечь бы отсюда! Худо нам, Сеня, будет. Ой, худо! Чую, зверь Демид затеял страшное...

Сеньке Соколу на сердце пала тоска; он скрипнул зубами:

— Пусть сказнит лютой смертью — не покорюсь я!..

— Слышь? — Кержак схватил Сеньку за руку.— Сюда идут...

По каменным ступеням гремели подкованные сапоги. Гудели глухие голоса. Дубовая отсыревшая дверь заскрипела на ржавых петлях, распахнулась. В подвал шагнул кат, в его руках потрескивал смоляной факел. Уродливые тени метались по стене. Из-за спины ката вышел грозный хозяин Никита Демидов. Он стоял, широко расставив крепкие ноги. Густые черные брови на переносье хозяина сошлись, взгляд был тяжел, Демидов погладил курчавую бороду:

— Ну, здоро́во. Довелось-таки свидеться. Сенька, пошто забыл наш уговор?

Сокол энергично поднял голову, озорно отозвался:

— Здорово, ворон! Терзать пришел?

— Разве ж так встречают холопы своего хозяина? —хмуро вымолвил Никита.

— А зачем на цепи, как зверей, держишь? — закричал кержак и угрожающе загремел кандалами.— Пошто упокойника не хоронишь?

Демидов сощурил глаза; в узких темных щелях горели злые огоньки.

— Не к чему тревожить, истлеет и тут... А вас судить буду — я вам судья и бог. Свети! — Голос его прозвучал сурово.

Кат поднял факел. Кандальники сидели рядом, оба бородатые, бороды грязные, спутанные.

— Встань! — Крикнул Демидов кержаку.— Почему дважды бегал? Пошто хозяину разор чинил да смуту средь народишка сеял?

— Уйди! — харкнул под ноги хозяину кержак.— Уйди, кандальем убью...

— Ишь ты, не угомонился. Храбер! — усмехнувшись, сказал Никита, и по его голому черепу пробежали мелкие складки.— Не грози, не убьешь! Силенкой и меня бог не обидел! — Он сжал увесистые кулаки и повысил злой голос: — Ух, и накажу тебя!

— На это ты мастер! — не унимался кержак.— Изобьешь, а после что сробишь со мной?

— А после того, как бит будешь, камнем закладут...

Кержак молча опустил голову, руки его дрожали. Демидов судил Сеньку:

— Тебе, Сокол, смерть пошлю особую, а какую — сам узнаешь...

Сенька сидел по-татарски, подбоченился, не повел ухом и опять озорно отозвался:

— От тебя, хозяин, иного не ждал. Казнить ты наловчился. Может, скажешь, какую кончину надумал, а?

На темном сухом лице Демидова обрисовались скулы. Орлиный нос раздулся, как у стервятника. Он ткнул твердым перстом:

— Ин, будь по-твоему, скажу. Стравлю тебя волку...

— Эх, жаль, а я-то мыслил: получше что придумаешь,— насмешливо сказал Сенька.

— Сатана! — плюнул Демидов и круто повернулся спиной к кандальникам.— Свети!

Кат забежал вперед и осветил дорогу. Демидов медленно, грузно поднимался по ступеням. Борода его тряслась, губы пересохли...

— Казню...

Кат, сутуло опустив плечи, как пес, покорно пошел за хозяином...

3

Кержака били плетью в каменном тайнике. Кат свирепел от крови, а кержак молчал, до хруста сжав зубы. Из носа пытаемого шла черная кровь; в груди хрипело, как в кузнечных мехах. Избитого кержака повязали крепкой веревкой и втиснули в каменную щель. Каменщики стали класть кирпич; кержак понял: конец.

— Пошто вольного человека губите? — хрипло спросил он.

Каменщики работали молча, торопливо; кирпичная кладь росла вверх. Дошла до груди — кержак жадно дышал. По лицу из раны сочилась кровь. Работники не смели поднять глаз: боялись увидеть взор гиблого.

Кирпичная кладь дошла до лица; еще ряд — скрылись глаза, большие, страшные. Из-за клади виднелись волосы, от дыхания шел парок. Каменщики торопливо уложили последний ряд, замазали и, не глядя друг другу в глаза, пошли из подвала...

Из-за каменной клади раздался стон — каменщиков охватил страх...

Сеньку Сокола приковали к чугунному столбу посреди хозяйского двора. Послал Никита нарочного на Ялупанов-остров, затерянный среди трясин. На острове скрывали беглых, заставляли их плести коробье под уголь. Доглядчик как-то поймал на болоте волчонка, посадил его на цепь и растил. Серого дразнили, будили в нем лютость... Этого зверя нарочный должен был доставить в Невьянск...

Нарочный уехал под вечер. В демидовских хоромах горели огни. Сенька Сокол сидел на цепи. Дули ветры, над горами густым пологом легла ночь...

На башне перекликались приставы; в чугунное било отзвонили полночь.

Утром на зорьке Никита Демидов вышел на крыльцо, потянулся. От пруда поднимался легкий туман. Чернел чугунный столб посреди двора, висели цепи...

Сеньки не было, исчез.

Демидов добежал до столба; огнем опалила ярость Никиту. На земле лежали отрубленная кисть руки да топор...

Так и не дознался грозный хозяин, кто подал топор Соколу.

Глава восьмая

1

Среди горного бора вьется еле приметная тропка; пахнет смолой; на зеленых ветках огненным хвостом вильнула белка; тишина; на тропке хрустнул валежник под конским копытом; на бойком коне в татарском кафтане едет молодой башкир. На бритой голове его круглая, шитая золотом шапочка-аракчинка, тугой лук да колчан со стрелами за плечом. Молодец высок, суховат; на верхней губе темнеет пушок. В ухе — серьга. Башкир высоким голосом поет нескончаемую песню.

Конь фыркнул, тревожно шевельнул ушами, попятился.

— Эй-я! — закричал башкир, вздрогнув.

Из кустов на тропу выполз человек в лохмотьях, застонал. Вершник спрыгнул с коня, подошел к человеку. Тот закрыл глаза, протянул вперед руки. Башкир попятился: на левой руке бродяги не было кисти, культяпка сочилась кровью.

Башкир присел над человеком:

— Кто будешь? Куда бегишь?

— Демидовский. Убег.

Башкир щелкнул языком:

— Ловкий! А рука где терял?

— Топором оттяпал, да кровью изошел.— На башкира смотрели добрые синие глаза. Бородатый человек был совсем молод. Портки на парне посконные, рубаха рваная, ноги босые обиты да ободраны о пни и корневища.

Беглый попросил:

— Подвези, а то сгибну...

Башкир подхватил беглого под мышки, поднял:

— Айда к воде, тут близко. Пить будешь, рука мыть надо...

Обняв башкира за крепкую шею, путаясь ослабев-

шими ногами, парень добрался до ручья и припал к воде.

Бойкий конек покорно побрел за людьми.

— Меня зовут Султан,— сказал башкир,— все мой богатство — конь. Садись, увезу тебя от шайтан Демид.

Джигит бережно перевязал беглому культяпку, посадил его на коня:

— Едем. За горой изба есть, живет там одна русска девка, хотел утащить, а теперь тебя привезу. Как звать?

— Кликали Сенькой.

Башкир повернулся, улыбнулся Сеньке, свистнул. Конь побежал быстро. Тропка пряталась в чаще кустов и елей, вилась мимо буревых выворотней, кидалась через овраги. Сенька схватил башкира за каптыргу[1] на ней болтался кожаный привес, в привесе — острый нож. Плечи башкира широкие, шея от вешнего загара медная.

Джигит свистнул, конь нырнул в чащобу. Сенька еле успел склонить голову. Ныла покалеченная рука.

Сенька подумал и спросил Султана:

— Скажи, добрая душа, почему башкир зол на русских?

Джигит оглянулся, пристально посмотрел на Сеньку и со страстью отозвался:

— Русский брал ясак? Брал. Русский взял землю? Взял. Куда идти бедный башкир? Кругом воевода, заводы да заводчики!

— Это ты верно, некуда башкиру податься,— согласился Сенька.— Но и русскому мужику худо. От кого худо? Угадал ты, мил-друг. Воеводы да заводчики и у русского мужика силы тянут... Вот как! Пошто ты против меня будешь? У меня все богатство — рвань портки, а думка у нас с тобой одна...

— Якши, твоя правда,— согласился джигит.

Глядя на затылок башкира, Сенька горячо продолжал:

— Не с добра сбег от Демидова. Вот кто супостат нам!..

Медные сосны разом расступились; у края лесного оврага на поляне стояла изба; к вечернему небу вился синий дымок. Башкир остановил коня, зорко вгляделся, насторожился.

---

[1] Кожаный кушак.

— Никого нет,— после раздумья сказал башкир.— Слезай с коня. Иди, Сенька!

Он помог беглому спуститься с лошади. Сенька стоял, опершись о луку, и долго смотрел джигиту в лицо.

— Спасибо, Султан, за обереженье. Век не забуду. Свидимся.— Он горячо ухватил руку башкира.

— Вот! — Джигит сорвал кожаный привес с ножом и подал Сеньке.— Это пригодится!.. Э-яй! — Джигит свистнул, конь рванулся в лес, и остался Сенька на тропке один с ножом в руке.

2

За соснами над оврагом догорала вечерняя заря, дымок над избушкой стал гуще. Сеньке хотелось есть. Он тряхнул кудрями, собрался с силами и пошел к избе. В руке Сокол крепко сжимал острый башкирский нож. Беглый распахнул дверь, переступил порог. Яркое пламя жадно лизало черное чело печки, потрескивали смолистые поленья. У стола стояла густобровая молодка и проворно крошила ножом душистые коренья. Молодка испуганно вскинула глаза, губы ее дернулись:

— Осподи, разбойник!

Голова Сеньки от слабости закружилась, он обмяк и опустился на земляной пол; кривой нож выпал из его руки. Лицо побледнело, на лбу блестел пот; глаза широко открыты...

Кержачка осторожным шагом подошла к беглому:

— Ты отколь да кто? Аль от крови захмелел?.. Ой, никак пясть оттяпали? — Перевязь на руке пропиталась кровью.

Кержачка схватилась за грудь, гулко колотилось сердце. Она проворно подбежала к окну, быстро выглянула. На поляне стыла тишина; в темном бору сгущались сумерки; лес окружал поляну черной стеной; ветер гудел по вершинам сосен. Молодка вернулась к парню; он покорно смотрел на хозяйку. В больших синих глазах беглого — страх и боль. Кержачке стало его жалко, она наклонилась над ним, дала испить. Сенька улыбнулся и попросил:

— Спрячь...

Она проворно распахнула боковушку, узкий длинный лаз вел на сеновал.

— Иди за мной!

Шатаясь от слабости, цепляясь за стены, он пошел

за кержачкой. В лицо пахнуло свежим сеном. Беглый ощупью добрался до сеновала и зарылся в душистые травы.

— Спи,— ласково сказала кержачка.

Было темно. Сенька не ответил. Он быстро, как камень на дно, отошел ко сну...

Аннушка зажгла лучину в светце; смолистая лучина потрескивала; по стенам избушки бродили тени.

Молодка задумалась: «Кто он, этот незнаемый человек? Отколь бежал?» Взор ее упал на кривой башкирский нож, который валялся у порога; она подобрала его и спрятала.

В избе стояла густая тишина, Аннушка тихо раскрыла дверь избушки; пахнуло бором, прелью. В темном небе блестела серебристая звездная россыпь...

Акинфий Никитич давно не наезжал в лесную избушку, и на сердце было покойно.

«Отколь бежал и кто?» — думала она о Сеньке.

Продрогшая от ночного холода, молодка вернулась в избу; лучина в светце догорала, гасла. Кержачка задула огонь и легла на кровать, но сон не приходил: мерещились синие глаза беглого да кровь...

Утром, на ранней заре, она босая прокралась на сеновал. В узкую щель пробился солнечный луч, и бесчисленные пылинки колебались в нем. Беглый лежал на спине, широко разметав руки. В русой бороде запутались зеленые травинки. Дышал он спокойно, ровно; рубаха расстегнута, на груди — кержацкий крест. Аннушка вгляделась, ахнула; признала: «Тятькин крест. О-ох!..»

На строгом лице молодки заиграл румянец, глаза вспыхнули. Она подобрала под платок выбившиеся волосы; руки у нее дрожали.

«Так вот кто ты! Убивец...»

Женщина долго и пристально смотрела в Сенькино лицо; на высокий лоб его лезли золотистые кудри; ноздри вздрагивали. Кержачку всколыхнула ненависть. Она тихо сошла в лаз, раздобыла топор и вернулась.

Сенька все еще спал, крепкая грудь вздымалась высоко. Аннушка зажмурила глаза и подняла топор...

Обессилев, она опустилась рядом со спящим и закрыла лицо руками. Горячие слезы потекли по щекам; солнечный луч позолотил пушинки на ее лице и пряди волос...

Сенька открыл глаза; увидел склоненную женщину

и лежащий рядом на сене топор. Он быстро поднял голову.

— Ты что? — схватил ее за руку.

Она сверкнула злыми глазами:

— Пошто убил тятьку?

Сон разом соскочил. Сенька встряхнулся, присел к женщине. Лицо ее было печально, строго. В глазах вспыхнул злой огонек. Сокол удивленно изогнул брови:

— Николи никого не убивал.

— А тятькин крест пошто на тебе?

Кержачка, не спуская глаз, ждала. Сенька нежданно здоровой рукой схватил ее за круглое плечо, притянул:

— Так ты и будешь Аннушка?

— Осподи,— отодвинулась кержачка.— Да кто ж ты такой?

Сокол уселся рядом, опустил голову. На пушистых ресницах молодки повисла слеза.

— Да кто ж ты такой? — повторила она.— Знать, тятьку видел, коли крест его. Что с родимым?

— Беглый я, демидовский,— сказал Сенька.— Тятьку твоего видел и благословение принес, Аннушка...

— Тятенька, родимый, что же с ним? — Глаза ее покорно, жалобно ждали.

— Эх, Аннушка! — вздохнул Сокол.— У Демидовых один конец...

— Загубили... Душегубы...

Она упала ничком в душистые травы, круглые плечи ее вздрагивали. Платок сполз с головы, толстая коса разметалась по сену. Сенька бережно гладил вздрагивающую Аннушкину спину.

Весь день она ходила строгая и печальная. Развела огонь, дверь заложила на крепкий запор; варила травы да коренья. Обмыла Сенькины раны настоем на травах и перевязала их.

3

Сенька Сокол хоронился в лесной избушке. В сеновале был скрытый лаз в овраг. Овраг густо порос черемухой да орешником. Однажды на заимку приехал приказчик Мосолов и привез припасы. Наглый бывший купчина, как барышник на конской ярмарке, бесстыдно разглядывал Аннушку.

— Добрый кус припрятал хозяин,— сказал он кержачке, стараясь обнять ее.

Она жестко ударила его по рукам:

— Не лапай, не твоя! Скажу Акинфию Никитичу — на осине повесит.

Приказчик остыл, снял колпак, поклонился кержачке:

— Прости, пошутковал малость.

Упругим шагом она прошла мимо, строгая и красивая.

Сенька пережидал приказчика в овраге; недовольный, он крушил кусты черемухи, орешника. Злое, оскорбленное чувство поднималось в его сердце. Сам себя спрашивал и безжалостно казнил: «Кто ж она? Чего она приросла к заимке? Убили мужа, батю, и она принимает убийцу? Неужто любит его?» От этой страшной догадки загоралась ревность. Часто, издали наблюдая за Аннушкой, он поражался ее строгой красоте, и тогда со дна души его поднималось теплое чувство.

Разгрузив возок, Мосолов отдыхал часа два. Разостлав пеструю конскую попону в тени, поджидал, пока отдохнут кони. Аннушка не пускала его в избушку. Он косился и просил жалобно:

— Пусти в хозяйский курятник...

Кержачка перед самым носом закрыла дверь на крепкий запор и не вышла из избушки, пока не уехал приказчик...

Акинфий Демидов, занятый заводскими делами, давно не бывал в бору. Каждое утро Аннушка пугливо, с ожиданием поглядывала на лесную дорогу, прислушиваясь, не раздастся ли конский топот.

Сенька поправился, окреп, подолгу бродил по лесу, принюхивался к лесным запахам. В глухом горном озере купался, тело наливалось силой, ночью приходил крепкий, здоровый сон. Часто на сеновал приходила Аннушка и, затаив дыхание, слушала про отца. Подобрав босые ноги под сарафан, она, положив голову на колени, пригорюнясь, смотрела на беглого...

Звездной ночью Сенька просыпался на сеновале и думал: «Что же дальше?» Во тьме плыло строгое, молчаливое лицо кержачки. Он спускался в потайной лаз и прислушивался. В горнице спала Аннушка; доносилось ее спокойное, ровное дыхание. Он долго сидел перед дверью, пока не зажигалась ранняя заря; тогда неслышно уходил в лес.

Негаданно на заимку примчался Акинфий Никитич. Усталый после долгих блужданий по лесу, Сенька возвращался на сеновал; в избушке горел поздний огонь. На поляне нетерпеливым конским копытом взрыта земля, темнел помет.

«Приехал хозяин»,— догадался Сокол, и сердце его сжалось. Как тать, неслышно пробрался он к избушке и заглянул в нее. В светце горела лучина; за столом сидел Акинфий Никитич, брови сурово сдвинуты; гость жадно ел, двигались крутые скулы. Неподалеку от стола, скрестив по-бабьи руки, стояла Аннушка и молча следила за Демидовым. Большие уши хозяина при еде медленно двигались; огромными жилистыми руками он ломал краюху хлеба. За стеной в сарае заржал жеребец.

На душе Сеньки стало неспокойно. Свет в горнице погас. «Укладываются спать»,— подумал Сокол, и ревнивое чувство обожгло его. Потайным лазом он пробрался на сеновал; сердце продолжало гудеть; в висках стучала кровь. Он жевал, грыз духмяные стебли высохших цветов; расстегнул ворот рубахи, но ночная прохлада не остудила его, и сон упорно не шел. В щель видны были звезды, и одна из них — самая крупная — синеватым светом мерцала над зубчатой елью...

Ночная тишина; за стеной хозяйский конь хрупал сено.

Сенька спал или не спал — не помнит. Открыл глаза, перед ним стояла Аннушка. В правой руке она держала топор.

— Вставай,— строго сказала она ему.— Вставай! Он спит. Самое время...

Кержачка подала ему топор, он послушно взял его. Она в ожидании опустилась на траву.

— Иди, что ли! — сказала она злым голосом.

Сенька покорно поднялся и опустился в лаз. Долго стоял он перед дверью; за ней гудел богатырский храп; толкнул дверь — она без скрипа подалась.

«Обдумала и петли смазала»,— обожгла Сеньку догадка.

Акинфий Демидов лежал на лавке, положив голову на седло...

Аннушка, чутко насторожившись, долго поджидала беглого. На сеновале посветлело. Из лаза показалась курчавая голова Сеньки; потом весь он вылез грузно, словно налитый свинцом. Тяжело поднимая ноги, он

медленно взобрался на сеновал и опустился рядом с ней. Зло отбросил топор. Глаза Сеньки потемнели, он опустил их. Руки дрожали. Аннушка протянула руку и приласкала кудри. Торжествующим голосом она спросила беглого:

— Прикончил?

Он отвел ее теплую руку, решительно потряс головой:

— Не могу. Не разбойник я...

Лицо кержачки побледнело; она поднялась и, шатаясь, высокая, стройная, пошла к выходу.

Над бором широким заревом занялась заря. Сенька видел, как Аннушка сидела на пне подле избушки и горько плакала.

4

Акинфий Демидов умчался на завод, а Сенька Сокол два дня рыскал по лесу. Неспокойные думы терзали сердце.

«Эх, Аннушка...» — и сам досказать не мог. Загадывал и не мог отгадать: люба или не люба?

Был рядом Акинфий, лютый враг, и умчался. «Зачем упустил? — укорял себя Сенька.— Неужто одни разбойники убивают?..»

На третий день, утихомиренный, он вернулся на знакомую поляну. Перед избушкой стояла Аннушка. В синей кофточке, простая и близкая, она пристально смотрела на тропку — поджидала кого-то.

Завидев Сеньку, пошла ему навстречу с ласковой улыбкой.

— А я-то думала — и не увижу боле...

Сенька взял ее теплую руку, и они вошли в избу. Она, как хозяйка, накормила его. Там, где сидел Акинфий Демидов, сидел он — Сенька Сокол. Кержачка любовно смотрела на беглого.

Насытившись, он поднялся из-за стола. Аннушка подошла к нему и просто положила руки на его плечи. Заглядывая ему в глаза, спросила:

— Отчего хмурен?

— Порешил я — уйду.

— Что ты? — вскрикнула Аннушка.— Аль плохо тебе тут? Ушел ты, а сердце мое изболелось. Люб ты мне,— прошептала она и приникла к Сенькиной груди.— Не уходи, Сеня. Страшно мне одной тут.

Он бережно усадил ее на скамью, сам сел рядом:

— Не могу тут. Демидовским духом разит...

Кержачка предложила:

— Уйдем в скиты!

— Пошто в скиты? Не дорога мне туда. Вольной жизни хочу. Подамся в Башкир-землю.

— Любимый ты мой! — На глазах кержачки заблестели слезы.— Неужели покинешь меня? Уйду, куда хошь уйду за тобой. Одна я на белом свете, и вся тут...

Он помолчал, тряхнул головой и сказал горячо на призыв кержачки:

— И ты мне люба, Аннушка, да жаль мне тебя, ласточка. Спородила меня мать, видать, не для любви. Ярость во мне горит против кровожадных бар! Не любовь и ласка манят меня, а жжет сердце месть. Может быть, и голову отрубят мне, и оголодавшие вороны кости мои растаскают, но пойду я против них... А ты иди в скиты одна... Кругом камни, лес, найди свою потайную тропку, беги от Демида.

Аннушка сидела бледная, молчаливая. По лицу катились горькие слезы.

За окном глухо гудел бор. В избе стояла тишина. Кержачка встала и сказала тихо:

— Что ж, не судьба, значит. Пусть по-твоему... И я сегодня уйду, немило мне все тут...

В темную июльскую ночь над бором краснело зарево. Приставы с невьянских крепостных башен, заметив далекий пожар, доложили Акинфию Никитичу:

— Не заимка ли горит?

Утром Акинфий Демидов оседлал коня и помчался в лесную избенку. Подъезжая, всадник издали почуял гарь. На поляне, над оврагом, догорали бревна. Акинфий прошелся по пепелищу, поворошил шестом и ничего не нашел: «Неужели и кости погорели?..»

К синему небу тянулся сизый горький дым. Опаленные сосны качали черными вершинами.

Демидов вскочил на коня и, хмурый, вернулся в Невьянск...

Глава девятая

1

В солнечный день в небе кружили ястребы, выглядывая добычу; зеленые березки, шелестя под ветром, бросали на пыльную дорогу зыбкую узорчатую тень.

Ехал Никита в плетеном коробе, поставленном на гибкие жердочки, запряженном парой гнедых башкирских лошадок. Торопился на стройку. От неустанных разъездов и забот он стал поджарым, нос закорючился, походил на орлиный клюв. Как-то в забое Никита повредил себе ногу и теперь ходил с костылем.

Дорога шла лесная; поглядывая, как коршун, по сторонам, Никита посвистывал; кони бежали ходко. На повороте, в чащобе у дороги, Никита заметил человека, Наметанным глазом он угадал в нем беглого. Шатун сидел, по-татарски поджав под себя ноги, голопупый, искал в снятой рубашке паразитов, голова у него не по туловищу большая.

— Ишь ты! — свистнул Никита; кони встрепенулись.

Бродяга вскочил; Никита заметил: у шатуна ноги кривые, дугой.

— Стой! — крикнул Демидов, выхватив из-за пазухи пистолет.— Пристрелю!

Беглый застыл; штаны у него — рвань. Демидов осадил коней и поднял глаза на бродягу.

— Кто?

Шатучий человек глянул на заводчика и хрипло выдавил:

— Каторжный.

У ног беглого лежала истрепанная рубаха, живот расчесан до крови. Бродяга покосился на Демидова и ухмыльнулся.

— Я от деда сбег, от бабки упер, от каторги ноги унес,— начал он скороговоркой, смело глядя на Демидова.

«Не пужлив, дьявол»,— довольно подумал Никита и пригрозил:

— И дед твой и бабка — конопатые и дурни простоволосые, а от Демидова не сбегишь. У Демидова — руки длиннющие.— Никита засунул пистолет за пазуху, взял костыль.— Ну! — Заводчик насупился.

— Что ну! — огрызнулся бродяга.— Пока не запряг, не говори: ну. Плевать, что ты Демид.

— Ух ты, черт! — выругался Никита.— Надевай рвань, тошно на пузо смотреть, да садись в короб. Никуда не сбегишь, на завод приставлю...

Бродяга помялся, махнул рукой: «Эх, была не была!»

Он надел рубаху, подошел к возку и вскочил в короб; глаза беглого воровато бегали.

— Как звать-то? — строго спросил Никита.

— Ты мне не допросчик, а я тебе не ответчик. На каторге по-всякому величали, кто Козьими ножками, а кто Щукой.— Беглый нагло смеялся в лицо Демидову.

— Не рыпайся, ерник,— пригрозил Никита.— Огрею костылем.

— Попробуй — я сбегу,— сплюнул бродяга.

— Вот леший! — засмеялся Демидов; бойкость бродяги ему нравилась.— Ну куда ты сбежишь? Кругом мои заставы, боры да скалы, а пузо у тебя пусто; жрать-то хочешь?

— Хочу! — обрадовался бродяга.— Третий день не жрал. Может, покормишь, али скуп от богачества? — Беглый оглянулся на Демидова.

Заводчик засопел, достал из берестяной коробушки краюху хлеба, с минуту подумал и отломил большой кусок:

— Ешь!

Каторжный стал жадно есть; Демидов молча разглядывал его и определял, к чему он способен.

Над дорогой раскачивались сосны; смолистый запах пьянил головы. Кони неслись резво; Демидов в крепких пальцах нетерпеливо перебирал вожжи и поглядывал на беглого, а в душе радовался: «Ну и чертушку пымал, давно такие окуньки на леску не попадали».

Бродяга торопился покончить с хлебом; наголодался — глотал куски не прожевывая. Хлеб был мягок, душист, давно не едал такого добротного хлеба. Ел бродяга, а сам думал: бежать или не бежать? Не бежать — демидовская кабала; убежишь — лес, горы, голод; поймают — пороть будут. «Ладно,— решил он,— повременю, пригляжусь. С этаким жаднюгой, может, и в люди вылезу...»

Кони свернули за камень; разом распахнулся бор; под угорьем блестел серебристый пруд. Издали темнела плотина, к ней, словно муравьи, рабочие люди на тачках подвозили шлак, крепили перемычку.

У плотины дымились домны. У Никиты затрепетали тонкие ноздри, он ощутил знакомый заводской запах гари. В долине по берегам пруда раскинулись серые рабочие домишки.

Кони понесли под угорье, мигом промчали плотину; рабочие снимали шапки и угрюмо глядели вслед демидовской тележке.

День приезда Демидова на Тагильский завод был правежным днем.

Демидовский тарантас пересек площадь и остановился перед заводской конторой. На крыльцо выбежал приказчик и бросился помогать Никите вылезти из короба.

Демидов, кряхтя, сошел с подножки, оперся на костыль и пытливым взором окинул завод, прислушался. По тому, как дышали домны и какой стоял заводской гул, Никита издали угадывал, как идут на заводе дела.

Демидов перевел тяжелый взгляд на каторжного.

— Этого бродягу отведите в терновку! — ткнул он костылем в беглого.

С лица каторжного, как шелуха, спала беззаботность. Он пригорбился, поклонился хозяину:

— Да я ж не сбегу!

— Ты мне тут поговори,— насупился Никита.— А дорогой кто дерзкие речи держал перед Демидовым? Так! За проворливость, удачу — хвалю тебя, беглый, а за дерзость перед хозяином — высеку, благо день ныне правежный...

Бродяга воровато огляделся: кругом горы, гудит смоляной лес, на плотине и у домен копошится народ. «Куда тут убегишь? Эх, и влопался!» — почесал затылок каторжный. Перед ним стоял приказчик — крепкий бородатый дядька. Глаза у приказчика бесстыжие и властные; умеет заводчик подбирать под стать себе людей. Приказчик сгреб бродягу за ворот, затрещала ветхая одежонка.

— Ну, пошли, беспутный!

Сопротивляться было бесполезно; бродяга шел покорно, уныло повесив голову. Караульный инвалид распахнул в заплоте калитку, и шатуна втолкнули в узкий дворик, обнесенный островерхим тыном.

В терновке — тесной, грязной избе — на полу валялись мужики. Пол местами полит кровью: знать, кого-то били батожьем. В углу с рогаткой на шее сидел тщедушный старик; рядом прикорнул к стенке прикованный цепью бравый парень. Он злыми глазами поглядел на беглого и спросил:

— По роже — разбойник; где поймали, каторжный?

— Где был — там нет, где ходил — там след,— скороговоркой ответил бродяга.

— Ишь ты, говорун-сорока,— засмеялся парень.—

Погоди, ужотко Демидов своротит скулы, не то запоешь...

В углу застонал колодник. Старик кивнул в его сторону:

— Ишь, сатана-приказчик отпотчевал. Человек приписной, свое отработал, на пашню тронулся, а его цапцарап... Теперь на правеж...

Старик шевельнулся, запустил руку в бороду; что-то цапнул:

— Оно так-то. Батоги на то и созданы, чтоб бога да господ не забыли... У, черти, живого заедят!..

Щука заметил, как по стенке терновки нахальными стайками ползали клопы...

В оконный проруб, захваченный толстой решеткой, дул ветер; под низким потолком хлопотал паук. В избе густо пахло потом. Варнак повел носом и чихнул:

— Ну и жизня!..

2

Никита Демидов прошел в контору и стал сверять записи. Приказчик, заложив за спину руки, стоял тут же, не шевелился. Сухое лицо его подергивалось, веки моргали; много видал этот человек, но не сказывал. Записи Никита Демидов нашел в порядке, остался доволен и попросил есть. Конторский стол покрыли скатертью, подали горячие щи и ковригу хлеба. Демидов поставил костыль в угол, стал лицом к иконе и положил поклон в землю.

Ел хозяин не спеша, молча...

Той порой на заводской площади шла подготовка к правежу. Еще третьего дня по наказу заводского управителя нарезали лозовые вицы; чтобы не ссохлись они, их держали в бадье с водой. Пока хозяин хлебал щи, на площади перед заводской конторой поставили козлы; возле них расхаживал заводской кат с плетью...

Из конторы на крыльцо вынесли кресло; из терновки пригнали угрюмых мужиков; среди них стоял, опустив голову в землю, каторжный Щука.

Демидов вышел на крыльцо; на его лице от горячих щей выступил пот. Хозяин степенно стал спускаться с высокого крыльца. Выставленные на правеж мужики сняли шапки и поклонились. Голова Демидова не шелохнулась, на лице не дрогнул ни один мускул.

Он уселся в кресло и с довольным видом оглядел провинившихся. Кругом понуро стояли согнанные за-

водские и бабы с ребятами...

Кат выхватил из толпы правежных «приписного»; у косоглазого мужичонки были своротены скулы, разорван в углу рот, на щеках засохла кровь. «Ишь разделали»,— подумал Никита и, насупившись, строго спросил крестьянина:

— Пошто бегал?

Приписной шевельнулся:

— Я свое отработал, и к дому пора. Покосы, хозяин...

— Так,— огладил бороду Демидов и сощурил глаза.— Эй, Егорка,— махнул он приказчику,— дай-ка сюда запись.

Приказчик подал листок углепоставщика; Демидов приказал прочесть. Юркий канцелярист в потертом кафтане прочел дребезжащим голосом:

— «Федор Савельев, годов пятьдесят четыре. Имат женку и трое малолетних робят; оклад — восемьдесят коробов уголья. Долгу за ём числится за прошлое, тысяча семьсот восьмое лето двадцать два рубля девяносто две копейки; уплачено долгу осьмнадцать рублей семьдесят одна с четвертью копейка. Остатный долг надлежит отработать».

— Вон оно как! А ты говоришь — отработал! — сердито уставился в приписного Никита.

— Отработал! По твоей записи век из кабалы не выйдешь! — хрипло запротестовал углежог.

Никита крепко сжал в цепких руках подлокотники кресла. Канцелярист юркнул за широкую спину хозяина.

— Так,— возвысил голос заводчик.— Значит, у меня на заводах обман творится. Вон куда метнул! Ты знай: Демидов свое не упустит, а чужого не надо. За то, что сбрехнул облыжно, добавлю двадцать пять лозин. А ну, ты! — Никита ткнул костылем в ката.

С провинного скинули портки, привязали к станку. Озорной, сильной рукой кат начал сечь приписного лозами наотмашь и в проводку; от крепких ударов ката кожа посеклась в кровавые лоскутья.

— Беззаконие творишь, хозяин! — выкрикнул избиваемый.

Чтобы угодить хозяину, кат смочил лозы в соленой воде и стал бить хлеще. От соленой воды боль становилась сильней и раны подолгу не заживали; урок давался обстоятельный. Пытуемый орал благим матом.

Каторжный Щука, глядя на муки, дрожал мелкой дрожью. Крестьянина избили и бросили с козел на землю; он не шевелился — обомлел. Принесли из колодца ведро воды и полили на голову избитого. Мужик очухался, зашевелился; его подняли с земли и поволокли обратно в терновку.

Правеж продолжался. Демидов шарил глазами по выставленной на расправу толпе.

— Где ты упрятался, каторжный? — Голос хозяина звучал льстивой лаской.— Иди сюда, голубь, за обещанным.

Кат вытянул из толпы бродягу Щуку.

— Не трожь! — крикнул тот.— Убью!

Кат с размаху треснул каторжника кулаком по голове. У бродяги все пошло кругом. Палач сильной рукой содрал порточную рвань с беглого и привязал его к станку.

Щуку отходили моченой лозой знатно, хлестко. Его подняли, надели портки.

— Ну, как? — спросил Демидов.

Бродяга харкнул кровью, выпрямился:

— Черт! Отхлестал-таки, варнак!

Демидов повеселел:

— А ты хозяину не дерзи. Теперь пошлю тебя и на работенку. Руду копать будешь!

Каторжник поднял голову, отказался решительно:

— В забой не пойду. Чуешь, хозяин? Я рудознатец, душа моя по лесам бродить любит... Отпусти — руду раздобуду!

Никита сощурил глаза:

— Те-те... Хитрый какой! Отпусти за рудой, а там ищи в поле ветра...

Бродяга поправил портки, обрел смелость. Сдерживая боль, он посулил Демидову:

— Зарок дам — не сбегу.

Демидов махнул рукой:

— Знаем зарок каторжный. Учены. Угнать на Ялупанов остров, отрастить бороду да на шахту...

Щука ненавидяще поглядел на Демидова:

— Не пойду в шахту. Убегу! Увидишь сам, истин бог, сбегу...

— Пытай сбечь — твое счастье,— ухмыльнулся Демидов.— Сбегишь — не трону, будешь рудознатцем...

Каторжного отвели в работный барак, накормили, указали нары. Он устало повалился животом на солому,

закрыл глаза. Но сон тревожили истошные крики: на площади продолжался правеж...

3

Беглых крепостных, солдат, каторжных — всех сомнительных, шатучих людей — для изменения наружности отправлял Демидов на Ялупанов остров. Жили беглые в «годовой» избушке, пока не отрастала борода и волосы на бритой голове. Кругом острова — Чистое болото; мшистая, топкая равнина, зыбуны, трясины. Ни жилья, ни человеческой души кругом на многие версты. За болотом бесконечный лес. На тайных тропах кой-где встретишь врубленный в вековую сосну осьмиконечный крест; здесь прошли кержаки.

Дорога на Ялупанов остров тайная; не заберется чужой человек. Ступит на зеленый мох — разверзнется бездна и молчаливо проглотит. Поминай как звали!

Около года жили тут беглые; плели лапти и коробы для угля. Кормили дурно — щи да квас, хлеба в недостаток. Били беглые палкой случайную птицу, и тогда был праздник.

На Ялупанов остров наезжали приказчики, отбирали тех, у кого выросли бороды, и увозили на заводы. В гнилом месте над трясинами заводская жизнь казалась раем.

Каторжного Щуку доставили на Ялупанов остров; беглый не унывал. Рожа заросла бородой, раны на спине зажили. Он сидел, по-татарски поджав ноги, плел короба и пел каторжные песни. Голос оказался у него дикий, пискливый, всем надоел. На ходу кривоногий шатун оказался легок, быстр. Любил он рассказывать про разные руды; рассказывал от души, а душа у него была к металлам ласковая.

Человек этот работал быстро, проворно.

Охрим, доглядчик Ялупанова острова, горбун с бородой до пояса, человек с недобрым глазом, корил бродягу:

— Не пой, каторжный. Голос у тебя мерзкий, криком беду накличешь, наехать могут сюда.

Щука с любопытством рассматривал доглядчика:

— Погляжу на тебя — бес с болота. Зубы конские, бородища до пупа, спина верблюжья, ей-бо страшно! Неужто с трясины явился?

— Молчи, черт! — грозил Охрим; в руках его хрустела ременная плеть.— Изобью!

— А ты попробуй.— Каторжный остановился перед ним, раскорячив кривые ноги.— Я, чертушка, прошел болота, леса и дебри, меня не спужаешь. Побьешь — я те глотку изгрызу... Во, видишь! — Каторжный оскалил большие черные зубы.

«Варнак!» — подумал Охрим и пошел прочь.

Отшумели предосенние дожди, с полночи ревел гулевой ветер, валил и гнул деревья; от дождей болотная топь вспухла: мхи до отказа напились влаги. Люди прятались от холода в шалаши.

В эту пору доглядчик Охрим на поверке недосчитался каторжного. Обошли весь островок, разворошили кустики, мхи, заглядывали под коряги, выворотни — нет человека. У трясины напали на след: брошены старые лапти — стало быть, сбег.

— Вот теперь и в ответе за сучья сына,— выругался Охрим.— Изобьют еще, что не усмотрел...

В ельниках гудел ветер, над гиблым местом каркало воронье. Ушел каторжный...

4

По холодным дням Никита Демидов любил погреть усталые кости. Топили баню, каменку накаляли так, что если плеснуть на нее водой, то раскаленные камни стреляли и лопались, как ядра. В бадьях томили пихтовый навар, распаривали в горячем квасе веники. Демидову нездоровилось третий день; в Медвежьей пади его охватило ветром, оттого поврежденную ногу щемила боль. Истопили баню, припасли холодного квасу, на полкй набросали пахучих трав.

Самое приятное для старика было нагнать пару так, чтоб гудело в каменьях, чтобы бревна потрескивали; кузнец вспоминал юность, родную Тулу и от хорошей бани молодел.

Никита, кряхтя, ворочался на полкáх, пыхтел, хлестался. Когда заходилось от духоты сердце, он сползал оттуда, с жадностью выпивал полжбана холодного квасу, опять бросался в густой пар и снова хлестал себя березовым веником.

— Ой, любо! Ой, пригоже! — восхищался крутым паром Никита.

В жгучем тумане поблескивало костлявое тело. Никита подзадоривал себя:

— Айда хлеще, айда слаще! Что, супостат, пристал? А-га-га!

Демидов не услышал, как скрипнула дверь и в пар вместе с холодком шагнул кривоногий человечек. Он был гол, большеголовый, борода — клочьями, что собачья шерсть. Человечек хлопнул себя по ляжкам и крикнул:

— Дай испарю, хозяин!

Никита протер глаза: «Уж не морок ли? Может, кровь в голову от жары кинулась? Он, тот самый, кого подвез и высек».

Демидов ахнул:

— Каторжный! Отколь тебя черт приволок?

— Я с Ялупанова острова сбег! Сказал: сбегу — и сбег! Верен я в своем слове, хозяин.

— Вот бес! — изумился Демидов.— Ловок ты и удачлив!

— Хороша удача, ежели царевы слуги в Сибирь укатали! Давай, хозяин, испарю. Доверь, я зла не помню.

Демидов испытующе поглядел на голого человечишку. Тщедушен, ляжки поджары, как у гончего пса.

— Дай вон жбан с квасом, попью! — крикнул Никита.

Каторжный проворно подал. Демидов испил; внутри пошел приятный холодок, горячая марь отлегла от его головы.

— Ты, лешак, ополосни телеса, тогда и парь! — предупредил хозяин.

Щука не заставил упрашивать, опрокинул на себя бадейку теплой воды, схватил веник — и на полок...

Сладостная истома овладела телом. Никита, закрыв глаза, кряхтел от наслаждения. Распаренный, знатно отхлестанный,— пар до костей пробрал,— он посулил беглому:

— С этой поры, знай, будешь рудознатцем. Сбег — твое счастье. Не трону! Слово мое хозяйское твердо...

Дворовый народ диву дался: вошел хозяин в баню один, а вышел сам-два. Откуда только большеголовый оборотень взялся?

Глава десятая

Никита Демидов приблизил к себе каторжного Щуку; брал его с собою в далекие поездки.

«Ежели с Ялупанова острова сбег головорез,— думал хозяин,— да ко мне в лапы прибег — значит, верным псом будет!»

Щука прирос к хозяину. Демидовское добро он берег пуще глазу. В кривоногом и на вид тщедушном человеке была прорва злости и скрытой ловкости. Однажды в пьяной драке Щука бесстрашно полоснул ката сапожным ножом; кат после этого отлеживался две недели, а за него расправу чинил каторжный. С той поры кат с опаской поглядывал на Щуку. Так и не дознался Демидов, откуда взялся Щука. На догадки хозяина каторжный уклончиво отвечал:

— Был государев человек, а ноне демидовский стал... Грамотен!

Щука неведомым путем знал многие рудные места и хвалил башкирскую землю. Сманивал хозяина.

— Исходил-истоптал я Башкир-землю,— хвалился каторжный,— места рудные, лесу для уголья — не вырубишь в сотню годов, а настоящих хозяев земли нет, потому башкиры народишко темный, притом нехристи. Тарханы-то их, по-нашему князья, народишко свой за алтын продадут. Едем, хозяин, купим землю...

Демидовское сердце грызла жадность. Мечтал Демидов о безграничных землях и лесах. Зажегся он весь, заторопился:

— Едем!

Собрались Демидов и кабальный в Башкирию. Уложили в телегу топоры, чайники, кованые багры и под Петров день тронулись в дальнюю путь-дорогу.

Потянулись дикие места, горы, лесные угодья; горные озера изобиловали рыбой, плавали крикливые косяки гусей. В долинах рек паслись башкирские табуны. Лето стояло погожее, на западных склонах Каменного Пояса в пахучих липняках роились пчелы. Земли кругом лежали черные, плодородные, а в горах хранились богатые руды.

Однако неприветливо встречали башкиры проезжих русских. Ехали путники по сибирской дороге, где часто встречались кочевья. Заходили они в кибитки, где у чувалов[1] над котлами хлопотали черноглазые башкирки; волосы у них иссиня-черные, заплетены в тонкие косы. Башкирки закрывали лица и пугливо прятались от русских.

В богатых кибитках путникам предлагали испить кумысу. Демидов ворочал от него нос, а Щука вкусно пил синеватый кумыс.

---

[1] Очаг со вмазанным котлом для варки пищи.

Никита плевался:

— Кумыс сей — кобылье молоко. Ты что ж, жеребенок, что ли? Не брезгаешь, пьешь такую пакость!

— Ты, хозяин, попробуй, а потом нос вороти. Кумыс — он молодит!

Бедные башкиры жили в аласыках — в шалашах, лаженных из прутьев и луба; в жилье их было пусто. Тот, кто коней не имел, по лесам ладил борти[1] да лесовал за зверьем.

На третий день Демидов приехал к тархану Енейской волости. Прохлаждался тархан в войлочной кибитке, застланной коврами; толстоносый, с косыми глазами, князь сидел идолом на пуховых подушках и пощипывал редкую седую бороденку. В глазах князя светилось лукавство. На тархане — синий чекмень с позументами, справа на поясе сумка, слева мешочек с ножиком. Ноги в сарыках[2] тархан поджал под себя. Рядом с тарханом на подушках валялась башкирка; зубы у нее черные, брови насурмленные. Завидев приезжих, башкирка вскочила горной козой и скрылась за полог.

«Стар, черт, а девкой забавляется»,— подумал Никита и поклонился тархану. Башкир указал на место рядом с собой. Демидов уселся, огладил черную бороду, незаметно наблюдая за тарханом. Щука по-татарски присел у двери и, как пес на охоте, уставился в полог; за ним быстро-быстро лопотали башкирки. «Бабник!» — выругался в душе Демидов, улыбнулся тархану и заговорил:

— Прослышали мы, князь, о твоей доблести и богачестве и не могли проехать мимо, дабы не отдать поклон и не послушать мудрых речей твоих.

Тархан снисходительно кивнул головой. Демидов разглаживал бороду и льстил:

— У меня в горах, на восток отсюда, дымят заводы, и богатство мое немалое, но богаче тебя я знаю одного бога. Твои конские косяки, князь, превосходны, а бабы краше всех на свете...

Демидов мигнул Щуке; каторжный проворно вскочил, вышел из кибитки и приволок пестро раскрашенный сундук. Глаза тархана засияли, он всем телом потянулся вперед.

— Коли жалуешь своей милостью, прими подарки,

---

[1] Колоды для пчел.

[2] Суконных чулках с кожаными подошвами.

князь,— поклонился Демидов и раскрыл сундук. Щука извлек и разложил перед тарханом топоры, наконечники стрел, бусы.

Из-за полога выглянула молодая башкирка. Тархан кивнул Никите.

— Чего хочешь, гость мой? — спросил он.

— Дарю и ничего не хочу, кроме как слышать твои мудрые речи...

Подарки лежали перед тарханом, он не мог наглядеться на них. Принесли кумыс, налили чаши. Никита затаил дыхание; приходилось пить, дабы не обидеть тархана. Преодолевая отвращение и тошноту, Демидов выпил чашу кумыса; сидел неподвижно; казалось ему, в чреве ползла холодная змея,и от того было мерзко. Тархан очень остался доволен, что русский не нарушил гостеприимства и пил кумыс. Демидов поборол тошноту и опять повел речь издалека:

— Ехали мы, князь, двое суток; земли у вас знатные, реки рыбные, леса боровые. Неужто, князь, это все твои земли?

— Мои,— кивнул головой тархан.

Демидов вздохнул, засунул руку в карман, брякнуло серебро. Башкир насторожился; полог заколебался, и тархан подумал: «Просила Жамиль потешить, а серебра вплести в косы не достать...»

— Эк! — крикнул Никита.— Счастливый ты человек, князь; если бы малу толику земли мне продал, добро было бы...

Тархан молчал, сопел, трепетно раздувались ноздри. Демидов подзадорил:

— Деньги я на чистоган серебром... Соседи будем — гостить приезжай.— Демидов брякнул рублями; тархан встал; узкие глаза его загорелись. Он махнул рукой:

— Езжай, выбирай землю!..

Купил Никита Демидов у тархана обширные земли. Каторжный Щука написал запродажную, а в ней сказано о покупке, что «та проданная земля лежит по реке... от вершины до устья оной, со впадающими в нее речками, истоками и падунами, с лесными угодьями, с сенными покосами, с рудными местами...»

Все до последнего кустика, до малого камешка упомянул Демидов в запродажной и заключил грамоту: «За ту проданную нами, башкирцами, вотчинную землю двадцать рублей мы сполна взяли».

Тархан закоптил над чувалом большой палец и при-

ложил к грамоте. Демидов выложил перед тарханом серебро; тот немедля сгреб его. Тархан раздобрился, что-то кричал башкиркам. Понял Никита: махан[1] заставят его башкиры есть; решил заводчик загодя унести ноги.

Тархану подали крепконогого коня, усадили на седло, и он провожал гостей. Демидов оглянулся на горы, на простор, засиял от довольства: «Полюбуйся, земли сколь привалило!»

— Ну, князь, бывай здоров,— поклонился тархану Никита. Конь под ним нетерпеливо перебирал копытами, грыз удила. Заводчик сдвинул строго черные брови и, показывая тархану на горы, сказал сухо: — Ты, князь, поживей людишек убирай с моих земель-то.

— Пусть табуны гоняют,— по лицу тархана блуждала простодушная улыбка.— Теперь лето...

— Вот так здорово! Землю продал, а табуны гуляй,— по-хозяйски крикнул Демидов.— Ну, нет! Теперича, мил-друг, отгуляли. Скажи им, машир-машир с моих земель... Понял?

Демидов молодо выпрямился, ткнул Щуку в плечо; каторжный свистнул, и кони понесли... На пригорке у ручья долго-долго стоял башкирский всадник, над ним кружил ястреб да синело необъятное небо...

Глава одиннадцатая

I

Крепкой ногой становились Демидовы на Каменном Поясе. По глухим местам на берегах горных речек возникали демидовские заводы. Ни днем, ни ночью невьянские хозяева не давали себе покоя. Перед ними лежал необъятный край. Железных руд в горах хватило бы на тысячелетия; Демидовы из кожи лезли, чтобы всюду поспеть. По указу грозных хозяев по лесным чащобам кабальные рубили просеки, прокладывали дороги к сплавным рекам, дробили порохом могучие скалы, в зиму, в жестокие уральские морозы, каменотесы долбили в несокрушимых камнях дыры и заливали их водой. Замерзшая вода с большим гулом рвала камни.

Никита Демидов крепко помнил царский приказ «умножать всякого рода железо»; не жалея сил и здо-

---

[1] Конину.

ровья, хлопотал он над новыми заводами. Жадные демидовские руки тянулись сразу к нескольким местам. Надо было ладить на Шайтанке на рудных землях завод для сына Никиты Никитича; прилепить его к делу. «Хватит, накошатничался,— думал батька о великовозрастном сыне, который обретался в Туле.— Без дела человек гибнет, ржа ест, а за делом, глядишь, демидовская кровь скажется». В то же время Демидов торопился с освоением купленных у башкиров земель. Из Москвы Демидов выписал человека, имевшего сноровку к чертежным делам, знающего писца. Тот оказался проворным, толковым; дело свое знал превосходно.

По жалованным грамотам, по купчим и по писцовым сказкам московский грамотей вычертил карту с землями, с лесными угодьями, с горными реками и озерами; на карте лежало целое царство, по обширности побольше любого иноземного; на той карте через все земли было обозначено: «Ведомство Демидова».

Никита Демидов остался доволен работой чертежного писца:

— О-х-х, и добро, чертушка. Ладно робишь...

Писец был тщедушен, остроглаз, скор. Приглядываясь к его работе, Никита похвалил:

— Умный ты работник, братец!

— Есть и поумнее меня,— отозвался писец.

— Что-то не вижу вокруг себя! — сказал Демидов.

— Плохо смотришь, хозяин! — вымолвил писец и строго посмотрел на заводчика.— Весь наш народ умен и даровит!

Мосолов объехал дальние волости, согнал приписных мужиков да башкиров; разбил народ на две орды: одну повел сам на Шайтанку-реку. Несмотря на лютые морозы и бескормицу, ладили там Шайтанский завод для Никиты Никитича. Другую орду повел хозяин Демидов на покупные башкирские земли. Тархан изумился поспешности Демидова:

— Куда торопишься, хозяин?

Демидов был ласков с тарханом, но чуял тот в демидовских словах решимость и твердость.

— Земли мы купили не впустую лежать,— сказал башкиру Никита.— Царь Петра Ляксеич ладит по-новому Русь, а по-новому ладить — железо надо. Так! Ты, князь, убери людишек своих с моей земли: руду копать буду!

По глубокому снегу накатали добрые санные дороги,

по ним везли камень, кирпичи и складывали в речной долине.

— Тут заводской пруд будет! — указал Демидов.

Писец лазил по оснеженным горам да падям и учинял землемерие, подсчитывал обширность земель, с которых талые снега сбросят воду в вешнюю пору. В горах лесорубы валили звонкую смолистую сосну, бревна гнали в падь по особо устроенной ледяной дороге. То была расчетливая выдумка Никиты Демидова.

Из-под Мензелинска, Сарапула, Бирска и других хлебных мест по санному пути шли обозы, груженные крепким золотистым зерном. Зерно сгружали в амбары, срубленные на месте, предполагаемом для завода. К амбарам Демидов приставил стражу.

Голодные башкиры шли в кабалу, таскали камень, укладывали его в ледяную реку. В горе долбили первую штольню.

В такой горячей работе незаметно подошла весна, а весной подоспели нежданные беды...

2

Весна выпала затяжная; за долгую зиму башкирский народ изголодался; отощавший скот не в силах был пробить копытом толстую корку-наледь, покрывшую снег; пали тысячи голов. Башкиры обрадовались первой зеленой травинке, снялись с зимних пастбищ и кочевьем тронулись на отцовские пастбища. Конские табуны линяли, у животных торчали острые ребра, мослаки, но люди и скот наслаждались благостным теплом. Косяки кобылиц, предводительствуемые ревнивыми и злобными жеребцами, поднимали густую пыль, торопились отары кудлатых башкирских овец, охраняемые короткоухими свирепыми псами. За овечьими отарами брели пастухи, забавляясь игрой на свирелях из тростника.

Шумные овечьи отары, громкоголосые табуны и кочующие люди разместились в долине среди гор, где рощи вековых дубов и кленов сменялись чащами орешника, черемухи, дикой яблони и груши.

В полдень с каменистых гор Никита Демидов заметил на древней дороге башкирские табуны. Не мешкая, он послал гонца к тархану — немедленно освободить проданную землю от нашествия кочевников. Но тархан, чуя беду от народного гнева, разобрал кибитки и поторопился откочевать подальше. Гонец на месте тархан-

ского кочевья нашел холодный пепел костров да овечий помет...

Тогда Демидов спустился с каменистых гор к стройке, собрал верных людей в воинскую ватагу...

В полночь, когда башкирское кочевье спало крепким сном, вдруг яростно залаяли псы и бросились во тьму. На огни костров налетела лихая демидовская ватага; псы остервенели, кидались на чужих людей, отары овец метались во тьме, по дорогам протопали всполошенные конские табуны. Башкиры яростно оборонялись от злых людей. Впереди ватаги на черном коне скакал большеголовый вершник и плетью полосовал пастухов.

На диком скакуне из тьмы вырвался высокий жилистый башкир; в ухе поблескивала серьга.

— Стой, чего делаешь? — закричал башкир.— Зачем народ бьешь? Зачем скот разгонял?

— Держись, пес! — крикнул Щука, пришпорил коня и взмахнул саблей.

Башкир проворно увернулся от удара.

Над Щукой просвистели стрелы.

— Круши! — заорал демидовский варнак и бросился в схватку.

Всю ночь отчаянно оборонялись башкиры. Кочевники сдерживали демидовскую ватагу; конские табуны и овечьи отары уходили в горы...

Утром по пастбищам бродили отбившиеся кобылицы да одиночные овцы. У пепла костров лежали посеченные тела башкиров.

Демидовские ватажники привели заарканенного башкира. Молодец был высок, сух; пленник тряхнул бритой головой. Глазами, полными ненависти, поглядел на Демидова. Никита спросил грозно:

— Пошто на мои земли скот и кобыльи табуны напустили?

Башкир стоял прямо, повел густой бровью, ответил хозяйски:

— Тут, бачка Демидов, земля башкирская. Наша земля!

— Но-о! — Черная борода Никиты дрогнула.— Ишь ты как рассудил. Тархан-то мне землю продал...

Молодец поднял голову, продерзил:

— С тархана и спрашивай, а земля башкир, бачка... Скот всегда пасли и будем пасти!..

Демидов опирался на костыль; утреннее солнце пригревало: хозяин снял колпак, блеснула лысина.

— Попробуй! — пригрозил Никита.— Не об чем мне с ним боле говорить. Ты, Щука, сгони его в Невьянск,— пусть там в разум сего молодца доведут... Так!

Он привычно огладил черную бороду и отвернулся к стройке.

Там копошились рабочие, ставили срубы, копали рвы, рубили заплоты: укреплялся Демидов на башкирских землях.

Башкира угнали по невьянской дороге. Никита, оглядев стройку, вздохнул:

— Ну и благодать; кажись, боле сюда не покажут носа, нехристи...

Ошибся, однако, в своей думке Никита Демидов. Вечером с невьянской дороги прискакал избитый конвоир. В горах напала на него ватажка гулящих людей, башкира отбила, а его, конвоира, отпорола плетью и отослала к Демидову:

— Пойди и скажи ему: коли не уберется — всех вырежем...

— Ух! — скрипнул зубами Никита и подступил к холопу.— А еще что наказали разбойники?

Холоп почесал затылок.

— Больше ничего не говорили. А ватагу вел ту, хозяин...

Холоп замялся.

— Говори, кто вел? — прикрикнул Демидов.

— Сенька Сокол, вот кто!

— Но-о! Ух, пес! — стукнул костылем в землю Демидов.— Да говори: что видел? Не бойсь, супостат...

Холоп осмелел:

— Еще, хозяин, Сенька башкира ослобонил да обнял: «Вот, грит, Султан, где довелось свидеться».

— Ох, дьяволы! — Демидов уставился в Щуку.— Ну, варнак, скачи в Невьянск да проворь людей, надо переловить эту разбойную ватагу. Слышь-ко!..

Весь день Демидов ходил сумрачный, зорко поглядывал на горы.

«Ничего боле не будет,— успокаивал он себя.— Пошебаршили и откочуют, а разбойников приставы пымают. Эх, Сенька, не миновать тебе моих рук! На сей раз не убежишь, каторжный...»

Один-одинешенек отчаянный Щука опасными дорогами добрался до Невьянска. На заводе шла кутерьма: на дорогах появились буйные ватаги; в дальних лес-

ных куренях углежоги побросали работу и разбрелись кто куда.

Акинфий Никитич встревожился об отце, подобрал храбрых людей, вооружил их. Но слать их в помощь батьке не пришлось: на другой день с восходом солнца в Невьянск прискакал сам почерневший и лютый Никита Демидов. Оказалось, в ночь люди на стройке разрыли почти готовую плотину и разбежались по лесу. За рекой появились конные башкирские ватаги, пускали в демидовский лагерь стрелы и все пытались переплыть на заводской берег. Демидову — на что бесстрашному — и то пришлось уносить ноги...

Догадывался Никита: затевается неладное; велел немедля крепить Невьянск да слать гонцов в Верхотурье, просить воинской помощи...

Спустя несколько дней пришла новая тревожная весть: башкиры на ногайской дороге вырезали два русских сельца:

— Худо будет, не управиться с этим злом верхотурскому воеводе,— решил Никита.— Ты, Акинфка, тут крепи заводы да своих ратных людей сбирай, а я к царю Петру Ляксеичу поскачу. Ежели Башкирь восстанет — войско надо немалое.

Демидов тайно собрался в дорогу; сын Акинфка проводил отца до Чусовой, а сам вернулся в Невьянск обороняться от лихой напасти...

Глава двенадцатая

Уфа — город древний, возник во второй половине XVI века; строили город боярин Иван Нагой да боярский сын Голубев. Лег городок-крепость в сердце Башкирии; управлял город обширными землями. В городке сидел царский воевода, чинил суд-расправу, с башкиров да с других народов собирал ясак. Воеводы считали Башкир-землю русской вотчиной, а башкиров — подданными; они беззастенчиво обирали башкиров и, как бы в насмешку, называли это кормлением.

Царь Петр Алексеевич строг был, за разбой да воровство не жаловал воевод, но до Каменного Пояса далеко, не достанешь, и воеводы охулки на руку не клали.

В год тысяча семьсот четвертый на Уфу-город посажен был воеводой Александр Саввич Сергеев — муж жадный, свирепой хватки. По вступлении в уфимскую провинцию воевода наказал согнать подводы со всех

башкирских улусов; перебирался воевода с большим скарбом, со псарями да псарней; в кованых сундуках везли добро: на телегах ехали мамки да няньки воеводских ребят. Сам воевода восседал в колымаге, в которую впряжено было двадцать четыре башкирских коня, и на них форейторами ехали ясачные башкиры. Впереди воеводской колымаги бежали скороходы, а позади обоза тянулись порожняком триста башкирских подвод. Прознав о проезде воеводы, народ разбегался, укрывался в лесах.

— Попрятались окаянцы и не чтят воеводского чина! — зло поругивался хмурый воевода.

По приезде в Уфу наказал воевода скликать башкирских старшин, батырей, да тарханов, да стариков поприметней. Со страхом съехались башкиры в город. По приказу воеводы обыскали недалекие рубежные крепостцы, собрали все пушки да мортиры, от годных до ржавых, и расставили по дороге к воеводскому дому, а у пушек выстроили гарнизонных солдат да повелели им голову держать выше и взор иметь дерзкий. Башкирских посланцев решили провести меж таких угроз, дабы знали, до чего силен и могуч воевода.

Башкиры испугались; чтобы беду отвести, старшины их подобрали в табунах в дар двадцать два добрых скакуна и, пройдя все выставленные по дороге воинские силы, подвели их к воеводе. Хоть кони и добры были, однако воевода не ликовал, не довольствовался этим и, грозно насупив брови, пообещал башкирам осчастливить их своим объездом по улусам и сельбищам. Башкиры разъехались из Уфы нерадостно.

Воевода слово свое сдержал: снарядив в поход воинский отряд, отправился обозревать благополучие вверенных ему народов. Однако башкиры, прознав о намерении воеводы, побросали свои селения, скарб, бежали в горы и в лес, увозя своих женок и ребят. И сколько ни ехал воевода, везде встречал безлюдие и пустыню. Воевода вернулся в Уфу очень мрачен и, чтобы не уронить своего чина, вновь потребовал к себе башкирских старшин. Наказ воеводы был грозен, и потому немногие имели отвагу предстать перед воеводой.

Воевода пуще рассвирепел. Бегал по воеводской избе, ругался:

— Нехристи, в чинах толк не разумеют. Того не кумекают, что воевода в этих краях царь и бог!

Воевода был тучен, мучила одышка.

«Что за народы такие? — думал он.— Эка, и в ум себе не возьмут, окаянные, что воеводе потребно кормление, и притом немалое!»

Башкирских старост явилось два-три — да и обчелся, и притом без подношений. Воевода настрого наказал приставам и будочникам собрать на воеводский двор народ с торжища, с постоялых дворов и с посадьев. Ретивые хранители благочиния хватали народ, где доводилось, и вели за крепкий заплот, а к заплоту приставили караульных, чтобы дерзкие не сбежали.

Народу собралось немало: и башкиров и посадских людишек; в заплоте стало тесно.

Тут воевода показал родительское попечение о людях: по его указу выкатили из воеводских погребов бочки меду и хмельного, а чтобы питье было крепко, засыпали в него нюхательного зелья и тем напитком силком потчевали. Те, которые отродясь не пивали хмельного, ныне попробовали. А дерзких, кто перечил и не принимал воеводского подношения, били палками и насильно поили.

От усердия воеводских служек и приставов народ захмелел; в заплоте люди валялись в беспамятстве. И тогда воевода решил облегчить свое сердце потехой. Принесли пороху, огня; иным палили бороду, как щетину борову, под другими солому подожгли, лепили к рукам да к лицам возжженные свечи, а то смеху ради сыпали сонному в горсть пороху и огнем палили.

Но и того показалось воеводе мало: по его приказу в заплот вкатили десять пушек и палили из них до вечера, чтобы люди чувствовали страх и почтение.

Подполковники и приказные порешили: раз воеводе все можно, то почему это в малых размерах не возможно им? Они объявили ногайскую дорогу своей вотчиной и стали притеснять да обирать башкиров...

С того и началось. Башкиры, не стерпев обид, поднялись. Нашлись и вожаки, сбили конные дружины и пошли огнем и мечом крушить мелкие городки и сельбища.

Глава тринадцатая

I

Вооруженные конные сотни повстанцев осадили города Бирск, Мензелинск, Елабугу. Повстанцы внезапно нападали на демидовские заводы и русские крепостцы и предавали все огню.

По сибирской дороге шли сотни башкира Султана. Он стремился выбраться на Нейву-реку и захватить Невьянский завод. Вел ватаги лесными дорогами Сокол; подговорил он Султана на своего вековечного врага. Башкирский вождь был примерный лучник. Бедняк, он не боялся ни голода, ни холода. Башкирские конники через горы и чащобы пробирались к Султану, и имя его полетело из одного края Башкирии в другой.

Заводчик Акинфий Демидов приуныл: по дорогам восставшие останавливали обозы, груженные железом, и растаскивали его. Это было опасно, умножало оружие противника. Батька Никита слал грамоты из Санкт-Питербурха, требовал по указу царя пушек да ядер, а как доставить их, если на своих дорогах не хозяин.

В Невьянске и в окрестных заводах проживать стало ненадежно. Народ на рудные места навезли из разных краев России: оторванные от сохи, от родных мест и брошенные в глубокие шахты и на каторжную огненную работу, крестьяне глухо роптали и только поджидали случая взбунтоваться.

В последние денечки прошел слух о близких башкирских дружинах. Акинфий Никитич стращал народ:

— Наскачут нехристи, порубят народ, пожгут хатенки — вот и все тут. Обереженья ради крепче держитесь за хозяина!

По селам и заводам народ дотемна убирался на дворы; закрывали наглухо ставни, на хлевы и амбары поделали крепкие запоры. В поле выходили работать гуртом, артельно. Подошли покосы, ехали на них вооруженные — кто топором, кто рогатиной; ночью попеременно сторожили врага, коней на темную пору привязывали к телегам...

Акинфий Никитич разъезжал со стражей, в Невьянске у ворот подбавил караульных. Как ни оберегался заводчик, а на лесной дороге встретился со своим лютым врагом. Вел ватажку Сенька Сокол. Акинфий сразу признал своего кабального. Одет был Сенька в татарский белый армяк, на голове бархатный колпак, а сбоку висела кривая сабля. Конь под противником добрый, горячий, да и Сенька, похудевший, загорелый, сидел на скакуне орлом. Рядом с ним на золотистом жеребце мчался башкир Султан, в руке его блестела сабля.

За спиной Демидова скакал кат; он опередил хозяина и бросился на башкирскую ватажку. Сенька свистнул, крикнул, конь под ним вздыбился, заржал. Удаль-

цы выхватили кривые сабельки. По лесу пошел звон.

Акинфий привстал в стременах, закричал кату:

— Круши подлого изменника!

Тот разъяренно гаркнул и взмахнул дубиной; но Сенька увернулся и налетел на палача; на солнце блеснула кривая сабля.

— За кровь нашу!

Бородатая голова ката сорвалась с плеч и покатилась на дорогу...

Акинфий проворно повернул коня, огрел его плетью и поскакал по невьянской дороге.

Охранители Демидова убегали, отстреливаясь, но удальцы бесстрашно преследовали их. Впереди летел на резвом скакуне Сенька; мимо мелькали сосны; конь птицей нес через ямы, калюжины; одно видел Сенька — только своего врага: Акинфия Демидова...

Подскакав к реке, проворный заводчик с маху ринулся с крутого яра и поплыл на невьянский берег. Сокол — за ним. Удальцы осыпáли Демидова стрелами, но могучий демидовский жеребец широкой грудью рассекал быструю реку. Легкого Сенькиного коня стало сносить течением...

Демидовский конь выбрался на берег. Акинфий что есть мочи заорал: «Гр-рабят!..» Жеребец рванулся — следом по тропе закружилась пыль... Впереди мелькнул островерхий заплот невьянской крепостцы... Из ворот навстречу хозяину выскочила полусотня всадников.

— Эх, утек, гад! — погрозил в сторону завода Сокол, повернул коня и бросился навстречу своим...

2

Подошла осень, но дождей не было; обмелели реки. Башкирские повстанцы двигались по всем трем сибирским дорогам; не стало ни проходу, ни проезду. Уфимский воевода не на шутку струхнул. Опасаясь царского гнева, воевода выслал из Уфы для успокоения башкирских волостей воинский отряд под командой подполковника Петра Хохлова. Перед тем в Уфу подошли конные башкирские сотни ближних улусов. Башкирские военачальники клялись воеводе верностью и обещанием полонить да пожечь непокорных соплеменников. Воевода на слово именитым башкирам не поверил и побрал с них аманатов[1]. Войско собралось немалое, и Хохлов спешно повел его в глубь Башкирии.

[1] Заложников.

Почти одновременно в помощь Уфе из Казани выступил конный отряд Сидора Аристова в семьсот семьдесят сабель; за ним двинулся солдатский полк Ивана Рыдаря...

Отряд подполковника Петра Хохлова тем временем миновал засеку, далеко оставил позади себя пограничные крепостцы и городки и углубился в коренную башкирскую землю. Башкирские улусы опустели, жители угоняли скот, на дорогах и перепутьях тлели остатки костров; повстанцы уклонялись от прямого боя и заманивали войска в незнакомые места.

Ударили сибирские морозы, сковали быстрые горные речки, навалили глубокие снега. Переходы приходилось делать небольшие, пошли горы; по долинам дул пронзительный ветер. По лесным трущобам собирали в снегу сухое дерево, жгли...

С большими трудностями отряд Хохлова добрался в урочище Юрактау. Кругом лежали высокие оснеженные горы; на речке над полыньей дымился парок. Усталые, измученные роты остановились на ночлег. Ночь стояла тихая, звездная, искрились голубые снега, да в далеких перелесках выли голодные волки. Солдаты жались к кострам: холод пробирался под ненадежную одежонку.

Ночью бесшумно исчезли конные башкирские сотни, пристали к своим. Утром, когда отряд приготовился в путь, из-за перелеска показались башкирские лавы; тучи стрел зазвенели в морозном воздухе. За конными башкирами двигались скопища пеших.

Подполковник водил роты в атаку за атакой, но каждый раз откатывался с уроном к становищу: враг дрался отчаянно. Дули ветры, запорашивали глаза, солдаты готовились на голом поле к обороне: штыками, топорами рубили мерзлую землю — окапывались. Выстроили полукружьем обоз, из-за него отстреливались.

Башкирские полчища окружили войско подполковника Хохлова; с каждым часом к башкирам подходили и подъезжали все новые и новые толпы...

Голодные солдаты кое-как продержались десять дней среди наседавших башкиров. От холода, бессонницы и голода солдаты изнемогали. Тогда подполковник решился на отчаянное: или погибнуть, или пробиться...

3

В башкирском лагере в это время царило оживление. В покинутой, занесенной снегом деревушке Султан совещался с военачальниками. Лицо Султана — усталое, веки от бессонных ночей припухли; немало он объехал деревень и дорог, поднимая башкиров к походу. Справа от башкира сидел мрачный Сенька Сокол и слушал его. Султан говорил горячо, разжигал страсти, военачальники одобрительно кивали головами. Сенька опустил голову. Султан вскочил; скамья опрокинулась.

— Сегодня ночью бить будем, резать урусов!

Сокол потемнел, поднял глаза на Султана, сдвинул брови:

— Солдатишки измыкались, изголодались, народ они подневольный; потолковать надо. Без драки, может, на сторону нашу подадутся.

На вязке соломы сидел толстомордый тархан Мамед — тот самый, что продал Никите Демидову вотчинные земли. Тархан недолюбливал Сеньку, да и тот сторонился богатого башкира.

«Не к добру тут стервятник вертится,— думал про него Сенька,— предаст».

С Мамедом всюду ездили два телохранителя, плечистые татары, оба нелюдимые и злые, преданные, как псы, своему хозяину. Тархан поджигал башкиров бить всех русских. В походе на ногайской дороге он пристал к Соколу и с той поры не отставал от него.

Тархан поглядел на Сеньку злыми глазами, плюнул:

— Бить собака надо!

— Пошто всех бить? Резать надо купчишек, да дворян, да богачей, вот оно что!

Глаза Мамеда позеленели; он схватился за саблю:

— Башкирска земля для башкирский народ!

Сенька дышал тяжело; в нем закипела кровь. «Ишь, сытая морда, как поворачивает дело»,— подумал он и зло крикнул:

— Верно, башкирская земля для башкирского народа, а не для дворян да тарханов. Вот оно как!

— Молчи, Сокол, рубить буду! — вскочил тархан и бросился к Сеньке.

Сокол спокойно взялся за рукоять клинка:

— Попробуй, я и сам на это мастак!

— Их-х! — тархан скрипнул зубами, повернулся и вышел из хибары.

Султан недовольно повел бровью:

— К чему ты обидел Мамеда?

Сенька выдержал взгляд Султана, вздохнул:

— Эх, ты за народ идешь биться, а не подумал, за какой народ?

— Мамед — башкир...

Сокол положил руку на плечо Султана:

— Мамед — тархан, он друг Демидову. Вот он что главное, а башкир иль татарин он, пес с этим! Наши супротивники — дворяне да тарханы. Понял? Бедняку все едино, кто жмет да шкуру его дубит; русский ли купец иль тархан. Ты об этом подумай...

Султан молча надвинул лисий треух, блеснул глазами:

— Сегодня драться будем, а разговоры ни к чему...

— Эх, жалость, не докумекал ты, Султанка, все. А ты уразумей...

Султан, не слушая, вышел на улицу; взволнованный, он посмотрел на тусклое зимнее небо и подумал: «К чему Сенька такие речи вел? Аллах сегодня пошлет беззвездную ночь. Нельзя больше ждать: налетит буран, люди разбредутся по улусам...»

Под утро — над долиной висела густая морозная мгла — башкиры ворвались в обоз русских. На бивуаке забили барабаны, подполковник Хохлов поджидал башкиров, роты развернули знамена и пошли в штыковой бой.

Над перелесками кружило голодное воронье: северный колючий ветер гнал поземку, леденил лицо, засыпал глаза. Руки прилипали к жгучему, намороженному железу. Солдаты, побросав обозы, голодные, озябшие, тесно прижавшись друг к другу, шли навстречу противнику.

Башкирские всадники врубились в строй, бросали арканы — арканили солдат. Подполковник Хохлов, в треуголке, с жиденькой косичкой, помахивая сабелькой, покрикивал:

— Не выдавай, братцы, вперед!

Султан с отборными конниками налетел на головную колонну, пришпорил своего скакуна — конь поднялся на дыбы... Подполковник бесстрашно бросился вперед. За ним устремились солдаты; на усатых лицах осел иней, дыхание вырывалось густым паром...

Солдаты, отбиваясь, шли вперед. Били барабаны, визжали стрелы, кричали люди, ржали кони...

На голубоватом снегу алели лужи; снежная поземка жадно зализывала горячую кровь...

На бугре стояли три всадника: тархан Мамед и два его телохранителя. Тархан сквозь пургу видел, как колонны солдат, ощетинившись штыками, уходили в лес...

Трещал мороз, дымила пурга; схватка была жаркая и немилосердная. Обозленные люди крошили друг друга, кололи, обнявшись, падали в снег и погибали...

Наступил шестой час. Над побоищем спустились сумерки. Из-за холмов поднялся ущербленный месяц. На белоснежной равнине валялись подбитые люди и кони.

Золотистый скакун Султана лежал с переломленной спиной; из пасти коня пузырилась кровавая пена. Замерзшая нога торчала в синих сумерках бесприютно, как черный перст. Лунный свет холодным блеском отсвечивал на конской подкове... Оставив на поле четыре сотни солдат убитыми и ранеными,— башкиров полегло вдвое больше,— подполковник Хохлов с большими трудностями пробрался в Солеварный городок, где и отсиживался до прихода казанских войск Аристова и Рыдаря.

Башкирские отряды двинулись в Закамье, поднимая народ. На дороге к Чусовой они напали на демидовский обоз, груженный пушками. Подводчиков разогнали, пушки таскали за собой, но за недостатком пороха и людей, знающих огневую стрельбу, пальбы из них не было.

Перебравшись по льду Камы-реки на казанскую сторону, башкиры осадили дворцовое село Елабугу. Пожар восстания разгорался: за башкирами поднялись татары. Вооруженные чем попало — пиками, луками, просто дрекольем,— восставшие двинулись по казанской дороге и захватили пригород Заинск.

Перебив служилых людей, порубив в бою немало гарнизонных солдат, башкиры пошли на Казань...

4

Вести о восстании дошли до царя Петра. Государь готовился к решительной схватке со шведами; отвлечение воинских сил на восток грозило большими бедствиями.

С большим трудом добрался Никита Демидов до

Москвы и поехал к царю. Петр Алексеевич занимал в отцовском дворце маленькую горенку, заставленную токарными станками, плотничными инструментами. На столе лежали карта, компас, записные книжки.

На улице стояла теплынь, но печь в горнице была жарко натоплена. Царь недомогал; его слегка знобило. Запахнувшись в теплый халат, он сидел в кресле и, надев круглые, в железной оправе очки, курил неизменную трубку и просматривал голландские куранты.

— Демидыч, как дела? — встретил Никиту царь.

Демидов поклонился ему, взглянул исподлобья:

— Плохи, государь. На Каменный Пояс не добраться. По татарским деревенькам мутит народ...

Петр поднялся с кресла, заходил по горнице.

Ходил он слегка сгорбившись, стал мрачным, подергивалась щека. Демидов набрался храбрости и сказал государю:

— Войско бы, Петра Ляксеич, послать на нехристей. Заворовались народишки...

Царь усмехнулся:

— Войско слать? А где его, Демидыч, взять? Ты вот в рудах толк знаешь, а в воинском деле мало смыслишь.— Голос Петра построжал.— Нельзя отсель войско снимать да под Казань слать. Вот-вот шведы нагрянут.

Никита растерялся, развел руками:

— Так что же делать тогда, Петра Ляксеич?

— А ты помозгуй, борода. Сумел заводы ставить, сумей оберегать их. Все царь да царь, а вы-то сами, купцы да заводчики, подумали бы о том.

— Помилуй бог,— упал духом Никита.— На том свет держится. Что мы, купцы да заводчики, без царя? Ровно без головы, да и народ — сирота...

— Ловко загнул! — Петр набил короткую трубочку едким табаком, задымил. Подошел к Демидову, сказал строго: — Вот что: войско слать не буду на башкир; купцам да тебе, Демидыч, раскошеливаться надо. На месте ратных людей сбирай да езжай, торопи с пушками.

Он повернул Никиту к двери, подтолкнул в спину:

— Езжай, Демидыч, а в Казани сам увидишь, что надо будет...

Демидов поклонился в пояс царю, помялся, не хотелось уходить, да пришлось. Царская воля — не переступишь...

Глава четырнадцатая

I

Лютовали январские морозы, дороги и перепутья заметало сугробами, дворянские усадьбы и деревеньки затерялись в глубоких снегах. Над жильем синели дымки: люди оберегались от стужи. Птица замерзала на лету.

Никита Демидов приехал в Казань. Над Волгой стлался густой туман. На левобережье на бугре высился оснеженный кремль, над башней Сумбеки вилось воронье да в прозоры грозно глядели пушки. В городе чуялись тревога и настороженность. Служилые люди упрятали семьи в кремль за толстые стены. На торжках кипела давняя бестолочь, но народ держался дерзко; поговаривали о башкирах и беглых холопах, что походом идут на Казань.

Заводчик Демидов остановился на монастырском подворье. Монашеская братия сманила измученного дорогой Никиту в баню, жарко испарила. Поглядывая с горячего полка на сытых монахов, туляк морщил переносье:

«Разъелись! Чреслами да волосами, окаянные, на баб схожи. Тьфу, грех один!»

Монахи хлестались вениками на славу; распаренные чернецы выпили не одну корчагу холодного квасу; от горячих тучных телес чернецов валил пар. Отходил мясоед, и братия в предбаннике услаждала чрево холодной телятиной, жирными колбасами да грибочками. Ели страшно — за семерых один. Никита Демидов от еды в бане отказался, про себя укорил монахов: «Чревоугодники!»

После доброй бани и крепкого сна Демидов поехал в кремль к воеводе. На кремлевской площади перед судной избой на глаголях повешены два мужика в лаптях. Ветер раскачивал их трупы.

«Мятежники»,— подумал Никита про висельников.

Прохожий стрелец, оскалив зубы, весело крикнул Демидову:

— Доглядывай, как холопы портянки сушат!

На зеленых крышах башен погасал отсвет заката. В дальние кремлевские ворота проехали конные рейтары.

В покоях воеводы жарко натоплено; боярин с породистым лицом, румян, доволен; встретил он Демидова

приветливо. У воеводы гостил архиерей. На владыке — шелковая ряса и золоченый наперсный крест. Оба уговаривали заводчика:

— Куда собрался, Демидыч? На дорогах шибко опасно: народишко заворовался.

Никита засунул руку за пояс, тряхнул головой:

— Ничего, побьем заворуев.

Владыка скрестил на чреве пухлые руки, вздохнул:

— Я и то благословляю князя, да отсрочивает. Норовит без того миром поладить.

Воевода, обутый в меховые чулки, ходил тихим, неслышным шагом: руки он заложил за спину и на речь архиерея откликнулся спокойно:

— Время ноне военное — свеи наседают; народишко сердить опасно!

Демидов поморщился:

— Так! А коли они нас прирежут?

Владыка смежил веки, зевнул, перекрестил рот:

— Ой, страхи!

Боярин присел на скамью, скинул с головы бархатную мурмолку — волосы поблескивали серебром.

— Супротивника на сговор будем брать. На то царская воля. Ноне шлю толмача да татаришек для разговоров с ворами...

Демидов подошел к изразцовой печи и прислонился к ней широченной костистой спиной. За слюдяным окном темнело; погасли синие сумерки. Померещились Никите завьюженные заводы, горы; он неожиданно попросил воеводу:

— Доброе дело ты удумал, князь. Разреши с тем толмачом да татаришками ехать мне за соглядатая. Ей-ей, князь, сгожусь.

Воевода от изумления раскрыл рот, глаза округлились:

— Да ты, Демидыч, спусту болтнул, знать?

— Пошто спусту? В самом деле поеду! Ты не гляди, князь, что годов мне много, силы у меня еще немало.— Демидов шевельнул плечами, грудь крепкая, мускулистая.

— Старик, а молодец! — похвалил владыка.— Пусть едет. Голова разумная, и толк будет!

Воевода махнул рукой:

— Там увидим; а не испить ли чего, владыка?

Архиерей сладко прищурил глаза:

— Под гусятинку или под поросеночка, хозяин?

Воевода, поддерживая под локоть владыку, отвел гостей в столовую горницу. На столе горели свечи, освещали обильную еду и сулеи. В них поблескивали меды, наливки, настоянные на травах. Владыка благословил пищу, чмокнул губами:

— Ох, голубь!..

Среди деревянных и оловянных блюд лежал жареный поросенок с румяной корочкой. Никита плотоядно посмотрел на яства и сел за стол.

— С богом, гостюшки! — пригласил воевода, и все навалились на еду.

2

Никита Демидов надел нагольный тулуп, баранью шапку, обулся в теплые пимы. За пояс хозяин заткнул острый топор, взобрался на кряжистого коня. На бороду всадника и конскую шерсть осел густой иней. Мороз сдавал. На звонницах отзванивали колокола, день был праздничный — сретенье. С мутного неба падал сухой снежок. Демидов, укрепляясь на спине коня, пророчил:

— На сретенье снежок — весной дожжок. Так!

У ворот Демидова поджидали конные ясачные татары и толмач Махмет-выкрест. Высокий черноусый толмач оглядел Никиту, недовольно качнул головой:

— Чижало едет, бачка...

Демидов не ответил толмачу, сидел на коне важно, осанисто, хотя и ныла слегка больная нога. Выехал вперед ватаги и гаркнул:

— Эй, молодцы, слушай меня!.. Поехали!

Конное посольство тронулось из Казани по Арской дороге. На полях лежал глубокий снег, на дорогах встречались редкие подводы: они сворачивали в сторону. Встречные с любопытством разглядывали конников. В деревеньках толмач расспрашивал про неспокойных башкиров, но угрюмые татары отмалчивались. От студеных ветров стыло тело, хотелось есть. Татары ели махан, уговаривали Демидова; тот не польстился.

Ехали два дня и ночь и в восьмидесяти верстах от Казани встретили невиданное воинство. В долине, в большом татарском селе, несметно копошился народ, дымили костры... Навстречу казанцам на быстрых коньках мчались башкиры. Демидов издали заметил: у кого — казацкие пики, у кого — просто палки.

«Эх, и воинство!» — с презрением подумал Никита и, быстро вытащив из-за пазухи полотенце, повязал его через плечо. То же сделали и сопровождавшие Никиту ясачные татары.

Две ватажки сблизились. Из толпы повстанцев выехал башкир с серьгой в ухе; толмач ткнул локтем Демидова: «Сам Султан!» Никита узнал противника. Однако он и виду не подал, что не впервые видит Султана. Башкирский полководец высок, усы редки, глаза непроницаемы. Конь под ним — чистокровный скакун; держа горделиво лебединую шею, он взбил копытом снег. Демидов хмуро сдвинул брови и бросил:

— Ну!

Рядом с башкирами играл золотистый конь; на морозном ветре из ноздрей коня валил пар. Конник с русой бородкой сидел молодецки, натянул повод; позвякивали удила. Все еще глядя на башкира, Демидов подумал: «И у тех толмач. Так!»

Демидов перевел жгучие глаза на башкирского толмача; разом обожгло сердце.

— Что, признал, хозяин? — насмешливо спросил Сенька Сокол.— Вот где довелось свидеться...

Синие глаза Сенькины глядели на Демидова дерзко; мороз разрумянил его обветренное лицо. Демидов скрипнул зубами, но сдержался.

Башкир Султан поднял на заводчика черные глаза:

— Что скажешь, бачка?

Демидов сжал рукоятку плети; рукоять хрустнула. Сдерживая гнев, Демидов подбоченился и спросил строго:

— Старшой?

Башкир кивнул головой и показал в лог:

— Наше войско...

Никита смолчал, разгладил бороду, от нее пошел парок. Видел Демидов в логу большие скопища народу. Кабы не народ, дал бы он волю своей ярости. Топором покрушил бы головы супостатам, а Сеньке — первому. Но что поделаешь? Наказ царя строг, притом умен. Унял Демидов свое разгоряченное сердце, построжал и сказал Султану:

— Народишко вижу, а воинства что-то нет... Може, головешки за пики почитаешь?

— Не балуй, хозяин. Ежели бы ты не посол, жихнул бы тебя по башке! — звякнул саблей Сенька.

— Но-о! — насмешливо удивился Демидов.— Без-

рукой, а чем потчует. Твою-то рученьку псы изглодали...

Сокол дернул повод; скакун взвился; Султан схватил Сенькиного скакуна за повод, осадил. Башкирский вожак сказал холодно:

— Говори, бачка...

Трудно было Демидову сдержаться, но оставался он невозмутим и сказал грозно:

— Слушай, воры, пошто вы великому государю изменили и в Казанском уезде да во многих местах села и деревни и церкви божии выжгли, а людей порубили и покололи?

Башкир поднял злое лицо:

— Мы не воры, мы — честный народ. От обид и утеснения подняли мы меч на вас...

Демидов запустил руку в бороду, теребил ее. Терпеливо слушал. Башкир перевел глаза на Сеньку:

— Скажи ему нашу думку!

Сокол вскинул голову и, дерзко глядя в глаза Демидову, сказал:

— Доведи великому государю, что́ учинилось, да ведает он. Наперед сего к нему, государю, к Москве, на прибыльщиков о всяких своих нуждах посылали мы свою братью, ясачных людей челобитчиков, и те наши челобитчики были переиманы и биты кнутьем, а иные перевешаны, и отповеди им никакие не учинены...

— Так,— шумно вздохнул Никита и глянул на башкира.

Султан внимательно следил за Сенькой и Демидовым, в ухе башкира поблескивала серьга; скакун переминался с ноги на ногу.

— А еще что скажешь? — спросил Демидов.

Сокол поправил лисий треух на голове; Султан снова кивнул ему головой. Сокол сказал:

— Еще доведи до великого государя, чтобы он, великий государь, пожаловал, велел с башкирцев, вотяков и черемисов ради их скудости облегчить кабалу, и они отступят и пойдут в домы свои...

— Так! — Демидов оглянулся на сопровождавших ясачных татар. Они и толмач Махмет любовались башкирскими скакунами.— А еще чего скажешь?

Сокол, не глядя на Султана, добавил:

— А еще холопьев на волю пусть великий государь отпустит, а ежели то не будет, дворян да заводчиков резать будем...

— Стало быть, русские холопы заодно с нехристями? — зло сказал Никита.

— Кому нехристи, а нам браты, и ворог у нас один...

— Ишь ты как! — Демидов пожал плечами, вздохнул.— Так! Вот что, ворюги, то, что вы поведали мне,— неисполнимо, а воеводе-князю да великому государю доведу о том... Езжайте лучше по домам — так!

Противники постояли друг против друга и молча разъехались. Конь под Демидовым шел рысцой, ветер обжигал его лицо; заводчик огорченно думал: «Ишь ты, сказ-то короток, а дела длинны!»

Башкирские переговорщики повернули в становище; Сокол уговаривал Султана:

— Отпусти потешить душу. Нагоню да повяжу Демида, и делу конец.

Башкир покачал головой:

— Посланцев не бьют, доброй дороги желают...

В Сенькином сердце кипела кровь; тряхнул кудрями:

— Эх, Султанка, понапрасну выпустили подлого соглядатая...

За Султаном следом ехал тархан Мамед; он одобрительно кивал головой:

— Хорош слова говорит он... Разумны слова...

На востоке вырастало облачко, снежной поземкой дымился горизонт. В логе, в сизых сумерках, горели яркие костры башкирского воинства.

3

Никита Демидов десять дней прожил в Казани, поджидая, чем кончится башкирское возмущение. Казанский воевода собирал и готовил в поход воинский отряд. Командиром этого отряда назначили Осипа Бертенева. Расхаживал Бертенев по купцам, выторговывал сено, овес. В кузнях под санные полозья клали железные полосы. По дешевым ценам Демидов отпустил то железо с своих складов. Демидову нравилась хозяйственность и расторопность начальника.

Сам заводчик тоже зря не терял времени; хоть и тревожно было, но твердо верил Демидов в ненарушимость уклада и хлопотал по своим делам; на казанском торжке подыскал и сговорил плотников, отвез их в село Услон и ставил там свою пристань. Подле нее рубили склады

под железо. Подходила весна, морозы отошли; под весенним солнцем звучала капель.

Башкирские отряды после неудачных переговоров двинулись по Арской дороге на Казань. Деревни были разорены проходившими отрядами. Тархан Мамед со своей ватагой немало пожег русских сел, людей побил, а женщин взял в полон. В приказанских посадах по ночам виднелись далекие зарева пожаров. Башкиры разбили воинские станы в тридцати верстах от Казани...

Монахи перетрусили; игумен перебрался в кремль, а братия засела в монастырских стенах; ворота закрыли на запоры. По казанским улицам и в торговых рядах усилили караулы; у рогаток сторожили ратники. По приказу воеводы вокруг города возводили вал. Огни в домах гасили рано, с цепей спускали злых псов. Царское кружало временно закрыли, и целовальники попрятали хмельное.

Один Демидов словно не чувствовал грозы. Каждое утро он надевал тулуп, садился в сани, клал под сиденье топор и ехал в Услон. Плотники не один раз предупреждали заводчика:

— Побаивайся, хозяин. Неровен час, один едешь лесом, а вдруг в лесу ватага!

— Но-о! — вылупил цыганские глаза Демидов.— А ежели я, скажем, не боюсь, а в руке топорик, что тогда?

«Идолище! — думали плотники.— Ни страху, ни совести».

На снегу и на льду Камы валялись обтесанные бревна и щепа; пахло смолой. Серела разбросанная пакля; хозяина это сердило.

— Пошто добро без толку теряете? — кричал он на плотников.— Пошто хозяйских копеек не бережете? Рады хозяйскому разору!

Жили плотники в холодных бараках; продувало в них. Хозяин заработанные гроши попридерживал. Работники подумывали о побеге; Демидов грозил:

— За мной ни один грош ваш не сгибнет, а кто в такую годину пред башкирским страхом сбегит, воевода в железа закует. Работай знай!..

Во второй половине февраля отряд Осипа Бертенева выступил из Казани на Арскую дорогу. Воевода и Демидов с тревогой поджидали известий. После работы на стуже проголодавшийся Демидов ехал на воеводский двор, надоедал воеводе расспросами об Арской дороге.

Воевода сажал Демидова за стол, кормил, и оба подолгу обсуждали действия против царских супостатов. У Демидова в глазах — жестокость; он твердо требовал:

— К весне всех воров перевешать... Надоть мне пробиться на Каменный Пояс да весной по Каме царю пушки сплавить. Отсрочке тут не быть! Ежели мешкать будем, царь не порадует...

Воевода и сам об этом знал и потому послал нарочного в Сергиевск-городище. Просил воевода тамошнего станичного атамана Невежина идти на Билярск, обложенный возмущенными башкирами.

Вскоре стало известно, что атаман Невежин собрал две сотни русских казаков да сотню чувашей и пошел на башкирских батырей.

В конце февраля пришли для воеводы радостные вести: отряд Осипа Бертенева напал на башкирские скопища на Арской дороге, разбил и рассеял их. Остатки возмущенных ватаг бежали под Уфу. В то же время атаман Невежин быстрым и внезапным ударом разгромил башкирских батырей под Билярском и освободил городок от осады.

Никита Демидов торопил воеводу доделать дело. Заводчик рвался под Уфу, а там — к заводам. По настоянию его 22 февраля воевода выступил с полками из Казани. По деревням, по которым проходили русские полки, башкиры и татары изъявляли покорность. Из возмутившихся толп перебегали повинные. Воевода повинившихся отпускал с миром. Добрую сотню верст прошли полки; башкирские скопища рассеивались как дым. Воевода объявил восставшим прощение.

В татарской деревеньке, окруженной русскими войсками, телохранители тархана Мамеда, видя конец восстанию, повязали сонных Султана и Сеньку, посадили на паршивых кобыленок и повезли на воеводскую стоянку. За пленными ехал тархан Мамед; под ним гарцевал Сенькин золотистый скакун. Скакун Султана рысил, приарканенный к тарханскому седлу. Тархан плевался и поносил своих недавних боевых товарищей:

— Султанка — собак, и русский Сенька — собак! Один скакун мне, другой — воеводе...

Сенька Сокол со связанными за спиной руками, в портках и в одной рубахе посажен был на кобылицу лицом к хвосту. Ехал он молча, в дырах рубахи синело застуженное тело. Башкир Султан рвал веревки, но они

только глубже врезались в тело; он неистово ругал тархана...

В марте, в распутицу, по казанским садам на тополях и березах кричали прилетевшие грачи. Лед на Волге посинел, у берегов заливала вода; из оврагов низвергались шумливые ручьи. Вечерние зори за рекой стали сиреневыми, гасли поздно. Никита Демидов обладил пристань на Услоне, приготовил амбары и поджидал половодья. Воевода во главе полков возвратился в Казань. За воеводой на санях везли с рогатками на шеях скованных Султана да Сеньку.

— Ага, попался, Сокол,— обрадовался Демидов.— Стерял руку, а теперь плачь по башке.

Сокол, опустив на грудь голову, молчал.

Пленных при возвратившемся войске не было. Никита удивился:

— Неужто ты, воевода, всех перевешал?

— По домам распустил, опасно народишко ноне забижать.

— Эх, жалость-то какая! — сердито сказал Демидов.— Ты подумай только, сколь рабочих рук отпустил.

Воевода на это ничего не ответил.

Глава пятнадцатая

Невьянск все еще находился в осаде. Акинфий Демидов отсиживался за деревянными стенами. От бати не было слухов. Наступила затяжная уральская весна; надо было сплавлять по Чусовой воинские припасы, а по лесам углежоги — приписные крестьяне,— побросав работу, поразбежались по деревням.

Никита Демидов, не глядя на распутицу, добрался до Белебея, а дальше дорогу преградили незамиренные башкиры. Демидов томился в безделье.

По указу царя разрешено было собраться вольнице, которая за добычу прошла бы огнем и мечом непокорные места.

Стольник Иван Бахметьев выбыл в калмыцкие улусы, подкупил одного из водителей калмыков, тайшу Аюку, поднять их и идти на усмирение Башкирии. Узнав от перебежчиков, что уфимские башкирские батыри помышляют о соединении с казахами, Бахметьев с калмыцкой конницей немедля перешел реку Яик и устремился в неспокойные деревни.

Установилась весна, дороги подсохли, восставшие башкирские отряды укрывались в лесистых местах, среди гор и болот.

Калмыки настигали непокорных, рубили. Деревни пылали; за калмыцкой конницей гнали табуны пленных коней, стада захваченного скота; скрипели обозы с отобранным по деревням скарбом. Под Уфой Бахметьев взял в плен сына восставшего муллы Измаила.

Видя, что сопротивление бесполезно, сам мулла Измаил и батыри приехали с повинной к Бахметьеву и клялись утихомирить народ. Мулла со слезами на глазах целовал коран и просил замирения...

Никита Демидов вслед за калмыцкой конницей торопился в Невьянск...

На сибирской дороге он заночевал в глухом умете[1]. В грязной избе на лавке и на полатях, а то просто на полу отдыхало много народу. Бородатые люди недружелюбно поглядывали на Демидова.

Стояла темная, беззвездная ночь. В горнице потрескивала лучина; перед ней сидел старик и ковырял лапоть. Два молодых мужика свесили с полатей лохматые головы, внимательно слушая деда. Раздавался храп усталых, измученных дальней дорогой людей. Заводчик покосился на спящих.

«Осподи, твоя воля, должно быть все беглые да каторжные,— с опаской подумал он.— Ноне все заворуи разбеглись по дорогам...»

Никита скинул простой мужицкий армяк и полез на полати.

— Подвиньтесь, братцы, дайте местечко дорожному человеку.

— Да ты кто такой, цыган? — поднял лохматую голову мужик.— Отколь тебя черт несет?

Демидов поскреб плешь, пожаловался:

— Утекаю из-под Казани, а чего — сам знаешь...

Ночлежники потеснились, дали Никите место. Демидов покряхтел. «Эх бы, в баньку!» — тоскливо подумал он и попробовал уснуть.

Старик говорил ровным голосом; заводчик невольно прислушался к его мерной речи.

— Есть-таки молитовки, да известны они только удальцам одним...

Лохматый мужик откликнулся густым басом:

---

[1] Постоялом дворе.

— Э, дед, нет такой молитовки. Не развернешь каменны стены!

Старик жарко перебил:

— Ой, мил-друг, есть такой наговор-молитовка. Удалец-то наш, Сокол, таку молитовку знат. Ты чуешь?

— Чую...

Демидов закашлялся, повернулся на бок, навострил уши. Дед продолжал:

— На Нейве-реке свирепы и кровожадны Демиды-заводчики. Слышь-ко, сотни людей засекли до смерти. Одного и боялись Сеньку Сокола, помсту за народ он вел,[1] а поймать нельзя. Слово наговорное да заветное он имел. Раз, слышь-ко, его в лесу накрыли, заковали в железа да в каменный подвал кинули.

— И что же? — не утерпел Никита, поднял голову, глаза его сверкали.

— А то ж, наутро, слышь-ко, нашли в узилище кандалы да шапку, а решетка в окне выворочена.

— Их ты! — засиял мужик.— А молитовка при чем? Тут — сила!

Над избой ударил и раскатился гром; стены задрожали. Демидов сердито крикнул старику:

— Брешешь, дед; не могло этого быть!

— А ты, цыган, слушай, да помалкивай.— Мужик присел на полатях; был он жилист и широкоплеч, лицо скуластое.— Говори дале, дед.

Бычий пузырь в окне позеленел: на дворе полыхнула молния; опять ударил и раскатился гром. По крыше зачастил дождь...

— Гроза! Ох, господи! — Старик перекрестился.— Ну, слушай дале. Сокол храбер и пригож, он молодую бабу у Демида уволок. Слюбились...

У Никиты заклокотало на сердце. Еле удержал себя.

— Ну и залютовал тут Демид,— продолжал дед,— не приведи бог, народу тыщи согнал, облаву на Сокола затеял. Две недели шарили по лесам да по горам, народишко изголодался, не спали ночей. Хозяин с лица спал, одичал. Волосье на голове повылезло, вроде как у тебя, цыган, а в бороде — побелело снегом.

— Ну и что ж? — не утерпев, спросил Демидов.

— А то: опять не нашли. На завод вернулись ни с чем, а там пожар: головешки да дымок. Вон как!

---

[1] Мстил.

Никита сухо кашлянул и, сдерживая дрожь в голосе, сказал:

— Лих был молодец, да попал ноне.

Старик присвистнул, отложил лапоть:

— Их, мил-друг, вспомнил-вспохватился! Да Соколик-то наш убег!

— Не может того быть! — В горле Никиты пересохло.

— А ты погоди, не заскакивай, цыган,— перебил мужик.— Досказывай, дед.

Старик оправил лучину.

— А что досказывать? Вот еще что случилось. Предали-то тарханы Сеньку да Султанку, дружка его. Слышь-ко, поймали да в каменный мешок посадили. Тутко и окошечка вовсе не было. Он ослабел и попросил напиться, и подают ему ковш с водой. Сокол перекрестился, нырнул в воду и — поминай как звали. А вынырнул он, слышь-ко, уже версты на три ниже завода из речки да скрылся в горах. Вон как!

— Молодец! — тряхнул головой мужик.— Гоже! Так и не поймали?

— Поймай! Воевода войско стребовал. Стража три дня по лесу плутала, ночью их, слышь-ко, леший напугал... Так и не нашли...

Дед замолчал; сердце Демидова тревожно билось. Над уметом гремела гроза, шумел ливень...

Никита уткнулся носом в армяк, сделал вид, что уснул. А мысли тревожили.

«Сказку дед баил, сказку,— утешал он себя.— Тому не сбыться, чтобы человек из каменного мешка сбежал...»

Но тут же из глубины души поднялось сомнение. Разве не он, Демидов, кинул Сеньку в потайной подвал? Разве не он приковал Сеньку к чугунному столбу, а что было?

Лукавый голос нашептывал Никите:

«А ежели и не сбег Сенька, то не все ли равно? Вон сколька Сенек! Может, сейчас на умете среди этого беглого народа не один Сенька Сокол укрывается».

— Ох, горе! — тихо вздохнул Никита.

Всю ночь гремела гроза. Демидов не спал: досаждали тревожные думы.

Еще затемно он тихо слез с полатей и уехал с умета.

В июне на знакомой дороге Демидов издали заметил дымки завода и облегченно вздохнул. Навстречу хозяи-

ну в гору поднимался обоз: везли невьянское литье к Чусовой. Впереди обоза ехал сам Акинфий. Завидев батю, сынок соскочил с коня и подошел к возку:

— Батюшка...

Демидов сидел, как коршун. Блеснув глазами, батька вместо приветствия крикнул:

— Ну, как завод? Идет?

— Идет! — Акинфий поклонился отцу.

Никита поторопил сына:

— Езжай, езжай, чего стал? Царь-то пушки давненько поджидает.

Скрипя под тяжелой кладью, мимо проплыл бесконечный обоз. Подводчики, завидев хозяина, издали снимали шапки, угрюмо кланялись в пояс.

— То-то,— удовлетворенно вздыхал Никита,— победокурили, пора и честь знать. Эй, гони коней к заводу! — крикнул он ямщику.

Кони побежали резво; под дугой распевали веселые погремки-бубенцы.

Однако на душе Демидова было неспокойно.

«Побили, разогнали смутьянов,— горько думал он.— А на сердце отчего тревога?»

Из-за шихана вырастали заплоты и башни Невьянска...



ЧАСТЬ 3

Глава первая

I

Утихло башкирское волнение; на демидовских заводах снова закипела работа: дымили домны, стучали молоты. Демидов выплавлял сотни тысяч пудов знатного железа; поставлял в казну боевые припасы: пушки, ружья, ядра. Несказанно богатели Демидовы, входили в большую силу.

Настроил Демидов на волжских и камских берегах пристани и амбары для склада железа да на Москве завел торговые дворы.

Старел Никита Демидов, но ум и жадность крепли. Хитрил старик: никто толком не знал, сколько работного люда обретается на его заводах и откуда взялся этот народ. Ходили темные слухи, что среди него немало беглых и клейменых каторжников. Но кто это узнает: не так ли? Никто еще не подсчитал, сколько металла выплавлено Демидовым, сколько продано.

Жили Демидовы далеко, скупо и замкнуто. Вот и узнай тут!

Однако и до них дотянулись цепкие руки прибыльщиков. Постучалась к Демидовым беда.

Война со шведами продолжалась и требовала больших средств, а казна опустела. С недавней поры царь Петр Алексеевич учредил по всем краям и уездам «око государево» — прибыльщиков. Должны были они радеть о приумножении государственного достояния, тайно и явно разузнавать о кражах казны, утайках и злодеяниях казенных и вольных лиц, а равно не упускать прибыли от торговых и промышленных людей. Не было заводчикам печали, так прибавилось!

Демидов думал сердито: «У семи нянек дите без глазу».

И без прибыльщиков туго приходилось Демидову от крапивного семени да поборов. Горными делами ведал Рудный приказ, но на месте во все вмешивались воеводы. Каждый борзописец да приказный лез в глаза Демидову, докучал волокитством, ждал кормежки.

— Осподи,— сокрушался Никита.— Чистый разор! Как комарье и гнида, к телу льнут. Ох, ты!

Заводчики платили в казну немалые сборы и пошлины. По сговору с царем при отдаче Невьянского завода взялся Демидов сдавать в доход казны десятую часть чугуна и железа. Кроме этого, платили Демидовы таможенные пошлины, перекупные, весовые, мостовщину, причальные и отчальные, а ныне еще прибыльщики завелись, вынюхивают, чем оплошал заводчик, да норовят в денежную кису залезть.

— Ох, беда! — вздыхал с сокрушением Никита.

В злую осеннюю непогодь добирался он до Москвы. От студеных надоедливых ветров и беспрестанной мокроты ныли натруженные кости. Сидел Никита в телеге на ворохе соломы, укрыв ноги полстью. Крепко сжав челюсти, он утомленно глядел на проселок. Дорога шла ухабистая, заплыла грязью, колеса по ступицу уходили в топь; кони с трудом вытаскивали копыта из вязкой глины. Часто лопались постромки; ямщик нехотя слезал в грязь и, чертыхаясь, ладил ремни; от потных, усталых коней валил пар.

Не доезжая полсотни верст до Москвы, на околице одного сельца старое колесо застряло в колдобине, не выдержало и обломилось. Демидова легонько знобило, посинели губы; он, проклиная злую непогодь, слез с телеги.

Держась за изгородь, Никита старался обойти стороной непролазную грязь. Сельские избенки низко сгорбились; серыми и бесприютными казались они под осенними тучами. У кузницы лежала перевернутая и заляпанная грязью двуколка; кузнец и ямщик топтались по грязи, разглядывая сломанную ось.

Демидов вошел в ямскую избу. Направо, в огромной черной пасти печи, пылало яркое пламя; костлявая стряпуха с испитым лицом гремела ухватами. Прямо за широким столом сидели бородатые широкоплечие мужики, ели кашу. Над мисками дымился пар; в горнице пахло дегтем, капустой и острым потом. Мордастый

меднобородый ямской староста, облапив жбан, пил из него кислый квас.

— Хлеб да соль! — поклонился Никита, огладил мокрую бороду и скинул шапку.

Черномазый румяный ямщик приветливо кивнул Демидову:

— Садись с нами, проезжий!

— Спасибо на том,— сдержанно отозвался Демидов.— Мне коняг надо.

Староста оставил жбан, крякнул, утер руками рыжую бороду.

— Надулся-таки! — сказал он.— Ты, милай, не стесняйся! Мы заезжие, купецкие товары везем.

— Где хозяин яма?

— На полатях отлеживается, старый! Кони ямские в разгоне, да и погодка-то.

Ямщики дружно работали деревянными ложками, чавкали. Делать нечего; Демидов сбросил дорожный кафтан, попросил стряпуху:

— Посуши, хозяюшка...

Он присел, пригляделся к народу. Ямщики были на подбор крепкие люди.

Стряпуха подала запеченную рыбу. У старосты от сытости сонно слипались глаза, но от рыбы не отступился. За ним потянулись ямщики; они брали ее руками, жирные пальцы обсасывали.

От печки шло тепло. Демидов подставил спину.

— Колесо стерял, вот какая грязища,— пожаловался он ямщикам.

Бородатый ямщик отложил ложку в сторону, разворошил бороду:

— Ох, борода-бородушка, тридцать рублев в год за тебя плачу в царскую казну.

— А ты сничтожь ее,— ухмыльнулся Демидов,— легче будет.

Ямщик угрюмо поглядел на черную бороду Никиты, рассердился:

— Я-то тридцать рублев плачу, а борода помене твоей. Где тут толк, братцы, все бороды в одной цене ходят.— Ямщик положил руку на стол и стал загибать пальцы: — Сам суди: рази все едино? Скажем, есть борода клином, а то лопатой, а вот борода козлиная, а то борода мочальная; все-то по тридцати рублев ходят. Я вот с тебя, купец-молодец, и все сто целковых сгреб бы...

Демидов прибеднился:

— Кабы я в купцы вышел, все бы два сот отвалил, а то приказчик, да самый маленький.

— По наряду как бы и приказчик,— крутнул головой ямщик,— а по роже купцу быть...

Никита не откликнулся: закинув за плечи руку, он почесал пригретую спину.

Староста утер рукавом жирные губы:

— А что я вам, братцы, расскажу, что наделал Александра Данилыч Меншиков с воронежскими купцами. Ох, и что было!..

Ямщики, дожевывая пищу, насторожили уши. Стряпуха развесила мокрый кафтан Демидова перед печью; от кафтана поднимался пар. Староста, выждав, пока возросло нетерпение, начал рассказ:

— Красное яичко ко Христову дню преподнес ловкий Александра Данилыч батюшке-царю Петру Ляксеичу. На святой неделе наехал на Воронеж царь, а Меншиков надумал: «Дай угожу, да отменно, его царской милости». Вот!

Ямщик перевел дух, помолчал; на него зыкнули:

— Не тяни, начал байку, досказывай!

— Вишь, братцы, созвал Александра Данилыч всех портных в Воронеже да наказал им сшить новое платье и все такое, даже рубашки, по иноземщине. Мы стояли тогда обозом: решили на святой-то хоть дён двое выстоять. Подошла страстная суббота, и вот перед самой заутреней кличет Меншиков всех именитых воронежских купцов да и говорит им: «А что, господа купцы, каково живете-поживаете да плутуете? Вот неправдами беду на себя и накликали. Примчался ко мне гонец с именным указом его царского величества от Петра Ляксеича, и наказ тот строг, и выбирайте сами, что вам выгодней да сподручнее...»

Староста потянулся к жбану с квасом; посудина была пуста.

— Хозяюшка, налей еще,— попросил староста. Ямщики закричали:

— Не томи, остуда! Дале что?

Демидов погладил бороду; байка про Меншикова задела его за живое. «Молодец Ляксандра Данилыч, и что такое наделал с купцами?» — подумал он, но сдержался и не спросил.

Ямщик продолжал:

— «А наказ царев таков, чтобы немедля обрили бо-

роды да оделись бы в новое платье, а кто не хочет — готовься в чужедальнюю сторонушку, в Сибирь, а вот на то и подводы готовы, да никто отсель не пойдет проститься с женками да с детками. Выбирайте, купчики-голубчики, любое: либо бороду долой да в новое платье, либо дорожка дальняя на Сибирь».

Купцы бухнулись в ноги Меншикову, поднялся плач да рыдание. «Батюшка ты наш, милостивец,— купцы хватали Ляксандру Данилыча за ноги и лобызали его ручки.— Заступись ты за нас, сирых, перед царем-государем. Легче нам головы стерять, нежели растлить на себе образ божий».

Меншиков ни в какую; видят купцы, не выходит дело, заплакали, да и говорят: «Веди нас в заточение, такая, видно, у нас судьбина, а бород терять не будем...» И тут подходит обоз...

— В Сибирь отправили купцов? — закричали ямщики.

Демидов наморщил лоб. Староста усмехнулся.

— Не отправили, баба попутала.

— Неужто Ляксандра Данилыч на купчиху какую польстился?

— Осподи, какие вы непутевые. Да не Ляксандра Данилыч, а купец помоложе, любя молодую женочку, смалодушествовал. «Буде воля божия»,— сказал он, перекрестился и отдал свою браду на растление брадобрею.

Что тут делать? Купцы дрогнули, и один за другим обрили бороды. К заутрене обрядили их в новое платье. Тут царь Петр Ляксеич в церковь подоспел, глянул на купцов и диву дался: «Данилыч, что это за народ?» — «Да это, ваша светлость, царь-государь, купчишки наши, чтобы порадовать вас, рыло свое оскоблили».— «Ох и молодцы же! — обрадовался царь и пошел с купцами христосоваться...»

— Гей, лешие, чьи кони? — закричали вдруг со двора.— Убери, дай дорогу...

Ямщицкая байка нежданно оборвалась.

Ямской староста мигом выскочил в сени, но быстро вернулся, красный, перепуганный, выпучив глаза.

— Сбирайся, артель, живо! Сам фискал-прибыльщик, господин Нестеров, пожаловал... Эй, мил-человек, приказчик-доглядчик,— моргнул он Демидову,— коль бережешь кису, сматывай удочки!

Никиту встревожила весть, но он не шелохнулся:

— Пустое, я человек бедный.

Он опустил голову.

«Недобра встреча с прибыльщиком»,— недовольно подумал Демидов. Подозревал он, что к его следу принюхивается крапивное семя.

Ямщики наспех опоясались, похватали шапки, скоро выбрались из горницы. Изба опустела.

Дверь распахнулась; в горницу ворвался ветер с дождем. Вместе с непогодою в избу ввалился человек в суконном кафтане, в треуголке, с краев ее ручьем сбегала вода. Человек был мокр и зол.

— Ямской! — закричал он, скинув треуголку.

Стряпуха проворно подбирала со стола остатки пищи. Она смиренно подняла глаза на проезжего:

— Батюшка, хозяин ямской-то на полатях почивает.

Проезжий прошел вперед, сбросил кафтан; перед Демидовым предстал плотный угловатый дядька с бритым подбородком и рачьими глазами.

Не глядя на Демидова, гость крикнул хозяину:

— Эй, леший, будет дрыхнуть! Коней!

Полати заскрипели, с них свесилась плешивая голова ямского. Старик был сед, борода невелика и курчевата.

— Гляди, никак тут Микола-святитель за ямского. Слезай, угодник! — пошутил приезжий фискал.

Ямской на самом деле походил на иконописного чудотворца. Он, кряхтя, полез с полатей. Прибыльщик круто повернулся к Демидову, поглядел на него строго:

— Ты кто?

— Приказчик, проездом.— Никита скромно опустил глаза.

— Уж не демидовский ли?

— Нет, сосед демидовским,— отрекся от себя Демидов.

— Хозяйка, перекусить! А ты проворней, хрыч, слазь да коней — живо!

Ямской слез с полатей, засеменил босыми ногами.

— Да коньков, батюшка, всех поразогнали, до утра не будет...

Фискал насмешливо оглядел старика; ямской был дряхл.

— Неужто молодого не подыскали за ямского?

— Молодого на войну царь-батюшка позвал... А ты, баба, спроворь гостьку чего; небось, оголодал... А коньки в полуночь придут, отдохнут да и тебя повезут.

Речь ямского текла мерно; Демидов в бороде скрывал плутовскую улыбку. Прибыльщик подсел к столу:

— Отколь едешь?

Демидов поднял жгучие глаза:

— Во многих местах побывал.

— Может, конокрад?

Демидова подмывали озорство и дерзость, хотелось проучить назойливого фискала. Однако на спрос прибыльщика он откликнулся спокойно:

— Был квас, да осталась ноне квасина. Мы — деревенщина, живем в лесу, молимся колесу...

— Знать, краснобай?

— Куда мне!— откликнулся заводчик.

Хозяйка подала на стол горячие щи, прибыльщик принялся за них, в горнице начало темнеть, пузыри в окнах заволокло мглой. Демидов вышел из ямской. На дворе возились ямщики: примащивались на ночлег. У ворот понуро стояла лошадь, демидовский холоп проталкивал телегу во двор. Хозяин подошел к нему:

— Ты, мил-друг, никому не сказывай, что Демидов едет. Был, да весь вышел. Едет приказчик, а боле не знаю, не ведаю. Понял?

Ямщик кивнул головой:

— Аль нам не знать?

А сам подумал: «Задурил хозяин. Ладно, пусть потешится!»

— К утру колесо сыщи, да затемно тронемся,— сказал Демидов ямщику и вернулся в избу.

За столом прибыльщик, обжигаясь, ел кашу. Глаза его остановились на Демидове:

— Сказывал, что ты сосед демидовский; как живется купцу?

— Демидов-то богато живет; он — друг самому царю Петру Ляксеичу.— Никита сел на скамью против прибыльщика, облокотился и пожаловался:— Купцам-то что? Неплохо живется! Богатеют и не скучают.

Прибыльщик утер полотенцем усы; лицо было строгое. Пригрозил:

— Отошла коту масленая, давненько добирался до Демидова: укрывает, пес, беглых да металлы беспошлинно сбывает, а теперь вот в Тулу нагряну — пиши пропало. Я, брат, такой!

— Но-о!— покачал головой Никита.— Ишь ты! Выходит, и на Демидова власть есть. Это добро!— За-

водчик поежился, ухмыльнулся в бороду. Ямской сидел в сторонке на скамье и поддакивал гостю:

— Так, так, батюшка...

Демидов снизил голос, моргнул прибыльщику:

— Только добро-то прибыльщики из-под самых рук упустили. Едешь ты, скажем, в Тулу, а из Тулы Демидовы все поубрали. Ежели хочешь, то скажу, где припрятал Демидов добро-то. Налетишь да накроешь. Во как!

Прибыльщик перестал есть, отодвинул миску с кашей:

— А ты не врешь?

— Зачем врать-то? Вот истин бог.— Никита положил уставной крест.— Я Демидовым первый ворог и скажу, где они таят беспошлинное железо. Слухай!..

— Погоди!— Прибыльщик поднялся из-за стола, подошел к ямскому.— Ты, Микола-угодничек, шасть на полати, пока мы тут обмозгуем. Ну-ну, лезь!

Ямской недовольно буркнул:

— То с полатей, то на полати. Нигде старому и покою нетути...

Однако старик полез на полати; крикнул оттуда:

— Кони утром придут, а поколь я сосну!

Прибыльщик насупился и, глядя в черные глаза Никиты, сказал:

— Глаз-то у тебя воровской. Не из цыган ли?

Демидов от гнева сжал зубы, но пересилил себя, сдержался.

— Я у матки не спрашивал, кто мой батя,— сердито отозвался он на вопрос прибыльщика.— А коли хочешь Демидову хвост прищемить, так вертай сейчас в другую сторону. На Москве-реке, ниже села Бронниц, на винокуренном заводе Данилки Евстафьева скрытно сложено демидовское железо! Удумал Демидов его тайно, беспошлинно сбыть!

— Ты тише, лешай! А еще что?— Прибыльщик схватил Демидова за руку.— Ты что горяч больно?

— Это со зла на Демидовых,— вздохнул Никита. Он отошел от прибыльщика и сел в темный угол. Огонь в печке погас; стряпуха сгребла угольки в загнеток. На дворе стихло; на полатях посвистывал носом уснувший ямской; в светце потрескивала лучина. Стряпуха поклонилась гостям:

— Вы бы на скамьях прилегли бы. У нас полати да скамьи, вот и все тут...

Никита подошел к развешанному кафтану, стащил его и кинул на скамью:

— Пожалуй, баба правду гуторит; не прилечь ли? Утро вечера мудренее. На зорьке, глядишь, кони будут...

Он вытянулся на скамье; прошла минута, в избе раздался богатырский храп. Баба ненавидяще поглядела в сторону Демидова:

— Ишь жадный какой, и щей не похлебал. Скаредничает!

Ворча, она проворно полезла к ямскому на полати.

Прибыльщик прилег в красном углу; радостные мысли отгоняли сон:

«Вот нанес господь дурака, все и рассказал. Теперь жди, Демидовы, гостя!»

За стеной ржали кони; баба на полатях о чем-то шепотом упрашивала ямского. Прибыльщик лежал с открытыми глазами и глядел, как в загнетке один за другим подергивались сизым пеплом раскаленные угли...

2

В осенней тьме все еще спало, когда Никита Демидов выбрался из сельца. Ямщик раздобыл дубовое колесо; ехали по стылой дороге медленно. Дождь перестал хлестать, дул пронзительный сиверко, слегка подмораживало. Над полями стояла мгла.

Демидов зорко вглядывался в нее и посмеивался в бороду. Знал он, что прибыльщик не упустит случая показать свою ретивость, донесет обо всем сенату...

Все так и вышло, как ожидал Демидов. Через день он добрался до Москвы, немедленно снарядил доверенного человека в Тулу. Слал хозяин строгий наказ: наскоро развести беглых людей по заимкам и попрятать их от прибыльщиков, а металлы укрыть по амбарам под замки́, чтобы чужой глаз не доглядел, сколько у Демидовых добра...

Прибыльщик Нестеров тоже не зевал; он выслал на Москву-реку доглядчика к селу Бронницы. Пронырa приказный напал на демидовские струги; на них он высмотрел сибирское железо и, не мешкая, помчался к Нестерову.

Спустя два дня, третьего ноября, сенат получил от государственного фискала Нестерова челобитную, в ней он обвинял Демидова, что тот тайно сложил привезен-

ное на стругах по Москве-реке сибирское железо на винокуренном заводе своего знакомца Данилы Евстафьева; завод тот стоит пониже села Бронницы, а железа сибирского припрятано двадцать тысяч пудов, и скрыто оно для беспошлинной продажи. Фискал просил сенат на то железо наложить арест, а Демидова допросить.

В сенате всполошились. Знали сенаторы, что Никита Демидов приласкан государем, состоит в большом доверии у царя, но, с другой стороны, думали сенаторы: если дознается Петр Алексеевич об утайке заворуйского дела, не сдобровать и сенаторам. Демидова призвали в сенат. За широким столом, крытым зеленым сукном, сидели важные и надутые сенаторы в пышных париках.

«Вырядились, как павлины»,— с усмешкой подумал Никита.

Первоприсутствующий был проворен в движениях и остер на язык.

«Молод, а умница»,— сразу определил Никита.

Демидов низко поклонился сенаторам и стал степенно выжидать. День стоял морозный, солнечный; золотой орел на петровском зерцале[1] искрился от солнечных лучей. Председательствующий учтиво поглядел на Демидова, потом перевел взор на дородного обер-фискала, состоящего при сенате, и предложил:

— Прошу зачесть донесение на заводчика Демидова.

Обер-фискал откашлялся; сенаторы застыли, молчали; лица у них были отчужденны, строги. Заслушав донесение о железе, отысканном у Бронниц, председательствующий спросил Демидова:

— Извольте, сударь, поведать сенату, отколь это железо бралось и почему такая потайность в доставке его?

Сенаторы впились взорами в заводчика. Демидов переминался с ноги на ногу.

В палате в люстрах горели восковые свечи; лысый череп Никиты отсвечивал. Демидов насмешливо подумал: «Сейчас я им открою глаза, вот удивятся!» Он многозначительно помолчал, откашлялся:

— То правда, железо мое. Отлиты чугунные доски на моем Невьянском заводишке, а прятать и не думал.

---

[1] Треугольная призма с написанными на ее гранях указами Петра I, стоявшая в присутственных местах до революции.

Заводчик снова помолчал, поскреб лысину:

— А отлиты эти доски по приказу сибирского губернатора князя Гагарина и для него привезены, а не для продажи. А кроме этого места, в других местах железа не держу.

Никита уверенно посмотрел на сенаторов.

Председательствующий, улыбаясь, переглянулся с сенаторами:

— Как мыслят господа?

Обер-фискал поклонился и сказал:

— Я мыслю, потребно послать запрос господину сибирскому губернатору...

Первоприсутствующий склонил голову:

— И я так мыслю... А до той поры освободить Никиту Демидова от допросной докуки. Как мыслите вы, господа сенаторы?

Сенаторы поочередно, один за другим, негромко ответствовали, словно заученное:

— Мы такожды мыслим, как господин первоприсутствующий.

— Посему быть так...

Демидов откланялся — и был таков.

Отъезжая от сената, один из сенаторов неторопливо высказал свое мнение обер-фискалу:

— Мыслю я, что Демидов правым окажется. Прибыльщики обмишулились на том деле.

Обер-фискал поднял палец и сказал доверительно:

— Сего тульского купца на сивой кобыле не объедешь. Матерый волк! Умеет хоронить концы в воду...

Глава вторая

I

Прошла затяжная непогодливая осень, ударили морозы, и выпал глубокий снег. Установилась зима.

По санному пути Акинфий Никитич по наказу бати съездил в Тулу. Два года он не был на родине. В последний раз, отъезжая, молодой заводчик взволновался. Краснея и смущаясь, жена сообщила ему по секрету:

— Чую, Акинфушка, понесла я под сердцем наше дите!

Демидов обрадовался, обнял жену:

— Неплохо будет, если сын народится! Будь милостива!

Спустя полгода после отъезда Акинфия на радость ему родился сын, которому при крещении дали имя Прокофий. Отец все время собирался повидать своего наследника, но только сейчас довелось.

В Туле произошло много перемен. Отцовский завод разросся вдоль Тулицы, дел стало больше, народу работного прибавилось. Всем заправляла Дунька. Она встретила мужа сдержанно. Обижалась:

— За делами и про сына забыл. Хорош отец! Полюбуйся, какой вытянулся!

Она толкала вперед тонкого капризного мальчугана. Жена стала суше и оттого казалась выше, поблекла, нос заострился, но силы ее не покидали. Ходила она в русских козловых сапогах на подковках, в синем сарафане.

Сынок Прокопка был хилый, болезненный, узколицый. Отца дичился и прятался от него по углам.

Акинфию, впрочем, было не до сына. Он был обеспокоен тульскими делами. Рядом с демидовским заводом поднимался государственный оружейный завод. Еще в 1705 году, когда Акинфий уже пребывал на Урале, царь Петр Алексеевич послал в Тулу деятельного дьяка Андрея Беляева, которому и велел подыскать место для построения оружейного двора с пятьюдесятью горнами для заварки стволов, с большими избами для отделки ружей и амбарами для хранения их. Государь очень хорошо понимал, что вопрос о вооружении войск — чрезвычайный и первой государственной важности. Нельзя было оставлять дело вооружения войск исключительно в частных руках.

Дьяк Беляев облюбовал место для постройки оружейного двора на берегу Упы, против церкви Вознесения. Место это принадлежало казенному кузнецу Никифору Орехову. Его самого переселили в мирской двор, а на участке начали стройку. Вскоре оружейный двор был возведен. К этому времени царь прислал особый наказ старосте тульских казенных кузнецов, где обстоятельно излагал их обязанности, вводя среди «казюков» военную дисциплину. Демидовым все это по нраву не пришлось.

Никита, приезжая в Тулу, всегда кручинился:

— Негде ныне на родном месте размахнуться! Одно утеснение пошло...

И все время он надеялся, что не выстоит государственный завод против частных. И действительно, в 1710 году неожиданно сгорел бывший мирской двор, находившийся рядом с оружейным заводом. Пострадал от пожара частично и завод; работа на нем остановилась и «казюки» опять стали работать по домам.

«Вот и сбылось!» — радовался Никита такому обороту дела.

Но сейчас, когда Акинфий прибыл на родину, он увидел: на реке Упе строится новый завод. Возводил его казенный кузнец, мастер ножевого и палашного дела, Марк Васильевич Красильников. По его указке реку Упу в центре города перехватили плотиной, и на правом берегу он начал ставить два оружейных завода: нижний и верхний.

Дознав обо всем этом, Акинфий сердился на жену:

— Что же ты молчала? Под самым носом такое городят, и ты не противишься!

Дунька спокойно взглянула на мужа:

— Всего не захапаешь! И зачем батюшке писать, расстраивать его? Да и возведет ли Марк завод, это еще видно будет. На ладан дышит, извелся палашник от болезни!

Акинфий не утерпел и сам отправился на место постройки. Замахнулся Красильников на большое,— оружейное дело знал он хорошо. Ставил завод деревянный, но все было к месту. Тут и главный дом, и молотовый амбар для битья железных досок на стволы, и помещения для машин, употребляемых на «обтирку» стволов. Намечал он и новую механическую мастерскую для сверления и отделки стволов.

Встретил Демидова мастер палашного дела приветливо. Показал ему стройку.

— Видишь, и для нас дело нашлось у царя!— поделился он своей радостью.

Акинфий был хмур, несловоохотен. Ему не нравилась повадка Красильникова до всего доискиваться самому.

— И чего ты надрываешься, будто для себя строишь?— угрюмо спросил он строителя.— Добро бы здоров был, а то последнее здоровьишко отдаешь!

— Не о себе забочусь,— спокойно ответил Марк.— Ну и что же из того, что здоровье слабое. Умру, так и после меня найдется умный человек и завершит нача-

тое. У нас на Руси, слава богу, толковых да умных людей не занимать стать!

Возвратился Акинфий домой недовольный, раздосадованный.

— Хитрит этот палашник чего-то! Боюсь, прижмет наш заводишко!— пожаловался он жене.

— Наше от нас не уйдет!— не унывая, ответила Дунька.— Ты хорошенько к нашему хозяйству приглядись да присоветуй, что лучше!

2

Отцовский завод держался на брате Григории и на Дуньке; оба дружно работали за разумных приказчиков. Григорий возмужал, по-прежнему был неговорлив, но заводское дело полюбил, втянулся в него и во всем старался подражать отцу. Лицом он отдаленно походил на батю: та же черная смоляная борода пробивалась, те же жгучие глаза.

Второй брат, болезненный и злой Никита, вытянулся, как тычинка, узкий и длинный. Вместо работы он по-прежнему гонял по Кузнецкой слободе голубей, мучил собак и кошек.

Мать старела; под глазами куриными лапками легли легкие морщинки. За столом она подкладывала старшему сыну все лучшее, подолгу смотрела и вздыхала:

— Время-то как идет! Ишь каким мужиком вытянулся.

Акинфий раздался в плечах, отрастил густые жесткие усы; лицо брил. Мать неодобрительно качала головой:

— Как босой! Для чего оголил лик, данный господом? Нехорошо это! Небось и поганое зелье из рога пьешь?

— Зелье из рога не пью,— смотря в глаза матери, ответил сын,— а брадобрейство почитаю. Сам Петр Ляксеич, царь земли русской, в таком лике пребывает.

— Как-то он, батюшка наш, поживает ноне, на Туле с той поры так и не бывал.— Глаза матери поголубели, голос потеплел: вспомнила дорогую встречу.

В полутемном углу перед древними иконами попрежнему мерцали лампады, оттого в горнице казалось уютнее. Мать пожаловалась Акинфию:

— Взял бы хоть Никитушку на Каменный Пояс; совсем от рук отбился. Каждый день посадские идут с до-

кукой, всех слободских собак перевешал, да и девок забижать стал.

Акинфий выслушал мать, потянулся и по-хозяйски решил:

— Я и то думал взять. На речке Шайтанке ноне ставлю завод, так с батей и посадим его на том заводе. Хватит кошек за хвосты таскать...

Дунька сдерживалась в ласках, все допытывалась:

— Небось бабу завел там?

— Не до них, делов прорва,— отбивался Акинфий от подозрений жены.

Она верила и не верила. Расспрашивала про тульских кузнецов, которые отбыли на Каменный Пояс. Затаив дыхание, осторожно выпытывала про Сеньку:

— Богатырь тот, помнишь, что тебя на святой положил, нашкодил тут, батя на заводы увез. Знать, руду медведем ворочает?

— Сбег. Руку оттяпал и сбег.

— Ишь ты! — Лицо женки осталось спокойным, но сердце сжалось болью.— Пошто покалечился?

— Народ взбулгачил. Бунтовщиком оказался.

— Н-но-о! — На сердце Дуньки захолонуло; стало жалко Сеньку Сокола.— Ишь жиган какой!

Акинфий подумал, неприязнь к Соколу всколыхнула, сказал:

— Разбойник, по слухам, и бабу разбойницу подобрал. Жили да народ резали!

У женки перехватило дыхание, в крови заворошилось старое, заговорила ревность. А она-то в бессонные ночи думала, сколько перестрадала, слез выплакала — одной ей известно. Жалела и думала о нем, а он так-то берег любовь, другую бабу подобрал. Дунька сдвинула брови, глаза потемнели:

— Такому человеку мало руку оттяпать, надо башку с плеч!

— И оттяпали! — жаром дохнул Акинфий.

— Неужто? — По Дунькиной спине побежал неприятный холодок.

— И впрямь оттяпали. На Казани палач отрубил голову!

Мысли Акинфия были спокойны, за делами он не заметил, что женка после этого разговора два дня ходила угрюмая. В душе ее осталась неизбывная горечь. Акинфий подолгу задерживался в оружейных мастерских и в кузницах. В старой кузне он сбросил дорогой кафтан

и проработал у наковальни целый день. Работал Акинфий по-прежнему ловко. Сивый кузнец, восхищаясь работой молодого хозяина, похвалил его:

— Не разучился еще тульскому рукомеслу. Знатно!

Ездил Акинфий и на лесные курени; сопровождала его верхом на коне женка. Ехали лесной засекой, мимо еловых чащоб да выворотней; муж всю дорогу поглядывал бирюком и отмалчивался. Каждый о своем думал: Акинфий — о рудах, женка — о прошлом. Выехали на порубки: дымились кучи, жигари жгли поленья на уголь.

На лесных куренях свято сохранялись строгие демидовские порядки. Работные по-прежнему жили в землянках, работали в лесу от темна до темна, одежонка была плоха; рваная сермяга да лапти. Угрюмые жигари работали молча; не слышал Акинфий песен. Кругом стоял оснеженный лес; по голубоватому снегу перепутались следы зайцев, лисух. На корявом суку кривой березы ворон чистил клюв; в лесной глухомани выстукивал дятел. На лесном перепутье стоял сосновый осьмиконечный крест. Акинфий почему-то внезапно вспомнил дьяка Утенкова и спросил женку:

— А как живет ноне дьяк, наш супостат, не досаждает заводишку?

— Помер, а семейство на поместье съехало...

— Жалко, хитрый дьяк был...

По сугробистой дороге в рваных сермягах шла ватага лесорубов; за поясами поблескивали топоры. Впереди артели ехал на черном коне демидовский приказчик.

Лесорубы свернули с дороги в глубокий снег — дали хозяевам дорогу; все молча сняли шапки.

— Куда? — крикнул Акинфий.

— На новые лесосеки,— отозвался приказчик.

Акинфий подумал: «Без маяты хозяйства не сладишь. А без этого нельзя!»

Заночевал хозяин в лесном курене; осталась и женка. В землянке жгли костер, дым уходил в дыру. В нее смотрело звездное небо. На огне грели варево; едкий дым слепил глаза.

3

В Туле перед Акинфием Никитичем ломали шапки, заискивали, но он заскучал в родном городке. Манил его к себе просторный Каменный Пояс, где суровые

горы, леса и где все можно... На масленой неделе обрядились в дальнюю дорогу. Долгоносый и угреватый брат Никита поругался с Акинфием, не хотел ехать на Урал, но покорился. Молодые хозяева надели тяжелые волчьи шубы, уселись в глубокие сани, за ними на дороге растянулся обоз. На посадке из ворот выглядывали бабы и ребята; они тыкали в Никиту пальцем:

— Г-хи, кошатник уезжает! Помелом дорога!

Дунька стояла на крылечке; в небе плыли белые облака, подмораживало; она, одетая в сарафан, не боялась стужи; по отъезжающем муже женка не проронила ни слезинки. Сердце окаменело от тоски.

— Уезжаешь и опять на долгие годы не вспомнишь меня,— жаловалась она.— Глядишь, и молодость уйдет, а я и не жила...

Акинфий ворочался в мохнатой шубе, сопел. Мать, Демидиха, толкнула Дуньку:

— Раззява, хоть бы для прилику поревела: чать, не чужак, а родный муж уезжает...

Дунька руками закрыла лицо, но слез так и не выдавила.

Кони мчали быстро, родной дом уходил в снежные сугробы...

«Прощай, Тула, родной город!» — Акинфий крепче запахнулся в шубу. Глаза брата Никиты были сонны, тело сковывала дорожная лень...

Глава третья

I

Вся зима прошла для Никиты Демидова в тягостном ожидании отписки сибирского губернатора на требование сената. Все это время проживал Демидов в Москве и кручинился от безделья. К тому же тревожила мысль: «А вдруг князь Гагарин откажется от своего слова?»

В Туле за это время сын Григорий поприпрятал по лесным куреням беглых людей и навел порядок с железом. Когда кинулись туда прибыльщики, времечко было упущено: на демидовском заводе все находилось в благополучии.

«Не поживились лиходеи,— радовался Демидов.— Молод сын Григорий, да не глуп».

С Каменного Пояса в Москву приехал приказчик Мосолов с добрыми вестями. Заводы работали бесперебойно; отстроили Шайтанский завод; на правление этим заводом водворился сын Никита Никитич.

Одно худо: молодой хозяин был не в меру жестокосерд. Лютовал.

Приказчик не упустил случая пожаловаться Демидову:

— Крепость и строгость к работному люду потребны, но все это надо в пору. Зря народ калечить ни к чему!

Слушая жалобу на сына, Никита стиснул зубы:

— Погоди, доберусь! Так...

На Фоминой неделе пришла долгожданная весть: сибирская канцелярия подтвердила, что доски отлиты по приказу князя Гагарина и пошлине не подлежат.

— Ловко обтяпано,— ухмыльнулся Демидов.— На вороных сенат объехали!

На радостях он съездил в храм Николы Мокрого и отслужил молебен.

«Гроза миновала, пора и в дальний путь-дорогу сбираться, на Каменный Пояс,— думал Никита.— Акинфка без отца, чать, запустил делишки».

Перед отъездом нежданно довелось Демидову встретиться в Пушкарском приказе с прибыльщиком Нестеровым. Фискал впился рачьими глазами в Никиту, ухватил его за кафтан:

— Эге, приказчик, каково живешь?

Писчики вдруг перестали строчить и притаились. Тишину в писцовой нарушила бившаяся в окошке вешняя муха.

Демидов улыбнулся и спокойно ответил:

— Ничего живу, хвала богу.

Прибыльщик стиснул угловатые челюсти и зло прошипел:

— Ты что ж, обманывать вздумал государева человека, а?

Фискал сжал кулаки и пошел на Демидова.

— Вот что, мил-человек.— Никита поднял на фискала жгучие глаза.— Тут место царево — приказ. Коли хочешь драться, жалуй на улку.— Никита спокойно отодвинул прибыльщика и шагнул в дверь.

— Ишь ты поганец какой! — подался к двери Нестеров; лицо его налилось кровью.

От стола оторвался писчик, просеменил к прибыльщику и зашептал:

— Да какой тебе приказчик! Это сам Никита Демидов!

Прибыльщик остолбенел.

— Но-о! Вот дьявол! — Фискала охватила жгучая досада; он махнул рукой и вышел на крыльцо.— Эх, орясина! — укорял себя прибыльщик и тыкал под нос себе кукиш.— На, выкуси! Как малое дите обвели. Вот цыганище! Ух ты, сатана!

Он вышел на площадь; на ней густо толпился народ, звонко зазывали калашники, блинники, квасники. На башне отзванивали часы. Над Кремлем — низкое и хмурое небо.

Прибыльщик шел, расталкивая людей и ругая свою опрометчивость.

— Эй, эй, посторонись! — Мимо нестеровского носа проплыла дубовая оглобля.— Народ расступился перед грохочущей по камням телегой. Тяжелые кони протопали мимо прибыльщика.

Два пьяных посадских мужика спускались к Замоскворечью; они шли в обнимку и во всю глотку орали песни.

«Питухи-зашибалы,— подумал прибыльщик, и вдруг его осенила мысль: — А что, если еще раз испытать счастье?»

— Эй вы, людишки, кто будете, куда бредете?

Питухи остановились, хмельными глазами посмотрели на прибыльщика:

— Сам кто? Пшел!

Фискал снял колпак.

— Я, братцы, ничего. Иду в царево кружало, а дружков у меня нету. Идем вместях!

— Алтыны есть?

— Есть!

— Ой, мил-друг, дай расцелуем!

Пьянчуги полезли к прибыльщику целоваться; он слегка отстранился и поднял руку:

— Куда лезешь! Давай пить будем, гулять будем! А дело — делом!

— Пошли в кружало, мил-друг!

Шатаясь, с бранью пошли они к царскому кружалу.

Над Москвой спустилась звездная ночь; на кремлевских стенах перекликались караульщики:

— Славен город Москва!

— Славен город Новгород!

— Славна Рязань!

На Балчуге в кабаке, с той поры как побывал тут Акинфка Демидов, нисколько не изменилось: было так же шумно, сумеречно от табачного дыма. От людского дыхания в светце колыхалось пламя. В полутьме галдели хмельные посадские людишки, нищеброды и неведомые гулящие люди. Целовальник разливал по ендовам и посудинам вино.

Кабацкие ярыжки сидели за столом в дыму и пели.

Прибыльщик отменно напоил посадских питухов, завел в подклеть и закрыл на запор.

— Ты, Ермил, в оба гляди, этих питухов без меня не выпущай,— строго наказал он целовальнику.— Когда от хмельного очухаются и в разум войдут, кликни меня. Чуешь?

— Чую, господин прибыльщик.— Целовальник поклонился Нестерову.

Чтобы питухи не блажили в подклети, им вбили в рот кляпы. Они безмятежно спали, а вокруг них бегали мерзкие серые крысы...

После этого случая прошло несколько дней, и сенат снова получил донесение на Никиту Демидова. Теперь на Демидова доносили посадские людишки Иван Кадлин да Михайла Оленов.

Бойкие посадские люди написали складное донесение: всячески пороча Демидовых, просили они сенат отдать им завод и отпустить взаймы из государевой казны десять тысяч рублей; за все сулили государству немалую прибыль и горы железа.

Обер-секретарь сената положил на грамоте челобитчиков повеление: «Допросить, согласно с изложенным у фискалов, Никиту Демидова и обоих челобитчиков».

Возмутилось сердце Демидова; полноводно разлились весной реки; с Каменного Пояса плыли струги, груженные железом. Акинфка торопил батю доглядеть на пристанях за выгрузкой и сдачей железной клади. А где тут съездить на волжские или камские берега, если не отпускают из Москвы? Паутиной оплело Никиту Демидова крапивное семя, и теперь барахтайся в ней, сутяжничай, а заводы остаются без хозяйского глаза.

Однако Демидов и виду не подал о своей кручине, явился в сенат бодрым и спокойным.

Первоприсутствующий поманил Никиту к себе:

— Что, Демидов, опять встретились? Никак нам не разойтись. Вот твои супротивники!

— Да-к,— вздохнул Никита,— сих людей я впервой вижу, господин сенатор, дел с ними не имел и о чем жалоба на меня — не ведаю.

Председательствующий кивнул головой посадским:

— Подойдите сюда да поведайте господам сенаторам, кто такие, откуда и о чем челом бьете?

Сенаторы с любопытством разглядывали посадских людишек. Кафтаны на них незавидные, сапоги пыльны, стоптаны. У белобрысого челобитчика повязана опухшая щека; на плешивой голове, как заячьи уши, торчали углы платка. Он толкнул в бок товарища:

— Говори ты, а у меня зубы окаянные ноют...

Демидов усмехнулся в бороду и подумал: «Не от битья ли? Ишь морда запухла. Хват!»

Черный как жук посадский исподлобья угрюмо поглядывал на сенаторов. Плешивая голова его поблескивала. Он поклонился и, не глядя на Демидова, начал речь:

— Ваше сиятельство, народ мы смирный и честный. Честность наипаче оберегаем мы, ибо ведаем, что сия душевная приметина дороже сребра и злата.

Председательствующий сдвинул брови, на переносье легла глубокая складка; однако сенаторы терпеливо выслушивали речь посадского. Тот между тем продолжал:

— Кличут нас, честных людей: меня — Иван, сын Кадлин, калужанин я. Ведомо вам, что про калужан гуторят: козла-де в соложеном тесте утопили,— так не верьте сему, господа сенаторы, то одно поношение калужских!

Сенаторы переглянулись; обер-фискал пожал плечами; Демидов наморщил лоб.

«Ишь шустрый, словоблуд»,— сердито подумал он.

Первоприсутствующий постучал перстами по столу:

— Ну, дале, кто сотоварищ, как кличут?

Сотоварищ выставил вперед козлиную бороденку, вылупил глаза на сенаторов. Посадский сморкнулся, персты утер о полу кафтана, продолжал:

— Друга мово кличут Михайла, сын Оленов, из Кадомца, их скромно величают: «Кадомцы-сомятники: сома в печи поймали». Опять лжа то, сома сетью берут... А люди мы, господа сенаторы, грамоте не обучены, а промышляли мы досель: я муку, крупицу да масельце на Москву-матушку поставлял, а сотоварищ

хлопотал по вымену из хождения мелкой монеты из сребра на новую для сибирских краев...

— Подлинно так,— хриплым голосом поддакнул товарищ.

— Мы народ честный, не заворуи какие. Отдайте нам, господа сенаторы, Невьянские заводишки. Возьмите в благорассудство и наше радение. Отдайте нам их без порук.

— Так, недурно,— прервал посадского сенатор.— А скажите мне, челобитчики, ты, Иван Кадлин, и ты, Михайло, сын Оленов, железное дело да литье знаемо вам?

Посадские оба разом поклонились.

— Николи этим делом не занимались. Да мы ж люди честные, а Демидовы — хватит, попользовались заводишком! Ведомо нам, что царское величество отдал им завод всего на десять годков. Вот!

Никита Демидов стоял тихо; жгучие глаза уставил на председательствующего. «Неужто не видит шалберников? Зарят, супостаты, свои глаза на чужое добро, и-их!..»

— Ну, Демидов, что на это скажешь? — Председательствующий поднял серые глаза на Никиту.

Демидов резко подался вперед и попросил:

— Может, господам сенаторам речь моя нескладна да длинна покажется, прошу на том прощения. Дабы покончить сей спор, должон я вам по всей правде ответствовать. Челобитчики Кадлин да Оленов в своем доношении написали, будто Демидову Невьянские заводы отданы на урочные годы, на десять лет; это они пишут ложно, похотя меня, Демидова, разорить напрасно да с детишками пустить по миру. Заводы те по именному великого государя указу отданы мне, Демидову, во владение, а не на урочные годы, и, обнадеясь на ту его, государеву, милость, на тех заводах построил и завел я всякие строения, которые коштом обошлись не менее тыщ ста рублев, и ныне таких заводов и строений к ним в Московской и во всех губерниях нигде нет...

Посадский с повязанным лицом вскинул вперед руку и крючковатым перстом погрозил Демидову:

— А пошто беглых держишь, а пошто пошлин с продажи не платишь?

Никита и ухом не повел, не взглянул на посадского. Поклонился сенаторам:

— Господа сенаторы, со владения своего заводом

железо сибирское, полосное и дощатое, продавал я в городах Казанской губернии и с продажи пошлины платил. На заводишках наших ро́бят приписные крестьяне да наемные люди, а беглых и заворуев у нас нет. Облыжно на меня возводят то мои супротивники...

Первоприсутствующий, не моргая веками, долго смотрел на стоящее на столе зерцало; встрепенулся:

— Н-да... Железа не ладили, а заводы просят. Как же так? Да и денег нет, а?

Посадские переглянулись, будто пытая друг у друга, кто же повинен в том.

Обер-фискал надел на крючковатый нос очки, поднял на сенаторов пронзительные глаза:

— Мыслю я, господа сенаторы, сих челобитчиков освободить да отказать во всем.

Демидов благодарно наклонил голову; челобитчики мяли в руках шапчонки. Председательствующий поднялся с кресла:

— Челобитчики Иван, сын Кадлин, да Михайло, сын Оленов, оставьте присутствие, а так как не проходит недели, дабы на заводчика Никиту Демидова не приносили жалоб, то мыслю я: нет дыма без огня. Потому сенат повелевает дело то передать в Розыскную канцелярию и просить начальника оной, лейб-гвардии капитан-поручика Ивана Никифоровича Плещеева, учинить розыск...

Посадские молча поклонились и мигом унесли ноги. Только на площади они надели шапчонки и перевели дух:

— Ух ты, от напасти ушли! Хвала богу, от грозного дела утекли. В Розыске не разбирали бы, кто челобитчик и кто ответчик,— всем досталось бы кручины...

Никита Демидов никак не ожидал такой напасти; он со страхом глядел на сенаторов: не ослышался ли он, думал заводчик. На его сердце было нехорошо. «Что теперь будет? — думал он.— На Каменном Поясе по рудникам да заимкам укрывается немало беглых; узнает об этом Розыск и не помилует правого и виноватого».

Один из сенаторов откашлялся и сказал председательствующему:

— Мне известно, что государь Петр Алексеевич отдал Невьянский завод во владение Никите Демидову; дело это ясное.

Первоприсутствующий недовольно поморщился:

— Не о том речь, господин сенатор. Повинен или неповинен Демидов в обходе законов и платит ли установленные пошлины — необходимо это узнать. Как вы, господа сенаторы?

Господа сенаторы поддакнули председателю, а обер-фискал чуть заметно улыбнулся и замкнулся в себе.

Тяжкой походкой ушел из сената Никита Демидов; ноги словно свинцом налились. Что теперь будет?..

2

В тот же день Никита Демидов отправил приказчика Мосолова с тревожной вестью на Каменный Пояс. Торопил Акинфия припрятать в потайные места беглых людей и каторжных.

Спустя несколько дней сыщики Розыскной канцелярии схватили караульщика демидовских складов в Москве, заковали в железа, надели рогатку на шею да пытали. Демидов притих, ссутулился, словно на плечи навалился тяжкий груз.

На Москве демидовские хоромы были отстроены в глухом тупичке: в горницах низкие потолки, тесно, душно... Несмотря на летнюю жару, ходил Никита по горницам в пимах; ныла нога, покалеченная в руднике. Из-за неприятности внезапно открылись телесные немощи. Каждый день приносил Демидову обиду: фискалы и сыщики то и дело разоряли его склады, схватывали людей и держали в железах. Досада разбирала Демидова, но понимал он: противник силен, да и царю не пожалуешься. Царь и Меншиков находились в эту пору далеко, в иноземщине. Притом царь Петр Алексеевич и сам не щадил тех, кто преступает его закон. Немало грехов обременяло совесть Демидова, поэтому помалкивал он, внутрь загонял кручину.

Начальник Розыскной канцелярии, лейб-гвардии капитан-поручик Иван Никифорович Плещеев, вызвал заводчика к допросу. Демидов поник головой, однако приказал заложить в колымагу резвых коней, надел новенький бархатный кафтан, оправил бороду; пусть думают — живет Демидов, не кручинится. Ехала колымага по пыльным бревенчатым мостовым Москвы, громыхала; Демидов сжал зубы: непереносимо трясло. Над улицами и площадями кружилось множество голубей. Из мучных лабазов выходили купцы-лабазники и, покрестясь на главы церквей, кидали одну-другую горсть

зерна на землю. Голубиные стаи тучей кидались на зерно. День стоял солнечный, и в Кремле золотой маковкой блестел Иван Великий. Колымага прогромыхала за кремлевскую стену, к страшному месту.

Опираясь на костыль, прихрамывая, Демидов поднялся на крыльцо Розыскной канцелярии. У входа стоял караул — гвардейские солдаты. Заводчик покосился на них, позавидовал: «Хороши ребята для заводского дела!» И тут нежданно-негаданно вспомнил Никита первую встречу с царем Петром Алексеевичем. Был тогда Демидов статен, крепок, а теперь притомился от хлопот, сдает сила. В черной бороде давно засеребрилась легкая седина. Сутулый, но все еще бодрый духом, он вошел в канцелярию Розыска. Под слюдяными окнами горницы тянулся длинный стол; писчики и копиисты скрипели гусиными перьями. При входе Демидова все разом повернули головы и впились в него глазами.

Демидов прошел до середины горницы, лицо строго, постно; глаза глубоко запали в темные глазницы; стукнул костылем:

— Зван к капитан-поручику. Повестите!

В углу из-за стола сорвался юркий канцелярист в замызганном камзоле. Он быстро шмыгнул в соседнюю комнату.

Никита поднял голову, дерзко оглядел приказных, постукивая костылем. Стены в канцелярии — серы, в углах сырость; от больших деревянных скрынь, в которых были сложены грамоты и допросные листы, пахло мышиным пометом. Демидов чихнул, неторопливо вынул красный платок и утер нос. Писчики снова заскрипели перьями.

Дверь распахнулась; изогнувшись в поклоне, юркий канцелярист пригласил заводчика:

— Пожалуйста, их милость поджидает тебя.

Демидов, глядя на канцеляриста, поморщился: «Ишь крыса!»

Из-за стола навстречу заводчику встал и вышел грузный краснощекий офицер — человек лет за сорок. Никита заметил, что офицер этот плешив и горбонос; глаза бесстыжие.

Начальник Розыскной канцелярии поклонился Демидову:

— Много наслышан от государя о делах ваших. Как работают заводы?

Никита Демидов насторожился: в льстивой речи

начальника почуял он повадку хищного врага. В свою очередь он поклонился Плещееву:

— Хвала осподу, драгоценный Иван Никифорович, попечением и заботами царя Петра Ляксеича наши заводы работают добро. Живем помалу.

— То хорошо,— сладко улыбнулся Плещеев, но глаза его остались сухи и мертвы.

«Эх, без души и огнива человек,— подумал Демидов.— Ну, да на таком деле это кстати».

Капитан-поручик вернулся к столу, уселся и, улыбаясь, продолжал любезный разговор:

— Сенатом повелено мне узнать, много ли пришлых и гулящих людишек обретается на ваших заводах? Сказывали челобитчики, что кровный сынок ваш Акинфий Никитич поставил к литейному делу военнопленных свеев, бежавших с мест поселения...

Демидов сидел у стола, крытого зеленым сукном, напротив грозного капитан-поручика; на лбу выступил пот.

«Обо всем догадывается супостат, но доказательств нет»,— сообразил Никита и спокойно сказал:

— Посадские людишки да завистники оболгали меня перед сенатом. Ни беглых, ни пленных свеев не держим на заводах. Радеем, сколь хватает нашей силенки.

Плещеев пронзительно глядел на Демидова. Заводчик подался вперед, положил натруженные руки на костыль; руки были тяжелые, жилистые. Лицо Никиты вытянулось, глаза горели сухим блеском. За спиной Плещеева на стене висел писанный по холсту царь Петр Алексеевич в преображенском мундире. Демидов тяжко вздохнул. Капитан-поручик опять спросил:

— Дознано нами, что приписные и работные люди живут на заводах скудно и жестокости чинятся над ними. Правда ли то?

Никита легонько стукнул костылем об пол, усмехнулся:

— За работенку людям сполна плачу, а то, что скудость в хлебе,— был грех... Без суровости же не обойтись. Судите, господин, сами: кругом там скала-камень да дремучая чащоба, хлеб не сеяли, а народ заводишки ставил на голом месте. Пушки да снаряды надобны были, не поджидать, когда хлеб взрастим. Оно всякому доброму хозяину известно: коли дом ставят, мужику приходится тогда туго. Жестокостей не чиним,

а суровы — это правда! Без суровости народ разбегся бы, никто не хочет идти на огненную работу... Одним ласковым словом, господин мой, да привольным житьишком больших дел не наробишь!

Начальник Розыскной канцелярии облокотился на стол, заслонил глаза ладонью от света.

— Это верно,— прервал он Демидова.— Ведомо и нам, что руки ваши — золотые и по-хозяйски дело ладите. Только будет лучше, если всю правду расскажете да в грехах повинитесь. Есть у нас на то показания и взятые сыски...

— А коли есть, то судите да казните.— Никита опустил плешивую голову.— Греха ж за своею душою не знаю...

Оба надолго замолчали. Плещеев вцепился руками в подлокотники кресла; на руках поблескивали перстни с драгоценными камнями. Он отвалился на спинку кресла и, не мигая, снова впился в Демидова. Никита под взглядом не смутился.

Солнце зашло за кремлевскую башню; в горнице сгустилась полутьма. В наступившей тишине слышно было, как за дверью пререкались писчики. Демидов на мгновение закрыл глаза, и почудилось ему, что под ногами в подполице кто-то простонал. «Уж не застенок ли в подполице, а то дыба? — подумал Никита, и ему стало не по себе; слегка подташнивало.— Эх, куда и здоровье девалось,— с тоской сокрушался он.— Хлопотал, во всем себе отказывал, а тут розыск».

— Много доходу имеете? — прервал тягостное молчание Плещеев.

— Не считали. Да что и придет, немедля вкладываем в новые заводы. Наказал государь попечение иметь об умножении заводов для литья. Не о себе помышляем, а о славе и крепости отчизны...

— Одобряю! — Капитан-поручик встал и подошел к Демидову.— На сегодня с нас двоих будет. Как-нибудь на той неделе продолжим нашу беседу.

— Спасибо и на том,— поклонился Никита.— Ваши добрые слова всегда рады слышать...

Начальник проводил Никиту Демидова до порога кабинета, распахнул дверь. За ней стояли два рослых солдата, а между ними избитый арестант в железах — привели к Плещееву на допрос.

Демидов, не озираясь, тяжело ступая, пошел к выходу. На душе его было паскудно и сумеречно...

3

На Демидова навалились все несчастья. Из Тулы прискакал худой, измученный сын Григорий. Невеселые вести привез он. Фискалы-прибыльщики не дают ни спуску, ни отдыху: чтобы откупиться от них, пришлось извести немало денег и подарков. Ко всякому шагу придирались фискалы, и от всего откупайся. В Туле сыщики схватили трех лучших приказчиков, заковали их в железа и угнали в Москву, в Розыскную канцелярию.

Демидов морщил лоб, слушал сына молча. Григорий чего-то недоговаривал, волновался, и отец догадался, что в Туле стряслась беда.

Старик встал, заложил руки за спину и, прихрамывая, прошелся по горнице.

Свет, шедший через слюдяные окна, был мутен, зеленоват, лица отца и сына казались зловещими.

Демидов подошел к сыну, положил на его плечо тяжелую руку. Григорий поднял взволнованное лицо.

— Ну, Гришак,— глухо сказал отец.— Аль дома худшее несчастье пало? Что молчишь?

Григорий отвел глаза в сторону, лоб вспотел, к нему прилипла жидкая прядь волос. Угреватое лицо сына было некрасиво; он с болью сознался:

— Худшее несчастье, батя, пало...

— Никак с домашними? Умер кто? — В Никитиной душе похолодело. «Кто умер? — сокрушенно подумал он.— Ужли старуха?»

Григорий собрался с духом:

— Смерть, батюшка, у нас в доме... Дуню на курenях лесиной убило!..

— Дуньк...у? — хрипло переспросил Демидов; борода его затряслась.— Этакую расторопную хозяйку! Весь завод и курени держались на ней. Осподи, пошто покарал меня?

Григорий стоял перед отцом потерянный, бессильно опустив тонкие длинные руки. Батька отвернулся к окну и глухо спросил:

— Как же это случилось? Не худые ль людишки что подстроили? Ретивая да хлопотливая была женка.

— И я так мыслю, батя, но улик нет. Поутру уехала в курени; жигари перед тем недовольство сказывали в работе, лаялись на хозяев. Потом разом притихли... А ввечеру прискакал артельный с плохой вестью; сказы-

вает, неосторожно вела себя: сосной-вековушкой хрястнуло по маковке, и не различишь образа божьего на ней...

После глубокого раздумья отец тяжко вздохнул:

— Эх, Дуня, Дуня, не уберегла себя! Не найти нам в дом такую хозяюшку...

На душе росла тревога. «Что будет с заводами? — беспокоился Никита.— Григорий хоть хлопотлив, но слаб духом — попустительство по своему слабодушию допускает. А ставить при недостатках большое дело — надо иметь крепкое сердце... От Дуньки остались сиротки... Хошь бабка и возьмет над ними обереженье, а все ж сироты...»

— Ступай, отдохни. Устал небось? — заботливо поглядел он на сына.

Теплое отцовское чувство шевельнулось в сердце Демидова: первая смерть в семье пробудила его.

Григорий ушел из горницы, а Никита долго ходил из угла в угол, припадая больной ногой...

Розыскная канцелярия по-прежнему не оставляла Демидова в покое. Капитан-поручик Плещеев опять вызвал на допрос и продержал заводчика целый день. Дорого обошлось это Демидову; лишняя прядка серебряных волос прибавилась в черни бороды. Но заводчик крепился, отмалчивался, держал себя спокойно...

Плещеев то ставил вопросы в упор Демидову, то отменно вежливо расспрашивал про житье. Демидов был ровен, как бы ушел в себя. Смерть любимой снохи не выходила из памяти.

Понимал Никита, к чему клонятся расспросы о житье, пришлось слать Ивану Никифоровичу соболей — ничего не поделаешь. Подьячие и писчики тянули, кто чем мог; у каждого нашлось дело и хлопоты до Демидовых. Жадный Демидов охал, кряхтел, но раскошеливался...

Длинные руки Розыскной канцелярии добирались и до Каменного Пояса. Тобольский воевода по настоянию капитан-поручика Плещеева наводил справки о работных людях на демидовских заводах. Знал Никита, что Акинфий легко не расстанется со своим добром.

Оно так и было. Воеводские подьячие и писчики наезжали в Невьянск, требовали пересчета народа; выясняли, сколько железа плавится в домнах и куда оно идет. Акинфий отговаривался от воеводских доглядчи-

ков недосугами и срочным литьем. Когда приказные становились нетерпимыми, сын Демидов делал им посулы, а то просто выгонял с завода.

Так дело тянулось два года.

Глава четвертая

I

Счастье, однако, не оставило Демидовых. Дело приняло неожиданный поворот. Весной 1718 года фискалы, помышляя окончательно разорить заводчика, подали на него челобитную прямо царю Петру Алексеевичу, в которой без зазрения совести корили Никиту Демидова в присвоении Невьянского завода, в нерадивом хозяйствовании и возводили на него обвинение в том, что Демидов ставит железо в казну по неслыханно высоким ценам.

Царской канцелярией ведал генерал-лейтенант, а по гвардии подполковник князь Василий Долгорукий, человек вдумчивый, осторожный и характером мягкий. Получив от фискала жалобу на Никиту Демидова, генерал долго думал, как приступить к делу. Ему было известно, что Демидовы в немалом почете у царя. Князь решил быстро; доложил царю, недавно прибывшему из иноземщины, челобитную фискала.

Петр Алексеевич был в благожелательном настроении; на обширном столе перед ним лежали корабельные чертежи; царь, похудевший, в очках, которые он стал носить недавно, разглядывал их и довольно попыхивал дымком из голландской трубки. В эти минутки подумывал царь о стройке фрегатов. Нужны были дерево, пенька, смола, железо,— государь разглядывал чертежи и прикидывал, откуда все это раздобыть.

Долгорукий тихонько приоткрыл дверь, просунул свое грузное тело и прошел к столу. Государь поднял круглые смеющиеся глаза на князя, шевельнул усами.

— Ну, что́ скажешь? Видел? — Петр Алексеевич мундштуком трубки повел по чертежам.— Ноне весной заложим на Неве. Знатно!.. Отпиши Демидычу, что железо и якоря потребны...

Царь пристально поглядел на простое русское лицо князя, на его широкий нос. Долгорукий поклонился:

— Ваша царская милость точно угадали, я пришел,

государь, с челобитной на Демидова. Фискал доносит, государь...

— А ну, князь, прочти.— Царь сел на стул, отвалился, закинув ногу на ногу, и задымил трубкой.

Долгорукий неторопливо, вразумительно читал, а государь покачивал головой: «Так, так...»

В царской горнице были широкие окна: солнечный свет золотыми брусьями падал на пол. За окном раскачивались зеленые ветки кустов, щебетали птицы. По-весеннему было хорошо и свежо. Рядом за стеной раздавались женские голоса; царь прислушался, узнал голос жены; заботливо подумал: «Последние дни дохаживает, а все хлопочет... Катюша!»

Долгорукий прочитал челобитную, наклонив голову в пышном белом парике; волнистые локоны упали на малиновый кафтан; князь ждал царского решения.

— Ну как? — спросил царь.

— Мыслю я, государь, потребно против сего допросить Демидова...

— Верно,— согласился Петр Алексеевич.— Демидыч мне друг сердешный. Но дружба — дружбой, а служба — службой, допросить надо... И у другов бывает заворуйство... Но то помни, князь Василий Владимирович, что в челобитной фискала много напраслины. Заводы Демидову переданы мною навечно, окупил он их; мужик он крепкий, хозяйственный. У него, князь, сердце железное, а руки золотые...

— То верно, ваше величество,— согласился Долгорукий.— Хорошо бы, государь, тебе иметь сотню таких слуг, как Никита.

Царь прищурил глаза, повеселел:

— Хорошо бы и пять и шесть таких, как Демидыч, и тем был бы я доволен. Горное дело знатно пошло бы в гору... Ты, князь, запроси Адмиралтейство, по сколь берут другие подрядчики за железо, тогда и рассудим...

— Правдиво, государь, разрешил.— Князь учтиво раскланялся и неслышным шагом вышел из царской горницы.

Государь встал, подошел к окну и распахнул его. С моря дул легкий ветер, раскачивал деревья. По двору, взявшись за руки, вперевалку, как утята, расхаживали двое годовалых ребят. Царь засмотрелся на крошек и счастливо подумал: «Эх, если Катеринка родит сына, ну и пир задам! Держись!»

Яркое солнце пригревало землю и людей. Оттого было бодро и весело.

2

Князь Василий Владимирович Долгорукий не мешкал, вызвал Никиту в Санкт-Питербурх. Демидов разом воспрянул духом, заторопился в дорогу: «Кто знает, может, осподь доведет увидеть самого Петра Ляксеича?» В Розыскной канцелярии присмирели, выжидая, что будет...

Вешняя дорога утонула в грязи; буйные паводки посрывали мосты через многие реки, снесли вниз по течению, путникам подолгу приходилось задерживаться у переправ. В ожидании Демидов нетерпеливо ходил по берегу; подхлестывала мысль: «Скорей, скорей в Санкт-Питербурх!»

Колеса по ступицу уходили в грязь, притомлялись кони. Ночи стояли дождливые, небо плотно заволокло тучами, темень; но Демидов, забыв хворости,— разом отошли они,— подгонял себя вперед и днем и ночью.

Май был на исходе, когда Демидов въехал в Санкт-Питербурх. Все занимало его; прошло несколько годков, и многое изменилось. Через Фонтанку-реку построили добротный тесовый мост. На Невской першпективе среди мазанок появились каменные палаты, рылись канавы, осушались топкие болота, вдали в тусклом свете хмурого дня показались широкие ворота Адмиралтейства, а над ними — деревянный шпиц. По улицам нового города катилось много экипажей; небо было хмурое, однако жизнь везде била ключом. Остановился Демидов в своих хоромах; приказчик заждался хозяев и немало был обрадован приезду Демидова. Никита словно помолодел; бойко расхаживал по горницам и расспрашивал о делах.

Положение было невеселое: амбары хозяйские опустели, железо давно разошлось. Из-за притеснений и придирок Розыскной канцелярии сын Акинфий прекратил доставку железа в Санкт-Питербурх. Весна в тот год выпала многоводная; Чусовая поразметала да разбила о каменную грудь «бойцов» немало стругов, груженных железом. Кругом одни убытки...

Но не унывал сейчас Никита Демидов. Позвали его в Санкт-Питербурх, значит у царя дело есть.

В один из дней Никита Демидов предстал перед князем Долгоруким. Князь ранее не встречал Демидова, но,

будучи много наслышан о нем, внимательно рассматривал туляка. Заводчик был бодр, глядел весело. «Орел»,— определил князь Демидова. Он запросто, по-дружески встретил его:

— На тебя, Демидыч, поступил навет, но я твердо верю, что все это отпадет и мы будем друзьями...

Никита почувствовал подъем сил; он с надеждой взглянул на князя:

— Дай-то бог, дай-то бог... Расказните, а выслушайте. Извелся я от сутяжничества. Заводы, яко малое детище, требуют ухода и хозяйского глаза, а на заводы меня не пущают. Ваше сиятельство, верьте: от того жизнь не мила!

Долгорукий пожал Демидову руку:

— Вот за то государь и любит тебя, что делу предан. А теперь расскажи всю правду без утайки.

— И таить-то нечего. Трудно работать, князь: не всегда удача. Хлопот немало и с народом и с делом. Даны мне заводы и крестьяне, кои робят по восемь недель в году, а за ту ихнюю работу вношу в казну подати. Народ неспокойный, бывает — покинут работу, разбредутся, вот и все тут!.. Ставлю я, ваше сиятельство, воинские припасы против других дешевле, обхожусь малым прибытком; сам да дети глядим за заводами: в том и есть прибыток. Жить можно в доброе время, а как в домнах аль в молотах случись неполадок, аль плотину прорвет, аль пожар, аль грузы на Чусовой об камень шваркнет да на дно — один разор тогда. Да будет, ваше сиятельство, вам известно, что деньги от казны за поставленное железо задерживают два, а то три года... Вот оно как!

Князь, внимательно слушая Демидова, прошелся по двусветному обширному залу; шаги его гулко звучали по паркету. Никита оглядел крытый штофом зал и подумал:

«Быстро город отстроили. Были землянки да избы, а теперь палаты добрые...»

Князь прервал думу Демидова:

— Сказывают, что ты пошлины не платишь?

— Верно,— отрубил Никита.— За поставляемые металлы в казну не плачу пошлин. Пошто я платить должен? Пошто другие заводчики — иноземцы Миллеры да Нарышкины — не платят, а я должен? Государь жаловал меня заводами, а об том в грамоте не указано, что должен я за казенное железо пошлину нести...

Долгорукий в раздумье покачал головой:

— Пожалуй, тут есть резон...

В зал вошел слуга — высокий статный старик с седыми бакенбардами. Камзол на слуге синего сукна, башмаки с пряжками, на ногах белые чулки.

Слуга поклонился; на иноземном языке что-то сказал князю.

Долгорукий кивнул головой и, оборотясь к Демидову, сердечно попросил:

— Княгиня приглашает к столу.

Князь взял Никиту под руку и повел через залу. У Демидова гулко заколотилось сердце. Он не чуял под собой ног. «К добру, к добру это!» — подумал Демидов, выпрямился, осмелел и пошел в княжьи покои...

Князь был высок, строен, немного тучноватый, с двойным подбородком; парик высился копной, отчего Долгорукий казался еще выше и грузней. Княгиня ж перед ним хрупка и мала ростом; глаза синие, волосы золотистые.

«Осподи, до чего прекрасна!» — восхищался Демидов и не знал, взять или не взять в свою шершавую ладонь протянутую ручку княгини. Пальчики были так тонки, розовы, что Никита подивился, как может жить человек с такими руками.

Хозяйка восторженно смотрела на Демидова, чем немало смущала его.

— Вот вы какой! Я так и думала, что богатырь!

Вокруг обеденного стола стояли хрупкие кресла, и Демидов не знал, куда упрятать свои большие ноги. Поражало Никиту, что царь живет проще своих приближенных. А у князя — разодетые холопы; на их руках белые перчатки; сказывали, только при иноземных дворах такая роскошь.

Демидов смущенно положил руки на колени. Княгиня, как вешняя птаха, щебетала самое пустое, а Никита и слов не находил. Мычал да поддакивал...

Ушел Демидов от князя усталый, разбитый, но осчастливленный. Всю ночь не приходил сон; думал Никита, чем бы отблагодарить князя за ласку и внимание...

3

Князь Василий Владимирович Долгорукий запросил генерал-фельдцейхмейстера Брюса, Адмиралтейство и Сибирский приказ, кто из заводчиков и по какой цене

поставляет в казну железо и воинские припасы. Запрос шел от канцелярии государя, и потому все не замедлили отписаться. Когда сопоставили цены, то оказалось, что многие железные припасы Демидов поставлял вдвое дешевле других заводчиков, и не нашлось у невьянского заводчика припасов, которые были бы дороже. Генерал-фельдцейхмейстер Брюс уведомлял, что невьянское железо Демидовых не уступает свейскому; сдавал его Демидов по шестнадцати алтын за пуд, а свейское покупалось по тридцать алтын, а ноне и в продаже нет. Дьяк Сибирского приказа Иван Чепелев в доношении о ценах добавил, что Никита Демидов за поставляемое в казну железо пошлин не платит потому, что в договоре о платеже их не написано.

Долгорукий не замедлил доложить царю Петру Алексеевичу об отписках. Царь сидел за столом, широко раскидав ноги; перед ним стояла кружка ячменного пива. Глаза царя были веселы.

— Ну вот, я сказывал,— торжествовал Петр Алексеевич: — Демидов умный и работяга. Наказать ему ставить для кораблей железо и якоря беспошлинно.

Слово Петра Алексеевича крепко; Долгорукий снова позвал Никиту Демидова и объявил ему о царской милости. Торжествовал Никита: все враги да сутяги повержены в прах. Он почтительно выслушал царское повеление, поднял жгучие глаза на князя и попросил:

— Дозвольте, ваша светлость, расцеловать вас. Век не забуду монаршую милость!

Демидов,не ожидая согласия, сгреб князя и трижды поцеловал его.

На столе лежали образцы металлов, и, указывая на них, Долгорукий сказал:

— Не заблагорассудится ли тебе, Демидыч, осмотреть эти металлы да цены свои сказать...

Никита сразу принял деловой вид, подошел к столу, взял образцы металлов, долго разглядывал их да расспрашивал — сколько чего потребно ставить Адмиралтейству.

— Так! Все сие могу в казну ставить в цене против других дешевле. Только бью челом государю: оберечь меня и заводишки от крапивного семени да указать, чтоб с железа и воинских припасов, кои в казну будут ставиться, пошлины не брать: дабы со стругов никаких оброков и на следах пропускного, привального да отвального, и мостовых, и с работных людей поголовных

денег не требовать. Опричь этого, прошу вашу светлость, дабы деньги за металлы выдавать без замедления, а по городам: Твери, Вышнем Волочке, Ладоге да в Санкт-Питербурхе дать поблизости рек пристойные дворы для склада железа, да чтобы железо то не залеживалось, а принималось казной скоро. Замедление вызывает караулы да лишние кормчие деньги, а это удорожает железо... И еще, ваше сиятельство, прошу я царя Петра Алексеевича подтвердить владения наши на Каменном Поясе... Вот и все; верой и правдой буду стараться я для своей отчизны...

Долгорукий терпеливо выслушал Демидова, улыбался. Нравился ему этот крепкий старик с быстрой сметкой. Однако князь любезно попросил Никиту:

— Те условия и доводы, Демидыч, доложу я государю. Ты подумай: может, от коих отречешься?

— Крепко думано, князь,— твердо ответил заводчик.— Слово мое мужицкое, а верное.

— Это приятно,— улыбнулся Долгорукий.— Верный человек — умные и речи... Что ж, попытка не пытка.

Демидов помолчал, встал, мялся в нерешительности: было очевидно, что он не все высказал.

— Еще что есть? — Князь поднял на Никиту серые глаза.

— Прошу прощения,— поклонился Демидов.— Не сочтите то за дерзость. Думаю еще бить челом государю и о том, чтоб ведали моими заводишками в канцелярии князя, дабы убытков никаких больше не было...

У князя на щеках выступил румянец. Он бережно взял Демидова за руку:

— Не знаю, что и говорить. Государь решит...

На том и расстались. Демидов вышел на улицу; из-за серых туч брызнуло солнце; заблестели вешние лужи. На дороге дрались воробьи; над Невой засинело небо. Никиту потянуло в поле, в лес.

— Не поеду домой,— махнул рукой Демидов и крикнул холопу: — Ты езжай, а я один поброжу.

По телу бодро ходила кровь, солнце пригрело; постукивая костылем, Демидов пошел к Неве. По реке плыли тупорылые баржи, груженные камнем, тесом. У Васильевского острова на мысу в утлом челноке финский рыбак ловил рыбу. Никита подошел к берегу; вода шла быстро. Демидов закричал рыбаку:

— Э-ге-гей, рыбарь! Плыви сюда, лешай!

Финн покорно поплыл на зов Демидова. Сильное те-

чение быстро сносило челнок, но проворный рыбак не сдавал, ловко пристал к берегу...

— Куда везти, господин? — спросил суровый, обвеянный ветрами финн. Во рту он держал трубку.

Демидов проворно вскочил в лодку, подумал: «Ишь ловок, козел. Знать, еще потягаемся со старостью». Тепло сказал финну:

— Ты, добр-человек, вези меня рыбу ловить. Ноне душа моя взыграла, хочу себя потешить. Вези!

Рыбак оглядел Демидова, пыхнул трубкой; видимо, остался доволен осмотром. Он оттолкнул лодку от берега. Ее подхватила быстрина реки и понесла...

Над взморьем голубело небо. Весь день Никита ловил с финном рыбу.

Усталый и промокший, он вернулся домой и, подавая стряпухе свежих окуней и плотву, весело оскалил крепкие зубы:

— Уху ставь! Эх, и наголодался старик порядком...

Стряпуха подивилась перемене в Демидове.

— И с чего это он, сивый бес, тешится? — украдкой поглядела она на приказчика.

Тот понял ее взгляд, толкнул ее локтем в бок:

— Помалкивай! Царь, знать, новую милость к хозяину проявил. Вон оно что...

Через два дня князь Долгорукий объявил о царской милости: государь принял все условия Демидова и приказал снять аресты с опечатанного железа и препятствий заводчику не делать, а ведать его делами положил канцелярии князя Долгорукого...

Вспомнил тут Демидов хрупкую синеглазую княгиню с золотыми волосами. С утра забрался он в заветную кладовушку, где хранилась сибирская рухлядь. С большой старательностью и сердечностью отобрал Демидов лучших соболей. Долго любовался ими, ласкал ладонями, вздохнул: «В самый раз княгинюшке будут...»

Самолично он уложил соболей в короб и отвез подарок. Князь и княгиня не опомнились,— Демидов выложил добро перед хозяевами и бухнулся перед хозяюшкой в ноги:

— Матушка-красавица, прими соболей от чистого сердца. Обрадуй! За приветливость да за ласковость преподношу...

Князь не знал, что делать, а проворная синеглазая княгиня нежданно-негаданно обняла Никиту за шею и поцеловала его в лоб...

Глава пятая

Война со шведами продолжалась, но 27 июня 1709 года произошло решающее событие — Полтавская битва. Шведы были наголову разбиты и более не могли оправиться. Русские научились бить шведов.

Россия становилась могущественной и непоколебимой. Но, несмотря на это, государь по-прежнему метался из одного края отчизны в другой. В трудах, без отдыха шли его дни.

Летом 1715 года государя посетила радость: Екатерина Алексеевна родила сына, нареченного Петром. Случилось это событие ровно в полночь. До бесконечности обрадованный царь побежал в Адмиралтейство, чтобы возвестить об этом городу колокольным звоном. Но Адмиралтейство в эту пору оказалось запертым, а часовой грозно окрикнул Петра Алексеевича:

— Кто идет?

— Государь,— просто ответил царь.

— Нашел, что сказать! — насмешливо отозвался солдат: — Да разве узнаешь его теперь. Пошел прочь! Отдан строгий приказ не впускать никого.

Петр Алексеевич спохватился: им действительно был отдан такой приказ. Хоть солдат оказался грубым, но точное исполнение его приказов обрадовало царя.

— Слушай, братец,— улыбаясь, сказал он часовому,— я действительно отдал такой приказ, но я же могу и отменить его.

— Тебе, вижу я, хочется меня заговорить. Не удастся то! Проваливай-ка, не то я тебя спроважу посвоему!

Царь был в хорошем настроении. Суровость солдата его веселила.

— А от кого ты слышал такое приказание? — спросил он.

— От моего унтер-офицера,— ответил часовой.

— Позови его! — приказал Петр.

Солдат на этот раз послушался, вызвал унтер-офицера. Государь объявил, кто он, и потребовал, чтобы его впустили на колокольню. Унтер-офицер строго оглядел царя и отказал наотрез:

— Нельзя! Никого не смею пропустить. Будь ты даже действительно государь, все равно не войдешь!

— Кто отдал тебе такой приказ? — не отставал Петр Алексеевич.

— Мой командир! — ответил унтер-офицер.

— Позови его и скажи, что государь желает с ним говорить! — приказал царь.

Явился офицер. Государь обратился к нему с той же просьбой. Офицер учтиво попросил Петра обождать и приказал принести факел.

При свете он увидел, что перед ним действительно стоит царь. Без дальних слов он отпер двери на колокольню. Не входя в объяснение, царь прошел к иконам, истово перекрестился, а затем, взобравшись на вышку, стал усердно звонить в колокола.

Спустя четверть часа он слез с колокольни и прошел в казарму, куда вызвал караул. Перепуганные часовые стояли ни живы ни мертвы перед царем. Государь улыбнулся им. Он кивнул часовому.

— Быть тебе ныне унтер-офицером, а тебе — сказал он унтеру,— числиться офицером!

Петр Алексеевич прошелся по казарме, остался доволен порядком и чистотой в ней. Уходя, он сказал:

— Продолжайте, братцы, и впредь так же строго исполнять мои приказания и знайте, что за это вас ожидает награда...

Царь искренне радовался наследнику, беспрестанно обнимая супругу, ласкался: «Катеринушка, друг мой сердешненькой...»

По случаю великой радости государь задал бал в новом летнем дворце. Среди развесистых лип мелькали светло-желтые стены дворца и высокая железная крыша с жестяным флюгером.

Огромный сад простирался от Невы по Фонтанке и Мойке. В нем спешно отстроили галереи для танцев; там же возвели зверинец, где содержались невиданные заморские звери; был построен слоновый дворец; шумели фонтаны, а вода в них шла из невского протока. Напротив летнего дворца, на другом берегу Фонтанки-реки, высилась верфь: там государь строил невскую флотилию.

Никита Демидов ко дню крещения царевича вызвал с Каменного Пояса Акинфия. Приехал сын с большими дарами: обоз был гружен соболями, черно-бурыми лисами, в сундуках уложены были редкие уральские самоцветы и драгоценные металлы.

В день крещения Демидовы обрядились в новые бархатные кафтаны с брюссельскими кружевами, на ноги натянули шелковые чулки и башмаки с серебряными

пряжками. Никите подровняли бороду; в ожидании отъезда ходил он по горницам и подолгу разглядывал себя в зеркале. Хоть бархатный кафтан иноземного покроя был Демидову непривычен и башмаки легки, однако старик ухмылялся в бороду: «Хорош, лешай! Эк вырядился!» Его подхлестывала мысль: «Смел ли думать тульский кузнец Никита Антуфьев быть гостем царя? Эх-хе-хе, вон куда вознесло!»

Одно смущало Никиту: шелковые чулки с бантами больно тонки. «Не лопнули бы?» — с опаской поглядывал он на них.

Акинфий, широкоплечий, с крепкой костью, обрился гладко, надел пышный парик, держался важно и самонадеянно. Батька радовался: «И отколь только важная осанка у сынка взялась?»

Демидовым подали карету, запряженную четырьмя рысистыми конями. Впереди скакали форейторы, крича: «Пади! Пади!» На запятках кареты стояли два разодетых молодца. Экипаж выехал на набережную Невы.

По реке сновали буера, закрытые гондолы: петербургское дворянство и жители по-своему праздновали этот день. В парке горели тысячи плошек, фонарей, пылали смоляные бочки. У Демидовых разбежались глаза от огней и великолепия. Однако Никита сохранял спокойствие; степенно вылез из кареты и, припадая на правую покалеченную ногу, вошел во дворец; сын Акинфий с важным видом следовал за отцом.

В огромном зале сверху спускались золоченые люстры, сверкал хрусталь. «Наш, уральский»,— с гордостью подумал Демидов. На стенах, крытых голубым штофом, огнями поблескивали бронзовые бра. Гостей набралось много. С горделивым видом расхаживали вельможи в расшитых золотом кафтанах, полковники лейб-гвардии, моряки; немало было тут иноземцев — шкиперов да купцов голландских и английских. По залу колыхались сизые волны табачного дыма; гудел разноплеменный говор. Среди гостей Демидов приметил княгиню Долгорукую. Она шла по зале под руку с князем, высоко держа голову. Завидев Демидова, княгиня приветливо улыбнулась ему. Никита низко поклонился, разгладил бороду и оглянулся на Акинфия, словно хотел этим сказать: «Гляди, сынок, с кем ноне дружбу повели Демидовы».

Никита ощущал в себе невиданную бодрость; он поднял голову и твердым шагом уверенно пошел вперед.

Из соседней палаты шумной толпой высыпали гости в париках, в бархатных кафтанах, в лейб-гвардейских мундирах; среди них был юркий купец в поддевке, стриженный по-кержацки; волосы его были смазаны коровьим маслом. Впереди всех в зал шагнул царь Петр.

— Петра Ляксеич! — ахнул Демидов и устремился навстречу царю.

— Демидыч, да ты все еще орел! — обрадовался царь. Увидев Акинфия, государь обнял и его, облобызал: — Ну, спасибо, спасибо, Демидовы, выручили отчизну. Знатно били ваши пушки под Полтавой. Жалуйте, господа, сих гостей! — Царь взял за талию Никиту и улыбнулся.

Гвардейские офицеры, вельможи в бархатных кафтанах окружили царя и Демидовых.

Петр Алексеевич, блестя зубами, радостно сказал:

— Не токмо мои друзья они, но и первые помощники отчизне. Знайте и то, что не только воины наши решили исход Полтавской баталии, но и сии мужи со своими уральскими людишками.

— Царь-батюшка! — вскричал Никита.— Премного осчастливлен я тобой и всегда таил глубокую веру в твое правое дело.

На глазах Демидова блеснули благодарные слезы.

К заводчику протискался загорелый плотный капитан-бомбардир с калмыцкими косыми глазами, в темно-зеленом мундире; он схватил Никиту за руку и пожал ее:

— Премного благодарствую, ваши пушки знатно били свеев! Добры пушки, добры!

— Я счастлив, господин офицер, служить царю и отчизне.— Демидов проницательно посмотрел в лучистые глаза бомбардира.— То не пушки побили свеев, а ваша храбрость!

В эту минуту с верков крепости грянули орудия; на Неве брызнул разноцветный фейерверк.

Гости волной хлынули в обширный покой, где стоял накрытый большой стол, обильно уставленный яствами и винами.

Государь уже был тут; рядом с ним стояла пышная, румяная царица Екатерина Алексеевна. Высокая, ширококостая, она была чуть пониже, государя; большие осененные густыми ресницами глаза ее излучали тепло и ласку. В руках она держала завернутое в шелк и в кружева дитя. Царь со счастливым лицом поглядывал

то на супругу, то на сына. Кареглазый калмык-бомбардир, что в зале подходил к Демидову, теперь стоял позади государя, и, только гости разместились за столом и взялись за чары, он первый поднял свою и закричал счастливо:

— За матушку нашу Екатерину Алексеевну да за царевича Петра Петровича — виват!

В сердце Демидова, как в горне, вспыхнул огонь, разом всего охватила радость; он рявкнул что было силы:

— Ура!

Сынок Акинфий не отстал от бати: от его крика в люстрах дребезжали хрустальные подвески.

Государь подошел к супруге, при всех бережно обнял ее и расцеловал:

— Спасибо, Катеринушка...

Гости что было мочи кричали:

— Виват! Виват!

Когда поуспокоились, царь взял из рук супруги дитя в одной распашонке. Плотный розовый ребенок сучил пухлыми ножками. Государь высоко поднял его над головой:

— Други, выпьем за будущего адмирала российского флота. Виват!

— Виват! — от души, от чистого сердца прокричали гости.

Испуганный ребенок горласто заревел. Демидов крякнул:

— Силен! Здоровущ будет. Весь в отца.

Государыня засияла от счастья.

Никита, уловив минутку, моргнул сыну Акинфию. Тот незаметно вышел из-за стола и ушел в соседнюю горницу. Демидов, хитро сощурив глаза, поглядывал то на царя, то на царицу.

Прошло немного времени; восторженные крики «виват» понемногу стихли. Тут неожиданно распахнулись широкие двери, и показались крепкие молодцы — демидовские слуги. Они внесли на серебряных блюдах и подносах горки червонцев, драгоценных камней-самоцветов, соболей и меха черно-бурых лисиц.

Демидов встал, погладил черную бороду и подошел к Екатерине Алексеевне. Царь, удивленно посмотрев на Демидова, передал младенца супруге. Гости притихли, тоже с любопытством выжидая.

Молодцы с дарами степенно приблизились. Никита пал перед Екатериной Алексеевной на колени:

— Матушка-государыня, прими он нас «на зубок» царевичу Петру Петровичу невеликий дар — сто тысяч рублев!

Лицо царицы зарделось, она переглянулась с царем и, опустив темные веселые глаза, еле заметно улыбнулась ему уголком пухлого рта. Но вдруг она быстро подняла взор и взглянула на Демидова, а затем, как бы смутившись, снова быстро прикрыла лукавые огоньки в глазах густыми ресницами. Царь засмеялся, взял Демидова за плечи, поднял с колен.

— Демидыч, благодарствую. Ну,— Петр Алексеевич подтолкнул Никиту в спину,— целуй царицу!

— Ух ты! — У Демидова дух занялся, все на него глядели с завистью и подбадривали. Он утер губы и потянулся к царице; она просто, без жеманства, поцеловала Никиту.

Царь радушно спросил туляка:

— Ну, Демидыч, проси: чего хочешь?

— А мне и хотеть для себя нечего,— поклонился Никита Петру Алексеевичу.— Всем ты, государь, наделил нас да людьми сделал. Одного я хочу, Петр Ляксеич, премного хочу, чтобы царевич в отца вышел. Народу да отчизне добрая голова нужна, государь!

— Демидыч, голубчик...

Государь налил два кубка, один взял сам, другой поднес Демидову:

— Ну, пьем за здоровье будущего хозяина!

Никита не мог отречься от кубка, махнул рукой, крякнул и выпил чару.

Кругом кричали «виват».

Акинфий сидел за столом и любовался царем Петром Алексеевичем и батькой.

В летний погожий день возвратились Демидовы на Каменный Пояс, в далекий Невьянск. В крепостце палили из пушек, звонили в колокола. Мосолов встретил хозяев хлебом-солью, поздравил их с царской милостью. Двор от ворот до красного крыльца устлали бухарскими коврами. Сидел Никита Демидов в колымаге, важно отвалившись, зорко поглядывая на народ. Согнанные приказчиком работные люди да кабальные кричали «ура!»...

В славе и могуществе возвратились на Каменный Пояс хозяева Демидовы...

Глава шестая

I

Никита Демидов был на верху благоденствия; заводы поставляли в казну огромные обозы военных припасов, пушек, ружей. И никто не мог соперничать с дешевыми демидовскими ценами.

Жадно прибирали к рукам рудные земли Демидовы. На Тагилке-реке отстроил Никита Демидов Нижне-Тагильский завод. У горы Высокой, железного клада, дымили домны. Отстроил хозяин каменные хоромы, похожие на дворец. Старик полюбил эти уголки; кругом скалы, извилистая голубая река и широкий пруд с зелеными островками, и хозяйничал он тут сам, а сынки: Акинфий — в Невьянске, желчный и злой Никитушка — в Шайтанском заводе. Никиту Никитича женили, подыскали разоренную, захудалую дворянку, но семейной жизни так и не сладил этот бесталанный человек; он свирепо избивал жену и без всякой нужды — рабочих. От раздражительности Никита Никитич высох, глаза ввалились, на голове рано стали редеть волосы. Одного батюшку только и побаивался Никитушка. Когда тот наезжал в Шайтанский завод, сынок притихал и тайком тянул хмельное. Глядя на сына с желтым, испитым лицом, с реденькой мочальной бородкой, Никита-отец сокрушался: «Эх, уродился ни в пень, ни в колоду! И отколь только у него беспричинная лютость?»

Для защиты заводов от башкирских набегов Демидовы построили крепостцы, вооружили их пушками; по царскому указу они держали в них своих ратных людей.

Царствовали Демидовы на Каменном Поясе.

Стоустая молва разнесла по России были и небылицы об удаче и счастье Демидовых, об их несметных богатствах.

Вслед за ними на Каменный Пояс хлынули расторопные люди; они сыскивали руды. Среди этих предприимчивых людей числились именитые Строгановы, Турчаниновы, Осокины, позднее появились Всеволжские.

Между заводчиками шли ожесточенная драка и захваты. По скрытым тропам и дорожкам сидели демидовские заставы: они ловили крестьян, стращали; тех, кто об открытой руде сообщал в казну, хватали и пороли, битых ссылали на рудники, а оттуда оставалась одна дорога — на погост.

На открытых рудных землях, в глухих чащобах заводчики Всеволжские ставили приисковые избы; драчливые и смелые демидовские ватаги во главе с каторжным Щукой налетали и с боем переносили рубленые избы Всеволжских на другое место.

Демидов всюду поспевал; особенно он старался подорвать и без того слабые казенные заводишки. Щука с разгульными ватагами нападал на угольные курени казенных заводов, разорял их, разгонял рабочих...

Воеводские увещевания Демидовых не помогли; делать было нечего, тобольский воевода написал в Санкт-Питербурх обстоятельный доклад о том, что казенные домны хиреют, убыточны и что Демидовы безмерно плутуют,— того и гляди совсем прикрывай государевы заводы. После немалых волокитств и канцелярских отписок доклад тобольского воеводы попал президенту Берг-коллегии, фельдцейхмейстеру графу Брюсу. Царь Петр подбирал людей башковитых: фельдцейхмейстер обладал ясным умом, острым рассуждением и твердостью; ведал он одновременно и артиллерией и горным делом.

Доклад воеводы навел генерала на глубокую думку.

«Ежели казенные заводы станут, будет плохо,— рассуждал господин президент.— На Каменном Поясе действуют заводы казенные и демидовские; руда — одна. У государства больше простору и хватки. Так отчего же казенные заводы падают? Дело, знать, в людях. У Демидовых — добрые головы, хваткие руки, а у чиновников — заячья душа да беззаботность. Вот оно что! Выходит, надо отыскать сметливого да добросовестного человека, который разумел бы толк в горном деле да в литье металлов».

Долго раздумывал граф Брюс над тем, как помочь делу. Знал он такого человека: это был артиллерист Татищев. На вопрос государя, кого поставить управлять казенными заводами, президент и указал на этого скромного, но дельного капитана.

Василий Никитич Татищев был просвещенный человек и занимался не только артиллерией, но и гуманитарными науками. Он прилежно собирал и изучал древние летописи, как русские, так и иноземные. В ученом труде ему помогало хорошее знание языков: немецкого, латинского и польского. Мечтал Василий Никитич написать обстоятельную «Историю российскую с древнейших времен» и прилежно, в свободные часы, зани-

мался этим. Познания и ум будущего историка были весьма обширны, и обогатились они заграничным путешествием, которое он совершил по указу царя.

Как артиллерист и фортификатор, Татищев участвовал во взятии Нарвы и в Полтавской баталии, где и был отмечен Петром Алексеевичем. И когда граф Брюс указал на Василия Никитича, царь охотно согласился с ним.

В марте 1720 года последовал царский указ Татищеву: повелевалось капитану в Сибирской губернии и других местах, где сыщутся удобные руды, строить заводы, из руд серебро и медь плавить, приглядывать за частными заводами, чтобы все делали разумно и по закону, о государственных доходах заботились и пошлину платили исправно...

Весной вновь назначенный начальник горных заводов капитан Татищев тронулся на Каменный Пояс. Дорога была дальняя. До Москвы Василий Никитич доехал ямскими, а с Москвы до Казани добирался на струге. Весна стояла буйная, зеленая, каждая травиночка радовалась жизни, солнце подолгу не сходило с неба, и плыть была одна отрада. От Казани-города Татищев на лошадях добрался до Башкирии, пересек ее и въехал в город Кунгур. Кругом кочевали неспокойные башкирские ро́да, часто они совершали набеги на русские городки, и Кунгур поэтому был обнесен обветшалыми деревянными стенами. При взгляде на них Василий Никитич улыбнулся, так все выглядело убого и беззащитно. Еще более он удивился и остался недоволен, когда побывал на Кунгурском медеплавильном заводе. Домны потрескались.

Работали у домен и в рудниках дальние мужики, а среди них было немало таких, которые знали только пахотное дело, а на рудники смотрели как на каторгу. Богатых руд поблизости не отыскалось. Крестьяне неохотно добывали ее и еще с большей неохотой доставляли на завод.

Василий Никитич хорошо понимал, что при отсутствии медных руд завод долго не просуществует. Он призвал двух томских рудоискателей и стал расспрашивать о добыче руд на Алтае. Рудокопщики охотно разговорились и рассказали о богатстве алтайских серебряных и медных руд.

Василий Никитич почувствовал, что в горщиках проснулась любовь к делу. Он и сам заговорил с ними

приветливо, ласково и, когда попросили отпустить домой, охотно исполнил их просьбу, взяв с них слово искать руды на Алтае...

2

В конце декабря 1720 года капитан Татищев, назначенный начальником горных заводов, прибыл к месту службы в Уктусский завод. Явился Василий Никитич в свою новую резиденцию без пышности, в простых крестьянских санях-пошевнях. На дне коробка лежал весь его немудрый скарб: чемоданчик с бельем, перчатки и парадный мундир. Кроме белья, в чемодане, в особом свертке, хранилось несколько книг по географии, истории и тетрадка с записями. Рабочие издали наблюдали за капитаном; он проворно вылез из телеги, сухощавый и крепкий, зорко огляделся. На капитане надет порыжевший от солнца мундирчик, сверху полушубок, сам он слегка желтолиц, глаза калмыцкие, в походке легок.

— Быстр! — определили рабочие.— Поглядим, как с Демидовыми драться будет!

В первый же день Василий Никитич прошел в литейные, где мастера разливали по формам расплавленный чугун, взял ковш у работного и сам стал разливать. Мастеровым это понравилось.

— Почему завод так опустили? — сурово спросил у них горный начальник.

— Да нешто мы тут при чем? — пожаловались работные.— Издавна на казенных заводах на Камне такие порядки. Никто по-настоящему здесь делом не интересуется. Приедет чин, нахапал — и подале отсюда. А мы дело любим! — простодушно признались они.

Уктусский завод приходил в явный упадок, работа на нем почти прекратилась. Железо, выпускаемое заводом, было ломкое, все отказывались от него. Работные понемногу разбредались кто куда. Многих переманил к себе Демидов. Леса в окрестностях почти все повырублены, плотина стала ветхой, того и гляди смоет ее в вешнее половодье. Домны полуобвалились.

Глядя на эту бесхозяйственность и заброшенность, Татищев почувствовал, что у него защемило на сердце. Тяжело будет работать. Но он был не из тех, кто отступает перед первыми трудностями.

О себе он мало думал. В управительском доме Василий Никитич занял одну горенку и зажил холостяком.

До Татищева у правителя заводов собирались частенько гости, баловались домашними настойками. И на сей раз местный пристав пожаловал к горному начальнику. На стук из сеней вышла бойкая и злая на язык баба.

— Василий Никитич ноне не в духе, с ночи шибко занят делами. Велено передать извинение!

— Шишига! Кш, ведьма! — пригрозил пристав, но баба все-таки не пустила его в горницу.

Обескураженный полицейский повернулся и, покраснев от гнева, ушел...

Спустя неделю капитан объехал уральские края. В глаза бросалось, что старые и новые демидовские заводы были отстроены в самых выгодных рудных местах и кругом шумели неоглядные леса. Казенные заводы хирели, постепенно все рушилось, не было хозяйского глаза.

Татищев не сдался. Оглядевшись, он проехал на реку Исеть, верст за семь от Уктусского завода, долго любовался лесистой долиной. Горы здесь невысоки, скаты пологи; взору открывался широкий простор. Ехал с капитаном бойкий писец. Капитан, указывая на долину, сказал писцу:

— Ноне тут отстроим город и завод!

Голос начальника звучал уверенно, но писец все же не утерпел:

— А кто строить-то будет? Людей нет, а сколько есть, и те перебегают к Демидову.

— Люди будут, а Демидову накажем настрого беглых не держать.

«Поживем — увидим,— с насмешкой подумал писец.— Демидов-то мужик хитрый, не скоро его обойдешь».

Начальник объехал горный перевал и вернулся в Уктус весьма довольный.

С каждым днем писчик диву давался: капитан наказал строить в Уктусе школу, и теперь плотники рубили обширный дом из смоляного леса. Между тем капитан объехал казенные заводы; всюду его поражала мерзость запустения. Правители вели хозяйство нерадиво, сами расхищали казенное добро, а то просто сбывали Демидовым.

Весной капитан получил из Берг-коллегии приказ. Этим приказом запрещалось Демидовым копать близ Уткинской слободы медную руду. Кроме того, завод-

чику строго запрещалось принимать на работу пленных шведов, а также русских мастеровых и крестьян, бежавших с казенных заводов. Читая этот приказ, писчик догадался:

«Это непременно дело рук капитана. Есть закорючка Демидову!»

Акинфий Демидов сидел в своей Невьянской крепостце, торопил литье чугуна; за делами прослышал о приезде начальника горных заводов.

Разузнавший все приказчик Мосолов доложил хозяину:

— Капитан тот боек, проворен; ко всему, надо полагать, разумеет заводское дело. Сам я ездил тайно в Уктус, дознал: строит он школу да хвалится заложить на речке Исети завод. Видать, человек хваткий, до всего руки тянет!

Акинфий помолчал, уставился серыми холодными глазами на приказчика и сказал раздельно:

— Ты, Мосолов, запомни: на Каменном Поясе одни хозяева есть и будут — Демидовы! Капитанишка нам не указ; сам царь-государь над нами управа, и никто боле!

Мосолов отвел хитрые глаза в сторону, вздохнул:

— Э-хе-хе! До бога высоко, до царя далеко, а капитан сей рядом. Опасаюсь, хозяин, как бы бед он нам не наделал.

— Мы еще поглядим, кто кого! — пригрозил Акинфий.— Батюшка и не таких скручивал...

— Дай-то бог, дай-то бог, Акинфий Никитич, а все ж таки капитан этот необычный: он начальник горных заводов.

Демидов насупился, не ответил. В душе он уже поджидал, когда сойдутся дорожки его и капитана. «Посмотрим, что за птица, а потягаться ради скуки можно...»

Чтобы показать свою власть на Камне, он призвал наглого варнака Щуку и велел ему совершить набег с ватагой на казенный рудник. Мосолову хозяин настрого наказал сманивать работных с Уктусского завода и творить неприятности капитану. Услужливый приказчик по деревням и селам пустил слух: «Капитан-де строит избу, соберет робят малых в ту избу и почнет антихристовы клейма класть. Вот оно как!»

Бабы от страшных вестей выли в голос, не хотели отдавать ребят в школу...

3

В лесной глухомани, среди скал у реки Чусовой, бородатый кержак-рудознатец напал на медные руды. Капитан Татищев обрадовался, принял рудознатца приветливо и, не мешкая, на другой день отправился в горы. Место капитану понравилось: с гор открывался далекий простор, внизу серебрилась быстрая Чусовая, невдалеке шумел бор. Татищев заметил: руды были богатые.

Рудокопщика наградили, отпустили с миром. Через неделю из Уктусского завода капитан прислал рабочую артель; из смоляной сосны срубили бараки, пробили в горах шахту и стали добывать руду.

Рабочие трудились от темна до темна, наломили горы руды. Капитан помышлял сплавить руду по Чусовой на завод, но тут приключилась непредвиденная беда.

Темной ночью варнак Щука привел демидовскую ватагу и захватил шахту. Ватажники связали приказчику на спине руки, усадили его на чалую кобыленку и погнали в лес.

Щука объявил рудокопщикам — голос его был зол, вид свиреп, в руках плеть:

— Руды тут демидовские, кто дозволил рушить их? Попомните: кто супротив Демидовых идет, повяжем да бросим в Чусовую! Кто по добру желает под высокую руку Демидова? А кто не хочет — тому батоги припасены!

Работные, потупив глаза, молчали. Чубатый ватажник пригрозил:

— Аль пороть? Скидай портки!

Работные тяжело дышали, были потны; портки да рубахи на них рваные, бороды лохматые. Вперед вышел рослый дядька; он сжал кулаки:

— Вот что, не грози и плеть убери. Что приказчика в бор угнали, спасибо: сами думали в Чусовую его пометать. А на кого нам робить — все равно, хошь на беса, можно и на Демида!

Щука, глядя на горщика, позавидовал: «Эк, и здоровущ, дьявол!»

Крикнул работным:

— Ну, так робите, а жратва будет... Хлебушко да портки доставим. Вот оно как у Демидова!

Стоял мутный рассвет, от Чусовой поднимался ту-

ман, холодил тело. Мужики, почесываясь, нехотя опускались в шахту...

Несколько дней крутил татищевский приказчик по чащобам да гиблым местам. Чалая кобыленка притомилась; дороги не было. Донимали комары и гнус, а ночью пугал филин.

В одно утро кержацкие скитники увидали у ручья подохшую кобылу, а подле нее лежал неизвестный человек. Растолкали и дознались, кто он. Скитники и проводили приказчика до Уктуса.

Татищев в эту пору расхаживал по конторе и диктовал писчику доношение в Санкт-Питербурх; перо у писчика трещало, брызгало, он то и дело сажал на грамоту чернильные кляксы, и когда капитан поворачивался спиной, писчик проворно слизывал кляксы языком.

Дверь распахнулась, в контору ввалился приказчик. Татищев изумился: лицо заводского опухло, в ссадинах. Приказчик пошатывался; взор его был мутен. Капитан остановился посреди горницы, сдвинул брови:

— Никак хмельного нахлестался?

— Не довелось, господин капитан,— твердым голосом отозвался приказчик.— Беда стряслась!

— Неужто шахта обрушилась? — взволновался Татищев, кивнул головой: — Садись! Крепили плохо?

Приказчик скинул шапку, сел на порог и опустил голову:

— Не шахта обрушилась, а демидовские варнаки рудник забрали, а меня оттоль выгнали...

Худое желтое лицо Татищева вытянулось. Он с минуту молчал, потом скрипучим голосом спросил:

— Не пойму что-то. Рудник казенный, а Демидов тут при чем?

Приказчик криво усмехнулся:

— При том самом, при руднике. При ком сила — при том и рудник.

Капитан круто повернулся, забегал по горнице:

— Не может этого быть! Где это видано — государевы рудники разорять?

— У нас видано, у нас на Камне так! — Приказчик уныло почесал затылок.

Писчик юрким глазом поглядел на него, неприметно ухмыльнулся: «Эх, добро разделали!»

Татищев неугомонно бегал по комнате; неприятная весть задела капитана за живое.

Догадки сменяли одна другую:

— Не может этого быть! Ошибка вышла. Должно, не знали, что рудник казенный? Кто пошел бы! Не знают, с кем дело имеют... Пиши,— крикнул он писчику.— Пиши! Об этом надо самому государю донести...

Писчик выхватил из-за уха свежее гусиное перо, макнул в чернильницу и стал быстро писать...

Глава седьмая

I

В ноябре на реке Исети кержаки из Шарташа по приказу капитана Татищева расчистили из-под векового леса площадку; валили маячные сосны, тесали бревна и пластины и сносили их к речной горловине, где намечалась плотина. Одновременно запальщики рвали на шиханах камень, а кержаки по ледяной дороге везли его на площадку.

Лесорубы рубили дорогу-просеку на Уктус.

По селам и заимкам верхотурских и тобольских волостей рыскали посланцы капитана и зазывали на Исеть-реку охочих людей.

Акинфий Демидов по многу раз тайно наезжал на стройку и дивился настойчивости Татищева.

На одно надеялся Демидов: вокруг Исети полегли болота и мхи; весной, когда отойдет земля, откроются топи, загудят комары и гнус,— люди откажутся от затеи строить город-завод.

Но работа на Исети шла вперед.

Немало огорчало Демидова, что приходившие в упадок и в запустение казенные заводы с приездом Татищева выправились, повысили добычу руды и плавку металла.

Залютовал Акинфий, забедокурил.

Щука не слезал с коня, метался с ватагой по рудникам.

По наказу хозяина он с подводами разобрал и тайно увез с Точильной горы камень, заготовленный капитаном Татищевым для казенных заводов. То, что не мог увезти, Щука разбросал по лесу. Подоспела пора для литья, хватились камня, а его нет,— так и простояли заводы в бездействии немалое время.

Демидов похвалил варнака за озорство:

— Молодец, и далее так досаждай нашему ворогу!

Щука изо всех сил старался мешать татищевским людям.

В Невьянске делались для продажи весы. В ту пору на Уктусском заводе понадобились такие. Татищев немедленно выслал в Невьянск доверенного за весами, но Щука с ватагой встретил его, накостылял в шею и выгнал за ворота.

Капитан обозлился и потребовал заводчика к себе.

Акинфий прочел цидулку капитана, разорвал ее и потоптал ногами:

— Наказы мне пишет сам царь, а капитанов знать не знаем, ведать не ведаем. Демидовым зазорно кланяться всякой ясной пуговке...

Татищеву передали ответ заводчика. Капитан потемнел, но сдержался. Долго он думал, чем усовестить Демидова. Ко времени приспело дело: понадобилось учесть, сколько железа выплавляет Невьянский завод.

Решил капитан послать в Невьянск с поручением подьячего из уктусской конторы...

По санному пути подьячий выбыл в демидовскую вотчину. Душу подьячего обуревал страх. Однако по дорогам и в попутных демидовских заводах его встречали почтительно.

«Испугались, окаянцы»,— подумал приказный, и оттого смелость и важность овладели гонцом.

— Упеку! — грозил он.— Разнесу! Вот он — приказ.

Приписные крестьяне перед грамотой снимали шапки, а подьячий пуще ярился.

Однако дорога порядком-таки измаяла его; завидя синие дымки, он сладостно предвкушал баньку и настойки. То и дело он вынимал из камзола тавлинку и жадно засыпал в ноздри крупные понюшки табаку.

Вот и Невьянск. Возок остановился перед крыльцом, на дворе было пустынно, но в дальних углах на цепи рвались злые псы.

Старик Демидов осенью уплыл в Тулу; гостя вышел встречать Акинфий Никитич. Подьячий глянул на заводчика, похолодел: хозяин был плечист, одет в бархатный камзол; у рта легли резкие складки. Позади стоял варнак Щука.

— Добро пожаловать, ваше степенство,— развел руками Акинфий и поклонился.— Знать, с хорошими вестями. Не обессудьте, обычай у нас такой: пожалуйте в баньку, а там и откушать. Эй, варнак! — крикнул Демидов.

Щука выбежал вперед, перенял гостя, бережно взял его под локоток и повел в баню. Подьячий покосил глаза на Щуку, подумал: «Что, разбойник, присмирел при хозяине?»

Баня натоплена жарко, в ней чисто, скамьи выскоблены, вымыты. В предбаннике стол, на нем штофы с веселым питием. Подьячий облизнулся, потер ручки: «Превосходно!» Сам меж тем он строил догадки и ликовал в душе: «Что, спужались? То-то. Погоди, мы вам, окаянцы, узлов навяжем, хватит и в сенате работы развязывать...»

Подьячий сорок лет вершил канцелярские дела, опыт имел завидный, и никто лучше него не мог вести волокиту и отписки. Завязывал он узлы крепкие и до того путаные, что и сенатские борзописцы по многу лет сидели над разгадками и хлеб себе этим добывали.

Посланец присел в предбаннике на скамью. Лукавый Щука поклонился и спросил:

— Не знаю, дьяче, твоего пресветлого имени и величания по батюшке. Дозволь снять с тебя одежду и сапожки?

Гость поднял указательный палец с изгрызенным ногтем.

— Зовут меня,— с важной осанкой сказал подьячий,— Сосипатр Авеналович... Сосипатр — помни!

Он вытянул короткие ножки; Щука мигом сволок с них порыжевшие сапоги. Снял камзол, портки, развесил в предбаннике.

Варнак ретиво испарил приказного; тот обмяк, расслабился. После банного пару и закуски Щука обрядил гостя, взял под руку. Подьячий сладостно ухмылялся в бороденку:

— Теперь в постельку да роздых с пути-дорожки.

— Ну нет, погоди, хозяин ждет!

Подьячий вышел из бани. На крыльце поджидал Акинфий Никитич, в руке он держал плеть. По осанке хозяина гость догадался: не к добру встреча. «Не угостил бы другой банькой!» — опасливо покосился гость.

У него задрожали ноги: еле подошел к крыльцу и поклонился.

— Ну, приказный, зачем пожаловал? — грозно поглядел на посланца Демидов.

— Повелено мне дознать,— подьячий, искоса поглядывая на плеть, пугливо отодвинулся подальше,— по какому праву ваша милость сманивает людишек с казенных заводов? Пошто зоришь государевы заводы, народ утесняешь?

Приказный вынул свиток и подал Акинфию.

— Что это? — спросил Демидов и крепко сжал губы.

— Это указ капитана Татищева.

— Капитанский наказ мне не порука, а читать его не буду.— Акинфий зло бросил свиток на землю.— У твоего капитана один указ, а у меня в руках другой указ — государев. Ведай это и честь знай!

Демидов сердито повернулся спиной и гаркнул Щуке:

— Гони его, сутягу, пока псов не растравил!

Тяжелой походкой хозяин медленно удалился в покои. Щука сошел с крыльца, уперся руками в бока:

— Слышал, приказная крыса, что баил хозяин? Эй, давай езжай со двора, старый кошкодав, а то прибью!

Подьячий втянул голову в плечи, съежился: «Вот напасть свалилась! Пронеси, господи!»

К нему подкатили сани. Приказный поспешно взобрался в них и, толкая в спину возчика, крикнул:

— Шибчей гони! Не видишь, что ли?

По дороге за санями закрутилась снежная пыль; у подьячего от страха выступил холодный пот.

В хоромах у окна стоял Акинфий Никитич и похохатывал:

— Уносит ноги крапивное семя. То-то! Это тебе Демидовы. Знай!

Рано радовался Демидов. Не такой человек был капитан Татищев, чтобы от своего отступить.

«Погоди ж ты! — пригрозил он про себя Акинфию.— Заставлю почитать порядок!»

По зимним дорогам к демидовским заводам тянулись обозы с камским зерном; по тайным тропам бежали на заводы сманенные демидовскими приказчиками работные с казенных шахт.

Капитан Татищев отобрал крепких молодцов, вооружил их мушкетами, сабельками и выставил на бойких

дорогах воинские заставы. Они задерживали груженные хлебом подводы и беглецов с казенных заводов.

Капитан на мохнатом башкирском коньке в злую зимнюю непогодь, в бураны сам объезжал выставленные заставы и не давал спуску нерадивым.

Демидовские заводы оказались отрезанными от хлеба. На камских пристанях и на Чусовой от зерна ломились амбары, а на заводах работные доели последние крошки. Начался голод.

Акинфий зверем метался по дорогам, но везде стояли крепкие воинские дозоры; заводчика пропускали, а хлеб — нет.

Демидов осунулся, потемнел. В ярости он грозил врагу:

— Расшибу!

Но сам Акинфий Никитич понимал напраслину своих угроз. Напасть на воинские караулы было опасно, да и для работных людей зазорно. Это обозначало бунт против царя-государя. Кто знает, может капитан Татищев и думает подманить заводчика на разбой, а потом учинит над ним беспощадную расправу, как над бунтовщиком и татем?

«Эх, перегнул, никак! — закручинился он.— Надо бы с батюшкой прежде потолковать, а после уж ввязываться в грызню с тем волком...»

Меж тем на заводе у обжимных молотов стали падать истощенные голодом работные. Ни плети ката, ни угрозы хозяина не пугали больше: голодному оставалась одна смерть.

По ночам в завывание метели вплетался скорбный собачий вой. Чтобы не сеять смятения, погибших от голода отвозили на погост ночью.

Акинфий Никитич послал на́рочного в Тулу к отцу, просил совета...

В январе из Санкт-Питербурха пришел указ. Обрадовался Акинфий: думал, капитана Татищева резонят за крутые меры, за задержку заводского хлеба. Гонца накормили, напоили, хозяин ушел в горницы и вскрыл пакет.

Берг-коллегия наставляла Демидова быть послушным законным требованиям Татищева, писать ему доношения, а кроме всего прочего, особых указов себе, Демидову, от коллегии не ожидать.

Кровь бросилась в лицо Акинфию, он хватился за кресло, балясины кресла под злой и могучей рукой хо-

зяина хрустнули и рассыпались. Демидов ожесточенно изорвал указ и тяжелым шагом в глубоком раздумье заходил по горнице.

Через два дня в Невьянске понадобился горновой камень. Татищев указал заводчикам, что Точильная гора — государственная и отпуск из нее горного камня производится только по его разрешению. Как ни вертелся Акинфий, а пришлось ему написать капитану о своей потребности в камне.

Ответ последовал на третий день. Татищев сообщил Демидову:

«Отписку вашу, сударь, не признаю. Велено заводчикам писать донесениями, без такового решить вопроса не могу».

Еще пуще разъярился Акинфий и со злой иронией написал капитану:

«Просим Вашего Величества о рассмотрении моей обиды и о позволении ломать камень».

Татищев и в этот раз не уступил.

«Такая честь принадлежит только великим государям,— хладнокровно ответил он и напомнил Демидову: — Оное я уступаю, полагая незнание ваше, но упоминаю, дабы впредь того не дерзили».

Каждый день капитан Татищев давал о себе знать рассвирепевшему заводчику. То он настойчиво требовал «пожилые деньги» за беглых крепостных и настаивал возвратить этих крепостных помещикам, то напоминал о том, что с выплавляемого железа пора платить государеву «десятину» — пошлину по копейке с пуда. До Невьянска донеслись слухи, что капитан задумал заново обмерить земли и рудные места, захваченные Демидовыми. Но горше всего было неуклонное требование вносить пошлины за хлеб, а до тех пор дороги держались под строгим караулом. Забеспокоился Акинфий, сильно забеспокоился.

«Что теперь делать? — спрашивал он себя.— Кругом заставы, а народ от бесхлебья мрет! Наделал я своей поспешностью корявых дел. Эх!»

В горнице под каменными сводами гулко разносились шаги. Постепенно к Акинфию возвратилось спокойствие.

В полночь хозяина разбудил Щука: в умете на большом перепутье демидовские ватажники подкараулили и перехватили татищевского гонца с жалобой на Демидова.

Акинфий Никитич с помятым лицом поднялся с постели, накинул на плечи шубу и босой вышел в горницу. У порога, понурив всклокоченную голову, стоял бородатый мужик и мял в руках заячью ушанку. Завидя Демидова, мужик брякнулся на колени.

— Кто послал тебя? — грозно спросил Демидов.

— Невиновен я. По указу капитана...

— Разоблачить!

Щука с двумя дюжими холопами сорвал с мужика дырявую свитку, пимы, портки из крашенины. Гонец покорно лег на скамью, попросил жалобно:

— Родимые, бейте хушь не до смерти. Повинен, мой грех; семья оголодала; за пуд ржанины понес письмецо...

Акинфий сел в кресло; на холодном полу стыли ноги. Щука засучил рукава и сыромятным ремнем полосовал поверженного мужика. Тот закусил руку и молча переносил свирепое битье. На обожженном ветрами и морозами лице мужика недобрым огнем сверкали угрюмые глаза.

В сенях на нашести пропел поздний кочет. Избитого гонца схватили под руки и поволокли в терновку.

Прошло немало дней; январь стоял на исходе; о гонце не было ни слуху ни духу. Капитан после этого послал с доношениями еще двух гонцов, но и те словно в воду канули: как выехали из Уктуса, так и не вернулись...

2

В конце февраля по талому снегу на Каменный Пояс приехал исхудалый Никита Демидов. Когда возок остановился перед хоромами, Никита торопливо откинул полсть, вылез и, как был, в волчьей шубе, пошел прямо к заводу. У каменных амбаров под снежной порошей лежал ворох рогож.

— Для чего напасли? — ткнул костылем в рогожи Демидов.

За Никитой по пятам следовал вездесущий Щука; он угрюмо пробурчал:

— Бесхлебье донимает, господин. Народишко мрет, так мы в кули — и на погост. Сил наших нет...

Никита погладил поседевшую бороду, посмотрел вдаль:

— Так! Довоевались, сукины дети! Испороть бы тебя да Акинфия — за гордыню...

Старик вошел в литейную. В полутемном корпусе народ бродил тревожными тенями. Люди исхудали, обессилели, работа валилась из рук. Завидя хозяина, рабочие повеселели, поясно кланялись Никите. Хозяин покрикивал:

— Здоро́во, работнички! Что, натужно на бесхлебье-то?

— Натужно,— согласились литейщики,— до весны не дотянем, хозяин. Перемрем!

— Это еще как! Бог не выдаст — свинья не съест...

Демидов из литейной прошел в хоромы. В любимой стариком мрачной горенке поджидал отца Акинфий. Никита перешагнул порог, крикнул:

— Ну, натворил делов, горячая головушка?

Акинфий покорно потупил глаза:

— Натворил, батюшка, по своей гордыне.

— То-то,— удовлетворенно перевел дух Никита.— На сей раз спущаю, а вдругорядь берегись! Со вдовства, знать, кровь горячишь. Женить надо! Эх, женить! — Батька, постукивая костылем, прошел к креслу и, не скидывая дорожной шубы, сел.— Так.— Старик горестно отжал с бороды влагу.— Так!

Сын отошел к окну и ожидал, что будет. Демидов опустил на грудь голову, думал. Время шло томительно, за окном падал густой мокрый снег; в ближних конюшнях звонко ржали кони.

Старик решительно встал и крикнул — по хоромам прокатился его зычный голос:

— Гей, холопы, впрягай свежих коней!

— Да что ты, батюшка! Утомился, да и годы не те. Куда понесет тебя? — изумленно уставился в отца Акинфий.

Отец пожевал сухими губами, стукнул костылем:

— Еду к капитану Татищеву!

Он торопливо пошел из горницы, запахивая на ходу шубу. По каменному переходу шмыгали стряпухи, ахали:

— Знать, залютовал старик. Не перекусив, опять мчит. Не быть бы беде. О-ох!

— С погремухами да с бубенчиками! — покрикивал с крыльца Никита. Он стоял, опершись на костыль, и властно поглядывал на ямщиков.— Да коней впрячь лихих. Чтобы знали: едет сам хозяин — Демидов!

На крыльцо вышел Акинфий: поблескивая серыми глазами, он подступил к отцу:

— Батюшка, от нас до конторы капитанишки всех будет восемьдесят, а то поболе верст. Останься...

— Еду! — решительно сказал старик.— Еду, не перечь. Люди мрут, час не терпит. Эй, чертоломы, убрать из-под амбаров рогожи. Жить будем, робить будем! — Демидов весело подмигнул черными глазами.

Щука торопил конюхов, а сам, поглядывая на хозяина, думал:

«Ну и бесище; ни дорога, ни сон, ни хворь — ничто не берет его!»

К расписным дугам подвязали говорливые погремки да бубенцы. Коней впрягли сильных, проворных. Никита покрепче запахнул шубу и завалился в сани.

— Шибчей гони, ямщики! — крикнул он голосисто, весело.

Тройка вихрем вынесла сани из Невьянска; полетели мимо леса да увалы, из-под копыт сыпался снег, да в ушах свистел ветер.

3

В Уктусе над заводом от пылающих домен — зарево. Звездная ночь тиха, над замерзшим прудом разносился стук обжимного молота. В рабочем поселке лежала тьма; перебрехивались псы; только в заводской конторе светились огоньки.

Начальник горных заводов, несмотря на позднее время, все еще работал. Много раз просыпалась кривоглазая стряпуха, сползала с полатей, заглядывала в скважину. Капитан сидел, наклонившись над столом, и писал. В полуночной тишине поскрипывало перо; сальные свечи светили тускло. Повздыхав, стряпуха отходила от двери и снова забиралась на полати; донимал зимний сон...

Сквозь дрему бабе послышались заливчатые бубенчики. Женщина открыла глаза, прислушалась:

«Никак, начальство едет, а может, беси кружат, чать будет около полуночи, петуны пока не пели».

В эту пору на поселке закричали полуночные петухи, а звон бубенцов да погремух не проходил, нарастал и катился все ближе и ближе...

«Уж не к нам ли едут?» — встревожилась стряпуха, откинула шубу и проворно слезла с полатей.

Капитан распахнул дверь и со свечой в руке стоял на пороге. Прислушиваясь, он спросил служанку:

— Кто может быть в такую позднюю пору? Не лихие ли люди?

— Что ты, батюшка,— торопливо перекрестилась стряпуха.— Пронеси и обереги нас, господи!

У дома захрапели кони, осадили, фыркнули; разом смолкли бубенцы.

— К нам, стряпуха.— Капитан вышел на середину горницы.— Иди, открывай! Наехали незваные гости...

— Леший принес их в такую пору.— Стряпуха пугливо поглядела на дверь.— Добрый человек день найдет!

Дверь с грохотом открылась; с клубами морозного воздуха в горницу ввалился незнакомый человек в заиндевелой волчьей шубе. У приезжего глаза — раскаленные угли. Он сгреб горстью ледяшки, намерзшие на бороде, и с хрустом бросил их под порог; крякнул:

— Так, приехали! Здравствуй, господин капитан. Не чаял, не гадал такого гостя, Василий Никитич, но что поделаешь: любо не любо, а принимай.

— Кто вы? — уставился Татищев на гостя.

— Аль не догадываетесь? — улыбнулся приезжий; сверкнули крепкие зубы.

Стряпуха пугливо разглядывала его.

Гость сбросил треух, обнажилась гладкая круглая лысина; он без приглашения сбросил шубу, располагался словно дома.

— Так! — опять крякнул гость и пошел на хозяина.— Давай, Василий Никитич, облобызаемся.— Он облапил капитана и крепко поцеловал его.

— Да кто же вы такой? Из Санкт-Питербурха? — не мог прийти в себя хозяин.

Гость сощурил глаза:

— Далеконько хватили, господин. Я сосед ваш: Демидов Никита — вот кто!

Капитан недовольно подумал: «Ну и разбойник!»

В сенях кто-то протопал промерзшими валенками, дверь опять распахнулась; вошел кривоногий демидовский холоп Щука. В руках он держал расписной ларец.

— Неси в горенку! — распорядился Никита.— Я по делу к тебе, Василий Никитич; сынок Акинфка по молодости да по глупости бед без меня натворил тут!

Высоко подняв свечу, Татищев провел Демидова в

кабинет. Следом за ними вошел холоп и поставил ларец на стол.

Стряпуха недовольно покачала головой: обтаявшие пимы Щуки оставляли на полу мокрый след.

— Извините, у меня тесно.— Хозяин поставил свечу на стол и пригласил сухо: — Прошу садиться.

Демидов оглядел хозяйскую горенку.

— Да, незавидно живете... Ты, Щука, скройся! — приказал он холопу.

В комнате остались двое: хозяин да гость. Татищев выжидательно смотрел на гостя. Демидов молча смотрел в землю: собирал мысли. После длительного раздумья прервал молчание:

— Так! Беда, Василий Никитич, приключилась. Положим, сынок по горячности натворил, но что кругом делается, поглядите!

Неожиданность потеряла остроту. Татищев плотней уселся в скрипучем кресле, построжал:

— Почему насмехаетесь над государственными указами да грабите казенные заводы?

Демидов вскинул жгучие глаза:

— Что вы, Василий Никитич, помилуй бог. Да разве ж можно такое? Тут ошибка вышла... Я вот что вам скажу: виновен сын мой. Так! Но посудите сами, кто заставы учинил да хлебушко не пущает на мои заводы?

— По моему указу учинено это,—решительно сказал капитан, поднялся и заходил по горнице.

— Так! Об этом нам ведомо,— по привычке погладил бороду Никита.— Но что из того выходит, господин капитан? Вот что: народ отощал, мрет. Помните, Василий Никитич: всякому терпению приходит конец. Что будет, ежели изголодавшиеся холопы и приписные мужики поберут колья да прибьют Демидовых, а после того на казенные заводы тронутся да почнут крушить их? Бунт ведь? Так! А царь-государь об этом узнает да спросит: «А кто причина того возмущения? Кто возмутители?» Вот тут, господин капитан, и подумайте. Так!

Демидов сгорбился, смолк. Татищев хотел спорить, но внезапно мысль обожгла его. «А ведь и впрямь, прав Демидов: с голода человек все может сделать, что тогда будет?»

Овладев собой, капитан сказал строго:

— Ничего не будет. А кто беззаконие чинит, о том разберут.

Демидов забарабанил по столу крепкими ногтями:

— Так...

В шандалах оплыли свечи, было далеко за полночь, когда Демидов поднялся; пламя свечей заколебалось; гость поклонился.

— Договорились и не договорились.— Голос Демидова звучал устало и глухо.— Пора и в обратный путь.

Капитан не стал удерживать; взял шандал с оплывшей свечой и вышел провожать гостя...

«Вот человек! Сколько силы и ума,— с удивлением подумал Василий Никитич о Демидове,— трудненько будет с таким тягаться!»

Вдруг он вздрогнул: заметил на столе забытый гостем зеленый ларец. Любопытствующий хозяин приподнял крышку. Ларец доверху был наполнен серебряными рублями.

«Это что же? Подкуп!» — вскипел Татищев и проворно выбежал в переднюю.

— Вернуть! Вернуть! — закричал он стряпухе, и та, накинув платок, выбежала на мороз.

Через минуту вошел сияющий Никита.

— Аль передумали по-хорошему, Василий Никитич? — весело начал он и осекся.

Строгие глаза капитана сердито смотрели на заводчика.

— Как вам не стыдно! — горько вымолвил он, вручил Демидову его ларец, круто повернулся и удалился в комнату.

Никита смущенно опустил хмурые глаза, засопел, потоптался и медленно пошел к выходу.

— Гордец, великий гордец твой хозяин! — укоряюще сказал он стряпухе.— Ну да ладно, видали и таких!

Садясь в сани, Демидов люто подумал:

«Похрабрись у меня! Не я буду, коли этого гордеца не выживу с Камня!»

Ярко светили звезды, поземка улеглась, глухо шумел близкий бор. Стряпуха закрылась на запоры и взобралась на полати. Сквозь сон убаюкивающе прозвучали бубенчики и постепенно затихли вдали.

«Унесло иродов!» — довольно подумала стряпуха, плотнее завернулась в шушун и захрапела на печи.

4

Время шло, а Татищев не снимал дорожных застав. Правда, темными ночами демидовские обозы добирались все же по тайным заимкам до заводских амбаров и сгружали зерно, но терпеть больше не было мочи. На семейном совете решили отправить царю Петру Алексеевичу челобитную на Татищева. В той жалобе Демидов писал, что капитан ничего не смыслит в рудных делах и мешает ему, верному царскому слуге, развернуться на Каменном Поясе.

«Погоди, я тебе прищемлю хвост!» — грозил Демидов и с нетерпением ждал гонца с ответом от царя. Чтобы отвлечься от беспокойных мыслей, старик с раннего утра обходил домны, мастерские, амбары, во все вникал сам. Но и в жарких хлопотах никак не мог забыть он своего врага Татищева.

В эту нудную пору, словно чтобы обрадовать старого заводчика, явился к нему неожиданно приписной мужик Софрон Согра и принес невиданный минерал. Бродил он по речке Тагилке и напал на чудную горку. В срезе ее Согра заметил странный блеск. Приписной заинтересовался неведомой горной породой и выломал кусок. По виду он напоминал вываренное мясо, у которого отделялись тонкими нитями волокна. Никому не сказав о своем открытии, замкнувшись в избе, он долго с женкой возился над таинственным минералом и еще большему диву дался: из найденных волокон можно было ткать, плести. Обрадованный Согра поспешил к Демидову.

— Ходил я, батюшка, по речке Тагилке, и погляди, что отыскал! — протянул он заводчику завернутый в тряпицу поблескивающий, ослепительной белизны камень.

Демидов недоверчиво взял в руку минерал.

— Что за находка? — удивился он и стал внимательно разглядывать ее. Глаза его постепенно разгорелись, морщины разгладились. Большим корявым ногтем Никита стал ковырять поданный камень, и тот рассыпался на мягкие охлопья.

— А ты, батюшка, его молотком постучи и погляди, что только будет! — предложил Согра.

Никита взял молоток и стал колотить по куску. Минерал под ударами распушился на тончайшие шелковые нити.

— Ты гляди, что творится! — удивленно рассматри-

вая волокна, сказал Демидов.— Будто и впрямь куделька, мягка да шелковиста!

— И я так мыслю, хозяин! Как лен, эта куделька горная на пряжу годна! — пояснил приписной.

— А ты откуда знаешь, что сей минерал на пряжу гож? — спросил его Никита.

— Женка полотенца соткала. Гляди, хозяин! — Согра вытащил из-за пазухи кусок холстины.— Вот оно сроблено из такой кудельки! — ответил приписной.

Вместе с Согрой заводчик отправился на место находки и был весьма поражен, когда неподалеку от Невьянска увидел целую гору из чудесного минерала. Никита жадно хватался за камни, разбивал их молотком, пушил на волокна.

— Моя эта горка! Моя — с жадным огоньком в глазах выкрикивал он и торопил погрузить каменную кудельку в возок.

На другой день Никита настрого наказал Софрону прислать свою старуху. Он внимательно допросил ее и приказал отвести амбар для тайной работы. Крестьянка оказалась толковая, сметливая. Она старательно отколотила камень, промыла и оставшиеся тонкие волокна пустила в дело. Чтобы лучше ткалось, старуха добавила в горную пряжу льна и слегка смочила маслом. В неделю старуха Согры соткала и поднесла Демидову скатерть.

— Хоть скатерть эта, батюшка, и не самобранка, но заветная она: в огне не горит и всегда новенькая! Гляди, кормилец!

Старуха проворно взмахнула скатертью, и не успел хозяин ахнуть, как мастерица бросила ее в огонь. Демидов снова диву дался. Полотно из горной кудели не горело, оно накалялось и от накала белизной своей стало чище выпавшего снега. Выгорели в нем только лен да масло и грязь!

— Дивная скатерка! Ой, до чего дивная!— никак не мог успокоиться Никита.

То, что горная куделька не горит в огне, приводило его в неописуемый восторг. Давно уже так не радовался Демидов.

«Вот и подарочек царю!»— подумал он и стал собираться в дорогу.

— Ты бы, батя, на заводе побыл, а я поехал бы в Санкт-Питербурх,— просил отца Акинфий.

Никита и слушать не хотел, только руками замахал:

— Да ты что! С Татищевым тягаться не шутка. Умен! Хитер! Нет уж, сынок, сам доберусь! Видно, не скоро ответ на челобитную придет.

В дорогу заводчику отобрали лучшие сибирские меха, серебро, уложили в сундуки и на сундуки навесили крепкие замки. Особо осторожно упрятали в укладку скатерти, рукавицы и кружева, сработанные из горной кудели.

По приезде в столицу Никита вырядился в лучшее платье и поехал к Меншикову.

Князь переехал к этому времени в просторный дворец на Васильевский остров. У ворот дворца толпились приставы, стража, во дворе у коновязи ржали кони. Когда княжеский холоп ввел Демидова в покои, у того глаза разбежались. Покой был крыт китайским штофом, мебель замысловатая с бронзою, кругом в простенках сверкали большущие зеркала. Никита тревожно подумал: «Да-а, зажил нынче Данилыч! Не зазнался бы!»

Однако сам князь вышел навстречу гостю. Меншиков изрядно потолстел, появился второй подбородок, у глаз легли морщинки. Одет был Александр Данилович в блестящий мундир, на котором сияли орденские кресты и звезды, в руках он держал трость с бриллиантовым набалдашником.

Князь остановился, с минуту молча разглядывал гостя, всплеснул руками:

— Никита! Каким ветром занесло?

— Да с Каменного Пояса,— потянулся целоваться Демидов.

— Ах, желанный гость!— Меншиков весело прищурился, хлопнул Никиту по спине.— А соболей много приволок? Я ведь ноне женатый. Жену обряжать надо!

«Ишь хапун какой,— подумал Демидов.— Богатств, поди, и без того не оберись, а все мало».

— Как же, приволок, Данилыч. Ух, какую я рухлядь-то добыл! Никогда такой не видели в Санкт-Питербурхе!— ответил Демидов.

— Вот удружишь!

Данилыч взял Никиту под руку.

— Ну, чать, не байки рассказывать прискакал издалека, а за делом? Знаю твою повадку!

Демидов поклонился слегка, хозяин не дал раскрыть рот:

— Дела потом, а ноне — ты гость. Идем к хозяйке!

Меншиков провел Демидова через вереницу горниц, и все-то они были крыты или штофом, или бархатом, одна была отделана вызолоченной кожей. Всюду сверкал хрусталь, везде бронза, невиданная мебель.

В горнице, в которую привел Меншиков гостя, было просторно и светло. Рассевшись в креслах, на солнце нежились разодетые дамы.

— Даша!— крикнул Александр Данилович жене.— Заводчика приволок. Вот он, бородач! Полюбуйся, богат и знатен купец!

Три дамы, одетые по-чужеземному, разом поднялись и сделали книксен.

Круглолицая румяная Дарья Михайловна, хозяйка, пленила Никиту смешливостью. Вся ее дутая чопорность сразу пропадала, когда она смеялась.

У Меншикова при взгляде на белокурую жену глаза светились ласково; по всему угадывалось, что светлейший любил свою подругу. Не было в Александре Даниловиче прежней статности, но был он все еще проворен.

Женщины окружили Демидова, и каждая тараторила свое и ждала только к себе внимания.

«Руду копать да чугун плавить куда легче, чем с вельможными бабами знаться!»— подумал Никита.

Ни на минуту дамы не отпускали от себя заводчика, заставляли играть с ними в фанты. Будь оно проклято, до чего все это неловко было и неприятно! Чего только они не заставляли Никиту выделывать! Помня о деле, Демидов молча покорялся причудам светских капризниц. На фантах его проштрафили и повели танцевать.

«Боже, твоя воля!— с огорчением подумал Никита.— Николи с женкой такой утехе не предавался, а тут — на, выходи и пляши!»

Крепился-крепился старик, под конец скинул бархатный камзол, тряхнул головой и топнул башмаком:

— Коли на то пошло, давай нашу родную, русскую!

Александр Данилович отвалился в кресле, за живот схватился:

— Ну, давно бы так! Проштрафился и пляши!

Дамы пустились вокруг Демидова в пляс. Данилыч задергал ногами, пошевеливал плечом: не стерпел сам— вскочил и пошел петушком по кругу...

Ой, то и пляс был, по всем хоромам гул шел! Меншиков покрикивал:

— Поддай жару!.. Эй, женка!..

Дамы плыли уточками, слегка сгибаясь корпусом то вправо, то влево, помахивая белыми платочками. Однако женщин, затянутых в корсеты, танец утомил.

У дверей в горницу неприметно, один по одному, собрались княжеские холопы. Старик дворецкий, обряженный под иноземный лад, бритый, но с баками, стукал крышечкой табакерки, понюхивал табачок, головой крутил:

— Лих еще наш Данилыч! Михайловна ж пава...

Никита рукавом утирал с лица пот. Выйдя, притопывая, на середину горницы, в кругу женщин он ударял в такт ладошками и приговаривал:

— Приуда-р-рю! Раз-зойдусь! Ухх!..

По дальним горницам загремели торопливые шаги, в дверь шумно вбежал исполин в высоченных сапогах, раздвинул холопов.

Никита оглянулся и обмер: «Батюшки, царь Петр Ляксеич! Ой! Вот, старый дурак, опозорился!..»

Государь загрохотал добродушным смехом, шагнул длинными шагами к креслам,— брякнули шпоры,— бросил на ходу треуголку.

— С чего взбесились?— садясь в кресло, спросил он.

Смущенные дамы присели перед царем в поклоне. Алексашка, утирая платком лицо, отдувался:

— Ой, мин герр...

Заметив благодушие на царском лице, Данилыч засмеялся. Дамы сконфузились. Демидов не знал, что делать.

— Ну, с чего в пляс пошли?

Меншиков махнул рукой на Демидова:

— Да вот сибирский гость наехал, проштрафился, а бабы обрадовались случаю. Гляди, мин герр, бородища какая, а плясун — не дай бог!..

Никита стоял смущенный. В другом месте он непременно глубоко разобиделся бы, но, видя, что государь смеется, хозяева смеются, расхохотался и сам.

Царь притих на минуту, искоса поглядывая на Демидова:

— Ну, Демидыч, докладывай, сколь пушек да ядер приволок?

Никита опустил голову, развел руками.

— Беда, государь!— огорченно сказал он.

Царь встал, лицо его помрачнело, прошла легкая судорога.

— Что за беда, Демидыч, приключилась?— спросил Петр.

— В разор заводы наши пущают, хлеб не дозволяют ставить, народишко мрет...

Государь пожал плечами, омрачился больше:

— Ничего не пойму. Кто зорит заводы и почему хлеб не дозволяют ставить? Люди работают в полную меру, кормить надо и того лучше. От сего одна выгода государству. Кто перечит моим указам?

Никита осмелел, посмотрел в глаза царю и ответил:

— Капитан Татищев сему делу зачинщик, царь-государь. Мы его и так, мы его и этак. А он — никак, понаставил дозоры и не пропускает обозы с хлебом, мрет народ...

— Вот как!— удивленно произнес государь, засунул за обшлаг мундира руку, достал трубку и стал набивать табаком.— Данилыч, наказую: завтра разберись в этом деле, да, может, того капитана Татищева отозвать в Санкт-Питербурх,— царь недовольно двинул плечом.— Ишь, что удумал, работных отучить от хлеба!..

За окном синел вечер, слуги бросились зажигать свечи.

Государь успокоился, подошел к жене Меншикова, взял ее за подбородок:

— Ну, Дарьюшка, повеселилась?

— Повеселилась, мин герр,— откликнулась Меншикова.

В покое засверкали желтые огоньки свечей, свет их дробился о хрустальные привески. Слуги опускали на окнах шелковые занавесы.

— Данилыч!— закричал государь.— Изголодался я, ездил в гавань. Зови к столу!

Быстро забегали слуги, на минутку следом за ними вышел Демидов и что-то прошептал дворецкому. Когда он вернулся, царь, взяв под руку жену Меншикова, повел ее к столу. Все отправились следом. На скатерти необыкновенно нежно-серебристого цвета были расставлены блюда, вина и среди них любимая царем анисовка.

Царь шумно уселся за стол, за ним последовали остальные. Расставив широко локти, государь стал жадно есть. Никита внимательно следил за ним да поглядывал на скатерть. Ой, как хотелось ему показать

новую диковинку из горной кудели! От анисовки государь оживился, повеселел, посмеивался над Меншиковым и Демидовым. Разыгрывая неловкость, Никита неожиданно опрокинул блюдо с жирной подливкой. Хотел исправить беду, да рукавом зацепил меншиковский бокал с густым вином, и все полилось на скатерть. Царь поморщился.

— Экий ты, братец, неловкий!— усмехнулся Петр Алексеевич.— Быть тебе битому хозяйкой!

Демидов ухмыльнулся в бороду.

— Не печалься, государь!— улыбаясь, сказал он.— Ничего сей скатерти не станет. Эта скатерть особая. Полюбуйся, Петр Ляксеич!— Заводчик глянул на слуг, те мигом убрали посуду, и Демидов сдернул со стола скатерть.— Разреши, государь, выстирать ее огнем!

— Да ты сдурел, Демидыч!— воскликнул царь.

Никита, не смущаясь, бросил скатерть в пылающий камин. Быстро выгорели жировые и винные пятна, и Демидов выхватил из огня скатерть, встряхнул ее и снова покрыл стол.

Петр Алексеевич открыл в изумлении рот.

— Да ты колдовством, что ли, занялся, старый!— удивленно закричал государь.

— Это не колдовство, Петр Ляксеич!— степенно ответил Демидов.— Найден нами в русской земле, на Каменном Поясе, минерал особый — горная кудель, или асбест, именуется. Ни в огне не горит, не портится и гож для тканья!

Никита захлопал в ладони, и слуга принес укладку, а из нее Демидов извлек белоснежные холсты, кошельки, кружева. Раскладывая их на столе, заводчик весело предлагал:

— Спытайте сами, кидайте в огонь, и все уцелеет!

Государь засмеялся, похлопал Никиту по плечу:

— Вот за это спасибо! Сей минерал на пользу нам будет!

Дамы бросились разбирать кружева, и все ахали, разглядывая волшебные подарки. А государь уже успокоился и задумался вдруг. Он поглядел на Демидова и сказал ему:

— Ну, Демидыч, торопись с пушками да ядрами! Выручай!

Никита поклонился царю.

— Как всегда, готов, Петр Ляксеич! Только не пойму, к чему торопиться: войну покончили, шведов побили

и замирились!— с напускным хладнокровием вымолвил заводчик.

Царь улыбнулся таинственно и ничего на это не ответил. Прощаясь с Демидовым, он обнял его и расцеловал:

— Не забывай уговор! Может, не скоро свидимся!

Хотел Никита спросить, куда и зачем так торопится государь, но тот быстрыми шагами вышел из горницы. Как внезапно он появился, так же вдруг и покинул дворец Меншикова.

Демидов стоял посреди горницы ошарашенный. Меншиков взял его за руку и, отведя в уголок, прошептал заводчику:

— Да не кручинься, Демидов! Дел тебе не убавится. Задумал государь идти на Каспий, воевать берега морские!..

Вернулся Никита в Невьянск спустя несколько месяцев, а следом за ним на Каменный Пояс в горную контору заводов пришел указ Берг-коллегии, которая предложила капитану Татищеву немедленно прекратить стройку нового города и выбыть для допроса в канцелярию государя.

Никита Демидов одиноко бродил по каменным хоромам своего невьянского замка. Как сыч в дупле, нелюдимый старик хохотал.

— Буде, отстроились.. ты не шути с Демидами — они, брат, такие!— грозил он невидимому врагу.

Глава восьмая

Напрасно и преждевременно радовался Никита Демидов. Капитан Татищев уехал в Санкт-Питербурх, но на его место с большими царскими полномочиями на Каменный Пояс прибыл основатель многих олонецких заводов Виллим Иванович де Геннин. Полномочия его были огромны: он мог по собственному почину строить и перестраивать казенные заводы, не спрашивая о том дозволения Берг-коллегии. В горном деле, да и в литье металлов Виллим Иванович был большой знаток.

Осмотрев казенные заводы и найдя, что рачительный капитан Татищев немало потрудился для государственной пользы, он одобрил его благие начинания и сам деятельно втянулся в эту немалую и докучливую работу.

На деле он убедился, насколько прав был Татищев. На Каменном Поясе царила «всюду злая пакость, государственные заводы в худом состоянии, крестьяне разорены, судьи берут взятки, воеводы живут приносами». Казенные чиновники думали только о себе, а Демидовы творили что хотели. Ничего не утаивая перед царем, Геннин честно написал обо всем государю.

«Демидов — мужик упрямый,— писал он,— не любит, чтобы в его карты заглядывали. Татищев же показался ему горд и неподкупен, старик не любил с таким соседом жить. Демидову не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь цвесть. А Татищев по приезде своем начал стараться, чтоб вновь строить вашего величества заводы и старые поднимать».

Геннин очень подробно описал все порядки, заведенные капитаном Татищевым, которые ограничивали произвол Демидовых. Не таясь, он похвалил капитана, которого счел в деле рассудительным, прилежным, человеком государственного ума.

«Как отцу своему объявляю,— убеждал в докладе Виллим Иванович царя,— к тому лучше не смекать, как капитана Татищева, и надеюсь я, ваше величество, изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия, я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но видя его в деле весьма правым...»

Однако государь Петр Алексеевич рассудил по-своему: начальником казенных заводов и главою горного дела на Урале он назначил Геннина, а Татищева оставил в Санкт-Питербурхе.

Геннин понял, сколь крепко сидит на Камне тульский кузнец, а потому решил не ссориться с Демидовыми и сам первый пожаловал в Невьянск к грозному заводчику. В ту пору Геннину завернуло за полсотню лет. Лицом он был сух, чисто брит, носил скромный паричок, в речах немногословен. Никите эта скромность по душе пришлась, и все пошло так, как будто они и век дружили. Оба крепко обнялись, расцеловались; сразу в одну борозду попали. Никита Демидов показал де Геннину свой завод, тот похвалил за многое, но тут же поучил заводчика, как улучшить и ускорить литье металлов.

Геннин любил ячменное пиво и русские блины; демидовские стряпухи радушно угощали его. После заводских объездов де Геннин заезжал для отдыха в Не-

вьянск; его вели в баню, добро парили, после чего он подолгу сидел за кружкой ячменного пива и рассказывал Никите о металлах.

Но вскоре он показал себя. Однажды он явился к Демидову торжественный, величавый, в парадном мундире и, холодно ответив на поклон Акинфия Никитича, оповестил его:

— Господин Демидов, ноне я пожаловал к вам по официальному делу. Государю Петру Алексеевичу угодно знать, справедливы ли ваши жалобы на Василия Никитича Татищева?

— С ним тягаться мы и не думаем!— попытался уклониться от разговора Акинфий.

— То не ответ!— строго перебил Геннин и рукой коснулся портрета царя, который висел у него на груди в золотой оправе, осыпанной бриллиантами.

Демидову стало не по себе.

— Как и писать о том батюшке-царю, не знаю!— смущенно сказал он и, прикидываясь овечкой, закончил:— Я не ябедник!

— Нет, господин, вы дадите ответ государю! И я не уйду до тех пор отсюда, пока вы не напишете о ваших обидах!— настаивал на своем Геннин.

Демидову пришлось подчиниться. Он в тот же день изготовил челобитную; но в перечне обид указал только две: одну о том, что устроенные по распоряжению Татищева заставы весьма затрудняли привоз хлеба на демидовские заводы, и вторую — что Татищев несправедливо отнял часть пристани Курьинской, построенной им, Демидовым, на реке Чусовой.

Получив челобитную, Виллим Иванович снова превратился в добродушного, веселого гостя и, по обычаю, выпил жбан доброго демидовского пива. Уезжая, он похлопал Акинфия по плечу:

— Так разумею, что все кончится к выгоде обеих сторон!

Очень быстро на отношение Демидова последовала отписка Василия Никитича Татищева, который сообщал, что заставы им были устроены по требованию сибирского губернатора потому, что через демидовские владения тайно проходили купеческие обозы, не платя пошлин, а пристань Курьинская построена самовольно и на казенных землях.

Так и не достиг своей цели извет Демидовых на Татищева.

Прошло немного времени, и Виллим Иванович показал себя деятельным горным правителем. В конце марта, когда посинели ельники и на пригорках появились тали, в долину реки Исеть, к месту стройки плотины, начатой Татищевым, пришел Тобольский полк. Солдаты выбились из сил; шли горами да чащобами по глубокому снегу. Шли под барабанный бой. Полк вели офицеры, одетые в коричневые мундиры и в треухи; из-под них болтались белые косички.

Звери, напуганные барабанным боем, разбегались по чащобам. По селениям навстречу солдатам выходил народ. Солдаты пели невеселые песни.

За полком по дороге тянулся обоз с шанцевым инструментом и с солдатским скарбом.

В полдень полк пришел к месту, на лесную поляну, загроможденную камнями, бревнами, вывороченными корневищами. Место казалось унылым и диким. По снежной лощине тащились подводы: мужики подвозили провиант. На взгорье над рекой нарыты были землянки, кой-где стояли неприхотливые избы, крытые дерном. Над рекой был перекинут мост на жидких сваях; неподалеку от него — кузня; в ней перезванивали наковальни: шла работа.

С неба валил мокрый снег; и без того истомленные, солдаты маялись от сырости; они разбили палатки, разложили костры и стали на отдых.

Из землянок вылезли бородатые мужики-приписные; глядя на солдат, повеселели:

— Может, нас сменят!

Из-за гор дул злой ветер, холодил солдатские спины; у костров не слышалось обычных песен; солдат охватило уныние.

Ночью выставили дозоры, и под вой ветра, не глядя на мокрый обильный снег, тут же, у костров, легли спать.

На другой день из Уктуса прибыл де Геннин, сделал смотр воинству. Народ был крепкий, выносливый, и де Геннин остался доволен смотром; от радости он потирал ладони, покрикивал:

— Ну, орлы-молодцы, будем город строить, завод возводить, царю-государю службу служить!

Солдаты угрюмо молчали. По приказу де Геннина их развели по стройке и велели рубить избы и заплоты. Землю отогревали кострами, каждый вершок брали с бою.

У главной избы стогом лежали нарубленные лозы. После работы нерадивых и сплошавших выводили на плац, ставили перед строем; каждый солдат в строю имел по лозине. Офицер громким голосом читал указ, провинного раздевали до пояса, привязывали к ружейным прикладам и вели вдоль фрунта, и каждый солдат бил лозиной по спине. Бить заставляли наотмашь, крепко и безжалостно. После прогулки по «зеленой улице» у наказанных долго гноились язвы.

Подошла весна; с гор да с косогоров побежали стремительные ручьи; на месте стройки разлилась непролазная грязь; она подступала к избам и землянкам,— лихо приходилось солдатам.

Сотни людей копошились в развороченной земле, среди бревен и у плотины; за работой зорко доглядывали офицеры и приказчики. Частенько из Уктуса наезжал де Геннин, торопил людей. Обещал Виллим Иванович царю отстроить город-завод до зимних морозов. В донесении в Санкт-Питербурх убеждал он, что этой «Исети реки лучше нельзя быть. Лес без переводу, который водой до завода можно плавить. Руды и воды много. И от Чусовой пристани недалеко».

За хлопотами некогда было де Геннину съездить в Невьянск испить кружку ячменного пива. Демидов же, хоть и своих хлопот было немало, не уставал следить за делами на Исети-реке.

Со всех казенных заводов Каменного Пояса — с Уктусского, Каменского, Алапаевского, из далекой Олонщины да из Петрозаводска — отовсюду стягивал де Геннин мастеровых и ремесленных людей. Из сибирских волостей пригнали приписных крестьян; с котомками, изможденные, оборванные, пришли в дебри за сотни верст на работу плотники, каменщики, кузнецы, плотинщики...

Весной открылись топи; народился неисчислимый гнус; вода текла ржавая, гнилая. От тяжелой работы и плохой пищи на людей напала хворь. Десятки солдат и мастеровых каждый день ложились костьми. Обессиленные, голодные люди стали роптать...

«Вот и пора приспела,— тешил себя мыслями Никита Демидов.— Теперь побегут. Ух, и шибко побегут!»

Угадал Демидов: в одно утро полк снялся и пошел в поход, прочь от стройки...

Де Геннин и офицеры забили тревогу, бросились за солдатами...

Солдаты шли толпой, напролом через чащобы, через болота: спешили уйти от гнилой могилы среди угрюмых и суровых мест...

До Тобольска — восемьсот верст. Что там ждало взбунтовавшихся солдат? Об этом не думали, отгоняли мысль. Что будет, то будет...

Де Геннин сел на башкирского иноходца, нагнал полк в лесу, въехал в толпу, кричал, грозил карами. Солдаты сомкнулись, молчали. По злобным глазам понял Геннин: быть беде. Он огрел коня плетью, вырвался из толпы и ускакал.

— Добро сделал!— кричали солдаты.— А то кровь была бы...

Недалеко отошли беглецы: за быстрой рекой их встретили драгуны да пушкари.

Навстречу выехал офицер с обнаженной саблей и крикнул:

— Ворочай назад! Знайте, обещано вам лучшее содержание, харч и одежда. Кто супротив сего — стрелять будем!

Истомленные беглецы долго топтались, перекликались с драгунами, переругивались с офицерами; но против чернели дула пушек, готовые каждую минуту осыпать картечью.

К вечеру, потеряв всякую надежду пробиться в Тобольск, солдаты вновь построились и покорно поплелись назад, к Исеть-реке, к топям, болотам, к медленной, гнилой смерти...

Глубокой осенью, когда начался ледостав, де Геннин торжественно объявил об открытии города, названного — в честь супруги царя Петра Алексеевича — Екатеринбурхом.

В город Екатеринбурх из Уктуса переехала горная контора, появились горные чиновники.

Над Исетью задымил новый казенный завод.

«Осилил-таки, дьявол!— недовольно подумал Демидов о де Геннине.— Что-то теперь дальше будет?»

Глава девятая

I

Петр Алексеевич ушел с войсками воевать в далекую кавказскую землю. Снова государю понадобились

пушки и снаряжение. Царь крепко помнил о старом тульском кузнеце и послал ему из прикаспийского городка Кизляра свой портрет и письмо. «Демидыч! — писал государь Никите,— я заехал зело в горячую страну: велит ли бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону. Лей больше пушек и снарядов и отыскивай, по обещанию, серебряную руду».

Словно чуял государь: так и не свиделся он больше со своим старым другом Никитой Демидовым...

Подошел тысяча семьсот двадцать пятый год.

Демидов ехал по горным делам из Москвы в Санкт-Питербурх, строя дальнейшие «решпекты» о заводском деле. 27 января 1725 года на ямской станции Бологое Никиту поразил слух, передаваемый со страхом и шепотом встречными курьерами: государь Петр Алексеевич находился при смерти. Только теперь Демидов заметил, что петербургский тракт был необычно оживлен: то и дело встречались конные фельдъегери, спешившие в Москву. По дороге из Москвы Никита обогнал много экипажей со знатными дворянскими гербами: торопились в столицу дворяне в чаянии радости или печали.

Никита знал, что государь страдает тяжелой болезнью, но, веря в железный организм царя, он успокаивал себя: «Ничего, даст бог, Петра Ляксеич поборет и эту хворь!»

Однако на душе Демидова было тревожно, словно в потемки погрузились думы. На каждой встречной ямской станции слухи о болезни царя становились упорнее и бередили душу Никиты. Он на дороге останавливал курьеров и допытывался, как царское здоровье. По сумрачным лицам угадывал Демидов: хуже царю.

«Неужели не встанет наш сокол?»

По осени царь посетил Старую Ладогу, Новгород и Старую Руссу, где тщательно обозревал солеварни. Не дав себе отдохнуть, Петр полюбопытствовал осмотреть Сестрорецкий оружейный завод.

Стоял на исходе октябрь, пора холодная и мрачная, сильная моряна вздымала и кидала в глаза мокрые листья; кончался листопад. На заливе гуляла непогодь, рвала паруса; царь торопился в Сестрорецк на малой и ветхой шлюпке. От пронзительной моряны он сильно продрог, велел пристать к берегу у деревеньки Лахты. Развели костер; царь обогрелся; ветер, однако, не сти-

хал, и волны белогривым табуном налезали на низкий и топкий берег. Из гнилого угла, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжелые серые космы по гребням волн. Наступали сумерки. И тут царь увидел: шальные волны выбросили на мель грузный бот с матросами и солдатами. Прибой ярился, сбивал людей с ног, тащил в пучину,— грозила неминуемая гибель. Царь спешно послал на помощь свою шлюпку, но неповоротливость команды — так казалось царю — вывела его из терпения. Он вскочил в маленькую лодочку и сам прибыл на место крушения. По пояс в студеной воде он таскал утопавших, обессиленных солдат.

После этого ночью у царя сделался озноб; он пролежал несколько дней в Лахте. Старая финка вскипятила царю навар, он испил, за ночь хорошо пропотел; немного полегчало. Утром государь попросил любимую голландскую трубку и закурил. В тот же день Петр Алексеевич возвратился в столицу.

Казалось, царь старался наверстать упущенные дни. Он объехал новые стройки, побывал в остерии, где встретился с голландскими купцами, участвовал во многих церемониях. 24 ноября Петр Алексеевич присутствовал на обручении дочери, цесаревны Анны Петровны, с герцогом Голштинским.

Екатерина Алексеевна уговаривала мужа:

— Не жалеешь ты себя, государь, все мечешься, отлежался бы от хвори...

Трудно было уложить в постель кипучего, неугомонного царя. Но все же запущенный недуг дал себя почувствовать. Обессиленный, Петр Алексеевич 16 января слег в постель и не смог больше подняться...

За делами в Туле да на Каменном Поясе Никита Демидов давно не видел Петра Алексеевича и сильно тосковал по нем. В последнюю встречу в Санкт-Питербурхской гавани, когда Никита отгружал железо на голландские корабли, царь любовно схватил его за плечи, сжал крепко, глаза округлились — в них немало было блеску.

— Вот видишь, Демидыч, дожили мы с тобой, когда русское железо в иноземщину идет!

Демидов глянул на царя; лицо его было вялое, с желтизной. Никита вздохнул и сказал:

— Поберег бы себя, государь Петр Ляксеич.

Цать весело оскалил зубы; глядя на водный простор, откликнулся:

— Некогда беречься, Демидыч; надо российскую землю на простор вывести; вот тогда-то и отдохнем. Ох-х...

Да, прошло все! Сейчас Демидов повесил голову, ехал молча; на сердце — горечь и тоска.

В Любани, в ямской избе, толпилось много людей разных чинов и званий.

Никита, кряхтя, вылез из колымаги, оперся о костыль; у самого дрожали ноги. Понял старый тульский кузнец, что свершилось непоправимое горе.

В это серое утро, в начале шестого часа, царь Петр Алексеевич умер на руках жены.

Никита Демидов бессильно опустился на лавку и окаменел.

Безволие и тоска овладели стариком: «Как понять всю потерю? Куда торопиться? Что там, в Санкт-Питербурхе? Чать, не до горных дел?»

Подавленный горем, он выехал из Любани.

Прямо с дороги Никита поторопился к телу государя. В малом дворцовом зале, затянутом золотою тканью, на катафалке стоял большой дубовый гроб, крытый золотым глазетом. Высокие двери зала открыты настежь: желающие могли свободно прощаться со своим государем.

Ноги Демидова отяжелели; он шел медленно, тяжко к последнему пристанищу императора. Поглядывая на высокого, сухого старика, люди расступались. Лицо Никиты было желто, как у аскета; старик крепко сжал тонкие губы; черные, глубоко запавшие глаза тянулись взором к погребальному ложу царя.

Лысый череп Демидова поблескивал. Никита подошел к гробу.

На шелковой подушке лежало знакомое застывшее лицо императора. Перенесенные страдания запечатлелись на нем.

На царе надеты шитый серебром кафтан, сапоги; при нем — шпага, и на груди — андреевская звезда.

При гробе дежурили молчаливые и строгие офицеры в парадной форме; поодаль стояли двенадцать драбантов в черных епанчах и в широкополых шляпах с крепом.

Демидов приложился к холодной руке царя; слезы облегчили его горечь. Он долго, пристально глядел на дорогое сердцу лицо государя и, плача, пожаловался:

— Эх, поторопился ты, Петра Ляксеич, дел-то сколь осталось недоделанных...

Постукивая костылем, старчески шаркая ногами, он пошел к выходу.

Спускаясь со ступеней дворца, Никита вспомнил, что ему идет семидесятый год; впервые от ощутил свои немощи.

2

Страна присягнула императрице Екатерине Алексеевне — жене Петра. Никита Демидов замкнулся в своем каменном доме, что ставлен близ Мойки-реки; приказчики подолгу ожидали его распоряжений. С Каменного Пояса торопил делами Акинфка, а дел не хотелось принимать. В середине марта впервые над Санкт-Питербурхом выглянуло на короткий час весеннее солнце, поголубело небо.

Демидов отслужил в домашней церквушке сорокоуст по усопшем царе, подстриг бороду, надел шитый галунами кафтан с манжетами из брюссельских кружев и велел подать карету.

Резвые серые кони в яблоках мчали старого Демидова на Васильевский остров. Впереди скакал форейтор.

Народ расступался и, глядя на двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, пугливо косился...

Ехал Демидов к правителю Александру Даниловичу Меншикову.

Много воды утекло с той поры, когда Александр Данилович и тульский кузнец впервые в Москве свиделись.

Порядком-таки обрюзг Александр Данилович, однако не сдавался. Ходил бодро, прямо. Меншиков встретил Демидова приветливо. Думал увидеть Никита уныние на челе царского сподвижника, но Александр Данилович был весел, блестел драгоценными перстнями. На нем надет был шелковый малиновый кафтан, весь в кружевах, в руках — табакерка, осыпанная бриллиантами.

Демидов укоризненно поглядел на царедворца и понял: радуется тайно «Алексашка» смерти государя. Беда смертная висела на вороту Меншикова: заворовался вельможа и царь незадолго до смерти отстранил его с места президента Военной коллегии да учинил след-

ствие. Не сносить бы Меншикову из-за своей алчности головы. Петр Алексеевич на заступу Екатерины сказал ей: «Не хлопочи за него. На сей раз не спущу. Помни, Меншиков в беззаконии зачат, во грехах его родила мать и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, то быть ему без головы».

Но сейчас все это миновало. Место президента Военной коллегии было ему возвращено. Добивался Меншиков прикрытия следствия да упрашивал царицу подарить ему украинский город Батурин...

Вельможа водил Никиту по покоям, хвастался своей властью. Никита был угрюм и деловит...

— Ты, Демидыч, всегда кстати явишься,— сощурил глаза Данилыч,— ровно нюх у тебя волчий. Обрадую я тебя. Угадай!

— Неужто тяжба какая в сенате к добру закончилась?— допытывался Никита.

— Получше того,— тряхнул париком Меншиков.— Да будет тебе известно, Демидыч, государыня наша императрица мыслит тебе и твоим сынкам пожаловать диплом на дворянство. Запомни, Демидыч, до чего простерлась милость царицы. Ведомо тебе, что дворяне воинскую службу нести обязаны, но, зная любовь твою к рудокопному делу, велела государыня, чтобы тебя и детей твоих и потомков, против других дворян, ни в какие службы не выбирать и не употреблять...

Никита сидел, не шелохнувшись, не радовался дворянству. Сгорбился старик и недовольно пробубнил:

— Того боюсь я, Ляксандра Данилыч, не в свои сани сядем мы с сынками. Какие мы дворяне? Отродясь мужики сиволапые...

Стремясь сменить беседу, он спросил сокрушенно:

— Как здоровье нашей матушки Катерины Лексеевны? Извелась, поди, милостивица?

Меншиков легко, не задумываясь, ответил:

— Хлопочет обо всех. Время, Демидыч, трудное приспело.

— Да, да, приспело,— провел рукой по лысой голове Никита и задумался. На его лице не было радости от пожалования дворянством.

Провожая до приемной, князь разочарованно глядел в сухую спину Демидова и думал: «Эх, видать, стар стал! Ишь, и дворянству не обрадовался...»

Мимо окон кареты мелькали оснеженные дома; мостовая была мокра; подтаивало. Над адмиралтейски-

ми прудами на деревьях горланили прилетевшие грачи.

Никита подумал: «Пора на Тулицу вертаться,— там, поди, весна шествует. На озерах прилетные гуси гогочут».

Опустив голову, уперся подбородком в костыль: «И когда только выберешься? Дел столько и в сенате и с иноземцами. Акинфка торопит со сбытом железа, от него амбары на пристани ломятся. Вот и езжай тут!»

3

В июне Никита Демидов свиделся с государыней. В Летнем саду прохаживалась она по песчаным дорожкам. В высоких липах шумел ветер; на Неве ходили гребешки; июнь стоял холодный, ветреный. Екатерина Алексеевна куталась в теплую душегрейку. Лицо ее светилось тихой грустью; было оно по-женски просто и сиротливо. Не почуял в ней Никита заносчивости. Ему до боли стало жалко царицу. Кругом интриги, родовитая знать спорит, идут подкопы.

На садовых лужайках пестрели газоны. Никита молча взял руку царицы — она была холодна,— поцеловал. У самого на глазах заблестели слезы. В горле пересохло, тихим голосом он сказал:

— Благодарствую, царица-матушка, за все...

Позади, в приличествующем отдалении, шла свита. Царица остановилась, угадала женским сердцем искренность Никиты, взглянула на него добрыми глазами:

— Проси, Демидыч, что тебе хочется...

Никита опустил лысую голову:

— Ничего, матушка-царица, не надо...

На обширной площадке пустынно валялись камни: навезли, мыслили строить фонтан, да не заготовили труб. Демидов заметил это. В тот же день по возвращении домой на Мойку он погнал в Тулу нарочного срочно отлить фонтанные трубы. Спустя немного и сам он выехал на тульские заводы.

Все лето торопил Никита с трубами: хотел государыне сделать приятное. Как всегда, он вставал рано, умывался студеной водой, садился в тележку и ехал на заводы. Старик был сух, легок; сердце его осталось глухим и суровым: на работе за нерадивость Никита бил кабальных костылем. В троицын день в лесных дачах по его указу запороли двух углежогов за то, что не уп-

равились к сроку с пожогом угля. Чтобы замести следы, их повесили в чаще на березах, наводя мысль на самоубийство.

Скупость росла, как ржа, с каждым днем. Всякую заваль подбирал Никита на дорогах и сносил в горницу Ночью старик спал тревожно: все боялся воров. В полночь вставал, обходил заплот, дразнил псов: «Злее будут».

Особенно много душевного расстройства приносил ему государственный оружейный завод. Красильников умер в 1714 году, но стройка была завершена другим русским самородком. В эти годы для несения караульной службы в Тулу прибыл Оренбургский пехотный батальон, а с ним солдат Яков Батищев. Однажды служивому удалось попасть на недостроенный завод. Яков с юности был мастер на всякие выдумки, и сейчас, бродя по мастерским, он с большим вниманием рассматривал устройство разных механизмов. С этого дня солдат стал часто посещать завод и присматриваться к работе оружейников. Вскоре он сделался желанным гостем в Кузнецкой слободе, где долгие часы проводил в умной беседе с мастерами. Полгода спустя после своего прибытия в Тулу солдат Яков Батищев удивил всех оружейников: он придумал машину для отделки стволов и механический ковальный молот. Об его удаче дознался царь Петр Алексеевич и поручил ему построить такую машину, которая могла бы ускорить выделку оружия. Солдат оправдал доверие царя: он изобрел такие механизмы, которые в восемь раз убыстряли выделку оружия против старой, ручной работы. Петр Алексеевич не остался в долгу перед умельцем и назначил его начальником завода. С той поры из года в год завод стал расти и обстраиваться. Мало-помалу деревянные постройки заменялись каменными, росло число работных людей. Никита Демидов сам попытался попасть к Батищеву и посмотреть на его машины. К тому времени, в 1718 году, строитель завода был пожалован званием сержанта от артиллерии и был в большой силе. Принял он Никиту радушно, показал свои машины, но от объяснений воздержался.

Лет пять тому назад Якова Батищева перевели в Санкт-Питербурх, где поручили постройку пороховых заводов. Строитель отбыл, а завод, совсем рядом с демидовским, работал на полный ход, и это пуще всего беспокоило старика.

— Вытеснит, погубит наше дело сей завод!— жаловался Никита.

Он знал, что на Урале много простора для демидовского рода, но старику хотелось и в Туле быть первым по выделке оружия. От тревожных мыслей он еще больше изводился, тело становилось суше, немощнее; кожа пожелтела, как пергамент. Только глаза в темных провалах глазниц горели волчьим блеском. Никита жадно держался за жизнь.

К августу отлили фонтанные трубы; обошлись они дорого и большие хлопоты причинили. Отправили их в Санкт-Питербурх водным путем. Глубокой осенью баржа с трубами вошла в Ладожское озеро и поплыла на запад. На второй день на старой Ладоге забурлила непогодь, сильным ураганом понесло баржу с трубами на камни и разбило. Фонтанные трубы потонули. Приказчик, сопровождавший баржу, утонул, а то разделался бы с ним Демидов по-своему.

Узнав про потерю, Никита загорелся, хотел ехать сам к Ладоге, да ушла сила. Нет-нет, да залеживался Никита по утрам в постели: одолевала слабость.

— В землю тянет,— жаловался он жене.— Похожено, поезжено, чать и отдохнуть пора...

Сам зорко высматривал, что скажет лицо жены; но она искренне скорбела, хоть и тяжелый нрав был у мужа.

Послал Никита нарочного в Санкт-Питербурх, наказал приказчику отыскать поскорей человека, который смог бы вызволить с каменистого дна Ладоги фонтанные трубы. После долгих поисков приказчик отыскал бравого солдата Герасима Тюрина, который брался повытаскать трубы, только бы добыть от начальства дозволение отлучиться из полка...

Разбитной демидовский приказчик добился приема у санкт-питербурхского генерал-полицмейстера Дивьера и просил его отпустить солдата на Ладогу. Господин Дивьер не мог сам решить этот вопрос, но из уважения к Демидову тотчас написал письмо князю Александру Даниловичу Меншикову.

Светлейший князь Меншиков по весне 1727 года дозволил тому солдату Герасиму Тюрину отлучиться на Ладогу. Солдат все лето отыскивал фонтанные трубы, обошел все берега, много раз нырял на дно, но груза так и не отыскал. Был дран плетьми и водворен в гарни-

зонную часть, а фонтанные трубы так и остались лежать на дне сварливой Ладоги...

Но Никита Демидов об этом уже не узнал...

С осенними дождями на Никиту напала хворь. Он упрямо ей не поддавался, брал костыль и брел на двор. На просторе гудел холодный ветер, река Тулица несла вдаль свои мутные воды. У пруда поднимались демидовские домницы. Никита подолгу стоял на крыльце и смотрел на знакомые серые дымки.

Кругом двора раскиданы каменные и деревянные строения: застроился за долгие годы Демидов...

В конце октября выпал снег, ударили морозы, воздух посинел; Демидову полегчало. Вечером в горницах Никита подолгу засиживался в кресле, часами глядя пронзительно в окно, наблюдал, как густели сумерки. В теле не было боли; но по жилам сочилось непонятное томление.

В зимний ноябрьский день Никита тихо заснул в кресле и не проснулся больше...

Похоронили Никиту Демидова в родной Туле, под папертью церкви Рождества Христова. И церковь та оттого наименована Демидовской.

Тульские литейщики отлили своему хозяину тяжелую чугунную доску и прикрыли ею гробницу...



ЧАСТЬ 4

Глава первая

I

От горячего солнца помрачилась белизна полей, засинели ельники, зашумело водополье. Весна хлынула дружная, буйная, широко разлились реки. Только что отошли вешние тали, из дальних горных скитов к Акинфию Демидову пришли два раскольничьих старца. Оба постнолицые, седые бороды шильцем; были они на ходу легки и подвижны. Акинфий знал старцев: оберегаясь от царских преследований, бежали они с Олонца. По государеву указу надлежало шатучих раскольников заковать в железо и представить воеводе, но еще Никита Демидов в ту пору рассудительно порешил не трогать старцев. Акинфий Никитич скитников принял хлебосольно, накормил; с дороги их испарил в баньке. Ели старцы скудно: сухари да квас,— ко всему зорко приглядывались. Акинфий терпеливо выжидал; знал, не попусту пришли скитники. Гостей поместили в малой горенке и незаметно следили, что будут делать и какие вести речи. Кержаки хозяйские образа в горенке завесили тряпьем: бог на них писан еретический, никонианский. Странники вынули из дорожных сум по иконке древнегреческого письма, поставили на подоконник и до полуночных кочетов отбивали перед ними земные поклоны. После молитв старцы не легли на постель, а, скинув ветхие сермяжки и разостлав их на полу, молча отошли ко сну.

На третий день скитник постарше сказал заводчику:

— Скит наш дальний и немалый. Во спасение древ-

него благочестия дороги к нему трудны. Но одолели нас разные дозорщики; заступись за нас перед властями мира сего, а мы тебе отслужим!

Старцы повалились Демидову в ноги. Хозяин бережно поднял скитников:

— Рад послужить вашему делу, но чем отблагодарите? Есть у вас руды, медь?

Кержаки переглянулись, старший тихо открылся:

— Дай нам рудоведца, сведем мы его к потайному месту, и рудной меди там не ископать во веки веков. За тем и пришли...

Акинфий призвал Щуку. Старцы пытливо оглядели его: ростом мал, тщедушен, а голова большая, не по росту, и ноги кривые.

— Выдюжит ли человек? Путь наш дальний, на многоводную реку Иртыш...

Ходил Щука по лесам и чащобам, по горам и падям, отыскивал руды. Глаз у бродяги наметан; душа у него к металлам ласковая.

Щука тряхнул головой, усмехнулся:

— Сказал бы словечко, да волк недалечко. Сибирский варнак я; тать не тать, а на ту же стать, а в деле сами увидите...

Акинфий блеснул серыми глазами:

— Верно, рудоведец добрый он. Ведите! Откроете рудное место — помогу вам...

Скитники поджали губы, чинно поклонились.

Путь предстоял долгий, а сборы короткие. Взяли по торбе сухарей; Щука — тульское оружье и рог для куренья.

Старцы недоброжелательно покосились.

«Погано зелье. Знать, антихристов пасынок».

Щуке дали лохматого и бойкого башкирского коня; скитники от коней отказались.

В росистое утро отправились рудоискатели в дальнюю дорогу.

2

Странники держали путь прямо на восток. Впереди легко и бодро шли старцы, за ними на башкирском коньке трусил Щука. Много дней ушло, далеко позади исчез в голубом мареве Каменный Пояс. Непочатые дремучие леса подавляли своим величием. Неприступные, глухие трущобы и буреломы сменялись болотами;

на зеленых островках в болотах разгуливали волчьи выводки.

Старцы шли уверенно, часто перебирая высокими посохами. Над людьми вились комары и гнус. Все трое — люди привычные, не беспокоились.

На привалах старцы жевали сухари, деревянным корцом[1] приносили из родника воду, пили, а Щуке пить из своего корца не давали.

— Пошто не даете?— злился Щука — В ярость приду — придушу да в зыбун брошу!

Скитники не пугались:

— Оттого не даем, что табашник. Антихристов пасынок!

— Смотри, на царя хулу возносите,— грозил Щука.— А ежели я кликну сейчас слово и дело государево? Вот что!

Старший старец осердился:

— Кричи до пупковой грыжи; услышат тя, соромника, сорока-белобока да волчица-лиходейка.

Откушав, старцы брались за руки и пели гнусаво псалмы. Вверху гудел вершинами лес; Щука шел к роднику и черпал воду ладошкой.

— Годи ж, черти; и впрямь укокошил бы дуроломов, да тут и сам из чащоб не выйдешь.

Леса становились гуще: не продраться, не пробиться. Где ветровал, где вырванное дерево с корнем повалилось на моховую перину. С корней дерева густой бородой свисал мох. И раз на такой перине они увидели лесного боярина, Михайлу Топтыгина. Лежал он сонный и ленивый, покрыв глаза лапищами; не пошевелился, не пожелал взглянуть на путников. Хоть струсил Щука, а зло обронил:

— Не шевелится, идол; должно, скитская говядина не по нраву.

— Молчи, греховодник!— пригрозили Щуке посохами старцы.

В другом месте в чащобе напоролись на медведицу; ласунья опустила язык в муравьиную кучу и наслаждалась щекотаньем.

Время между тем шло. Подходили петровки; лето стояло жаркое, сухое; за все дни не упало ни одной капли дождя, болота и кочки пересохли. Где-то от молнии загорелся сухостой, и теперь пылали леса; в туск-

[1] Берестяным ковшом.

лом свете солнце казалось багровым, и путники задыхались от дымного смрада.

Дорога тянулась нудная; сухари убывали быстро.

Леса стали редеть, тропы пересекали быстрые реки и ручьи; переходили вброд. На берегах кой-где белели свежим срубом починки и займища: крестьяне с огнем выходили на лес, выжигали поле...

В июне, пройдя болотистую Барабу и Кулундинские степи, пришли на Алтай, к реке Локтевке. Кругом шли боровые гривы, в низинах зеленели поросли, мелкие кустишки. Старцы оживались, зорче поглядывали на холмы:

— Ну и дошли! Теперь знай ищи...

Демидовский рудознатец обыскал места и быстро напал на чудские копи — кое-как углубленные ямины до пяти сажен. По охренным мягким рудам догадался Щука, что быть тут золоту, серебру и меди. В окрестных местах часто попадались груды окалин и промывального сора.

Старцы опустили рудоведца в яму неведомых рудокопщиков. Он зажег лучину, обшарил темные углы и завалы и в них нашел медные долото и клин; к дереву сыромятным ремнем подвязан тяжелый камень.

— Вот чем руду добывали.— Рудоведец с любопытством разглядывал остатки чудских орудий добычи.

За эти дни Щука словно помолодел, проворно, легко бегал с холма на холм и радовался. Край привольный, подлинно рудный.

В полдень вышли на Локтевку-реку.

В летнюю пору она неглубока, но быстра, в своем ретивом беге подмывала песчаные берега. В теплой воде играла рыба.

Совсем весело стало; Щука шлепал старцев по спине, сулил:

— Непременно Демидов поможет вам. Попомните мое слово, скитские шкуры!

— Не трожь мерзкой лапой,— сторонились старцы.

В тот же день в буграх на устье Шульбы нашли пять заброшенных древними рудокопщиками плавильных печей и горки припасенных руд.

— Ой, гоже!— возрадовался Щука.— Хоть сейчас, отцы праведные, разводи кадило!..

Старцы смиренно смотрели на заречный закат и творили молитвы. Щука отобрал лучшие куски руды и сложил в подорожную суму.

3

Старцы повели рудоведца Щуку дальше и под вечер в субботний день дошли, усталые и потные, до Колыван-озера. Кругом громоздились причудливые скалы; озеро было глубокое, зеркальное. На гладкой воде гасли отблески заката. С гор шла тихая прохлада.

Старцы, отмолившись, лежали спиной друг к другу, отдыхали. В далекой чащобе завыли волки. От волчьего воя Щуке не спалось, сидел он у костра и прислушивался. Волчий вой смолк и скоро раздался ближе...

Рядом послышался треск; ломая чащобу, раскидывая молодой ельник, на костер мчался зверь. Щука встряхнулся, схватил ружье, и в ту же минуту на полянку к костру выскочил загнанный лось. Измученный зверь дымил испариной; из лесной чащобы сверкали волчьи глаза.

Лось, не колеблясь, повернул к костру, стал мордой к Щуке. Кожа на огромном теле зверя вздрагивала мелкой рябью. Лось низко склонил рога и застыл в покорной позе. Рудоведец встал и подбросил в костер сухого валежника; вспыхнули веселые языки огня. Волки отскочили и злобно смотрели на человека и лося. Лось стоял неподвижно. Щука подошел к нему: «Ишь ты какой красавец! Встретил бы в пути—застрелил бы».

Сучья сгорели, пламя угасло, в чаще замелькали огоньки волчьих глаз.

Варнак не утерпел, быстро вскинул к плечу ружье и выстрелил. Лось одним махом перескочил костер и людей и скрылся в чаще. В ельнике затрещали сучья: волчья стая кинулась от костра...

Ночной мрак погустел, звезды горели ярче, старцы не пробудились: привыкли к ночным шумам и треску огня. На росистой траве валялся берестяной корец. Щука не утерпел, сходил к озеру, зачерпнул корцом воды, напился.

«Ну вот и опоганил староверску посудину»,— ликовал он.

Ночь прошла тихо. Утром озеро горело серебром, дальние берега таяли в дымке. По случаю воскресного дня старцы молились дольше, а Щука пошел по следу лося. И тут, в обрыве над рекой Локтевкой, в кустах, набрел он на древнюю копь, а в ней отыскал медную руду.

4

Вокруг лежали крутые горы с утесами и безлесными вершинами. Щука и старцы четыре недели отжили на Колыван-озере. Варнак бил птицу и зверя в горах; старцы ловили в озере рыбу; тем и жили. Рудознатец исходил и облазил горы: дознался, что в них имеются превосходные порфиры, яшмы, агаты, медные руды и, что радовало, намечалось в горах золото и серебро. Обо всем Щука помалкивал; старцам — ни слова.

Приключилось тут наткнуться Щуке на чудский копань. На дне глубокого копаня сидел человеческий костяк, а подле лежали кожаный мешок, медные и каменные молотки. Рудознатец поспешно распорол кожаный мешок и оторопел: в мешке поблескивали куски серебряной руды.

Дальше ждать было нечего; конь Щуки одичал, отъелся; старцы рыбу ловили и все молились. Надоело Щуке это бесконечное моленье, с охотой прогнал бы старцев, да без них дорогу потеряешь.

— Ну, отцы-скитники, отмолились. Хватит! Не пора ли в путь-дороженьку?— объявил старцам рудознатец.

Старцы смиренно поклонились варнаку.

— И то пора! Хлебушко весь давно поприели, а без хлебушка тошно. Идем!— согласились они.

Утром Щука с немалой хитростью поймал одичавшего коня, старцы набили торбы сушеной рыбой и тронулись в обратный путь.

Продвигались медленно: варнак заставил старцев рубить на деревьях метки. Старцы хоть и роптали, но работали так, как понуждал их каторжный.

После больших мытарств добрались рудоискатели до Невьянского завода. Прознав об их прибытии, Акинфий Демидов немедленно позвал Щуку к себе.

Сидел хозяин в сумрачной горнице с каменным сводом; любил Акинфий Никитич покои умершего батюшки; все тут было прочно, тяжеловесно. Как король, восседал Демидов на резном дубовом кресле. Брови нахмурены; глаза серы, проницательны; весь подался навстречу рудознатцу, как только Щука переступил порог.

— Ну! — Голос хозяина под сводами звучал твердо.— Нашел?

Варнак скинул шапку, помедлил. За стрельчатым окном синело небо, чиркали крыльями хлопотливые стрижи. Щука степенно поклонился Акинфию Никитичу.

— Набрели, хозяин, на добрую медь, и руды той немало...

— Добро! — Демидов сощурил глаза, разгладил ладонью усы, выжидал. Щука поглядел на широкие плечи хозяина, подумал: «Сказать аль утаить?»

Демидов с грозным видом подошел к рудознатцу:

— Почему о серебре молчишь? На цепь захотел?

Каторжный перепугался, сознался:

— Медь та особая, много в ней серебра. Вот!

— Добро! — крикнул Акинфий.— Накажи Мосолову, пусть скитников не забудет: слово Демидова — камень. Сечь бы тебя плетью, пошто перед хозяином лукавишь, да на сей раз прощаю. Гнев на милость кладу: накажи конторе пять рублев выдать. Иди...

Демидов опустился в кресло, задумался...

Прошло несколько дней. Акинфий Никитич сам съездил в Екатеринбурх, в Сибирский обер-берг-амт; был отменно принят Генниным и закрепил за собой сибирские земли, где отысканы были медные руды...

5

Серебро — металл благородный, по новым царским законам частным лицам запрещалось его добывать. Это весьма тревожило Акинфия Демидова. Частенько он вспоминал покойного царя Петра Алексеевича и сердечно сокрушался о нем. Царь был человек огромного ума и великого размаха, непременно помог бы Демидовым разворошить сибирские серебряные руды. Акинфий вздыхал горько:

— После царя Петра Алексеевича не цари пошли, а проедалы... Эх!

Запрет на благородные металлы лежал тяжкий; пахло каторгой за поруху запрета. Но оттого у Акинфия Демидова пуще любопытство разжигалось. Решил он тайно испытать колыванскую медь. Место для этого выбрал глухое, пустынное — лесистый остров на Черноисточенском озере. Оно было глубоко, прозрачно, на дне видны окаменелые коряги. В зиму на остров забегали голодные волчьи стаи, грызлись, выли; летом на острове хлопотали крикливые гуси да крякали утки.

Акинфий Демидов на душегубке приплыл на остров, исходил и осмотрел его вдоль и поперек. Место глухое, разбойничье; по ночам густые туманы. Под маячной сосной вросла в землю мшистая охотничья избушка. По

наказу Акинфия Никитича привезли на остров тульского доменщика; сложил он из камня при избушке малую домницу. Работенка была потешная: у Демидовых домны гудели, тысячи пудов чугуна плавили, а тут забава-печурка. Чудил хозяин, но доменщик, однако, помалкивал. Не любил Демидов смешки и пустые слова. Домницу быстро сладили, а доменщика отвезли обратно.

Когда печурка просохла, на остров тайно доставили медь да старика-литейщика, знающего толк в благородных металлах. Привезли литейщика вечером; на острове волочился седой туман. Акинфий на берегу жег костер; он пристально оглядел всклокоченного старика, насупился.

— Серебро плавить можешь?

— Покажи медь! — глядя на Демидова волком, сказал мастер.

Литейщика свели в избушку, показали голубоватую медь. Он долго ворочал ее, глядел; засиял весь:

— Будет, хозяин, серебро...

С делом не мешкали; лохматый старик хлопотал у домницы. Акинфий и Щука помогали ему. Старик, как кот, неслышно ходил у домницы, зорко поглядывал на пламя. Говорил мало. У домницы плыла жарынь, на лбу Демидова выступил крупный пот. Старик торопил:

— Эй, што рот раззявил, подкидывай уголь!

Демидов покорно в коробе подтаскивал к домнице уголь. Мастер по привычке чесал ногу об ногу, глаза по-кошачьи глядели на огонь в домнице, а сам шептал сухими губами, седая борода колыхалась:

— Серебришко-золотишко...

Туман на озере растаял; в темной воде сверкали гаснущие звезды. Мастер не знал ни сна, ни покоя: поглотила работа.

Серебро наконец выплавили. Старик отлил слиток, положил перед Демидовым:

— Все труды наши праведные... Эх, серебришко-золотишко...

Слиток был тяжел, слабо поблескивал; Акинфий не мог оторвать глаз, думал: «Добро серебро, да куда девать?»

Мастер угрюмо уставился в землю:

— Серебро—металл царский; отливать из него рублевики — ой, как гоже! Серебришко-золотишко...

У Демидова замерло сердце; поднял глаза, встре-

тился с воровским взглядом Щуки. Каторжный шевельнул плечами, сказал горько:

— За то клеймен был... Не смущай, хозяин!

Лохматый литейщик не унялся:

— С того серебра рублевики чище царских будут...

Демидов засопел, отвернулся...

На другой день в тихий час, когда погасал закат, Демидов отплыл с острова.

— Мне-то что робить? Поджидать еще медь аль уходить? — угрюмо спросил отъезжавшего хозяина литейщик.

Щуки поблизости не было; Демидов подозвал старика; порылся в кармане, вынул добрый петровский рубль.

— Видишь? — Акинфий подбросил рубль на ладони.

— Вижу! — откликнулся старик, подтянул портки.— Дайкось огляжу!

Демидов передал серебряный рубль, литейщик оглядел деньгу пытливо, куснул зубом,— у старика зубы еще крепкие и острые,— обрадовался:

— Заправский рупь.

Демидов взял старика за руку, задышал жарко:

— Можешь такой сробить?

Глаза литейщика забегали, он, не спрося у хозяина, заложил рубль за щеку. Нехотя, угрюмо буркнул:

— Буде серебро — буде и рупь. Получше этого сработаю.

Акинфий Демидов отплыл, а сам думал и спрашивал себя: «Неужто пропадать серебру?»

На берегу озера Акинфия Никитича поджидал оседланный конь; Демидов взобрался на него и в темень чащобой тронулся в путь к Невьянску. Всю дорогу его тревожили думы о серебре.

Глава вторая

1

Акинфий Демидов загорелся новым делом: стал своим коштом ставить Колыванский завод. Из Невьянска к далеким сибирским рудам потянулись скрипучие обозы: ехали в неизведанный край переводимые невьянские мастеровые и рабочие. Завод строили и копали ру-

ду одновременно: рабочих рук не хватало. Акинфий Демидов объехал сибирское земское начальство, задарил, и оно отдало ему всех «нерадивых» в крае людей для отработки подати да снабдило его городовыми казаками.

Сибирь — край обширный, диковинный: руд в нем — горы, дело оттого разрасталось быстро. Пришлось Акинфию Никитичу ехать в Санкт-Питербурх и просить указ о приписке новых подданных.

Сплыл Акинфий Демидов по Каме-реке к устью, там пересел на ходкий струг, что бежал на Казань: мыслил заботливый хозяин учинить попутную поверку своим приказчикам на казанских складах. Над Волгой грело июльское солнце; на берегах горбилась желтая пшеница, ждала серпа. По левобережью необозримой скатертью простирались поемные луга; сверкали косы; пестрели сарафаны да скрипели воза, груженные сеном. По берегу загорелые бурлаки тянули бечеву. Из-за луки влево мелькнули минареты, звонницы, кущи садов; ярко синело небо, и распевали в просторе жаворонки. На горизонте вырастали зубчатые стены казанского кремля. Против Казани на крутояре разлеглось село Услон; там на берегу еще Никита Демидов понастроил амбары для чугуна. Струг замедлил бег, Акинфий сошел на косную, и волгари ударили в весла. В Услоне Демидов отоспался, поел и пошел бродить по селу: отыскивал мельников. Улица села была широка и пыльна; в дорожной пыли купались крикливые воробьи. Акинфий щурился на солнце и думал о Санкт-Питербурхе. Мысли были сытые, ленивые. Приберег он добрых соболей да камень-самоцвет невиданной красы отобрал у кабального. «Поди, порадуется князь Александр Данилыч,— тешился Демидов,— такого соболя и в иноземщине не видали...»

Солнце жгло; у ворот лежал пес, из раскрытой его пасти вывалился язык. Акинфию было немножко грустно: до него дошла весть, что царица Екатерина Алексеевна ненадолго пережила своего супруга, преставилась, а на престол возвели внука Петра I—великого князя Петра Алексеевича. Проворный да башковитый Александр Данилович Меншиков, вершивший дела при Екатерине, и тут оказался при могуществе. Малолетний император всецело подпал под влияние вельможи; чтобы это дело закрепить, Меншиков, решив, что хозяйский глаз верней всякого другого, перевез царя в дом свой,

что на Васильевском острове, а мая двадцать пятого обручил его со своей дочкой Марьей Александровной. Попы с тех пор поминали ее великой княжной и нареченной невестой царя.

Любуясь высоким лётом голубей, Акинфий не заметил, как вышел за околицу села; на косогор круто поднималась песчаная дорога. Там под тенью берез стояла бричка, отпряженные кони хрупали брошенную траву. Демидов поднялся на холм: пахнуло медовым цветом, жужжали пчелы, всюду серели могильные кресты. У куста на камне сидели две тонкие большеглазые девушки и, обнявшись, горько плакали. Среди крестов, под тенистой березой, высокий, костистый человек рыл заступом могилу. Наклоняя седую голову, человек с хрипом выворачивал земляную штыбу. Только сейчас Акинфий заметил: на земле, рядом с бричкой, лежала покойница; у изголовья гроба дрожало бледное пламя скорбной свечи.

— Стой, кто такой? — раздался окрик; в ту же пору из-за куста вышли два солдата; оба в линючих пыльных кафтанах, лица небриты, щетинисты; в руках — фузеи. Караульные были злы, подошли к Демидову.— Что надоть?

На человеке, что рыл могилу, надет был синий поношенный кафтан. При солдатском окрике человек вздрогнул, обернулся. Акинфий ахнул:

— Господи, да не может того быть; Александр Данилыч, князь Меншиков?

Человек воткнул заступ в землю; одутловатое щетинистое лицо его осунулось; жилистый тощий подбородок висел желтой складкой. Нос, однако, был мясист, глаза суровы.

— Никак, Демидов? — прищурившись, узнал Меншиков.

Оба крепко обнялись. Солдат взял Акинфия за плечо. Демидов поежился.

— Оставь на минуту! За это изволь! — Заводчик сунул в заскорузлую руку служивого рубль. Караульный почесал затылок:

— Недолго только, а то офицеришка сметит. Вон, в Услон попер.— Солдаты отошли к возку. Ветер колебал желтое пламя свечи. Девушки подняли удивленные глаза; в них свежей росой блестели слезы. Меншиков присел на земляной холм и закрыл лицо руками:

— Вот все и кончилось, Демидов! Был князь, а те-

перь по царской воле — ссыльный. В Сибирь гонят!

У Акинфия дрогнуло сердце; он молча опустил голову. Было страшно, и не хватало слов для утешения. Голос Меншикова хрипел, седая грива была спутана, меж пальцев текли бессильные слезы:

— Ныне повергнут в прах... От горя-обиды не стерпела моя голубушка, Дарья Михайловна, упокоилась тут...

Широкие костлявые плечи подергивались. Демидов сдвинул брови, молча разглядывал княжон, пытаясь угадать, которая из них была нареченною юного императора.

Девушки, обнявшись, молча скрылись за терновником. Князь, тяжко дыша, поднялся, взял заступ:

— Последнюю пристань довелось ладить...

По желтым обрюзглым щекам текли беспрерывные слезы.

«Старик и немощен,— подумал Акинфий про князя.— Вот как на большом плавании выходит. То покой, то буря!..» — А вслух Демидов сказал:

— Прости, Александр Данилыч, тороплюсь. Не чаял, не гадал и помочь чем — не знаю...

Акинфий подошел к покойнице, поднял покров. Бледное застывшее лицо обострилось, было спокойно; на лбу синели тонкие жилки. Он быстро опустил покров; от дуновения угасло трепетное пламя свечи.

Из-за возка вышел солдат, кремнем высек огонь, зажег свечу и сказал грубовато:

— Торопись, купец!

Медленно, тяжкой походкой Демидов пошел к селу. По пыльной дороге навстречу шел офицер, Акинфий по межнику свернул в сторону. По его кафтану били тяжелые колосья пшеницы. Он все шел, пока не вышел на волжский яр. По реке плыли струги, над холмистыми полями носился серебристый тенетник. За Волгой блестели золоченые главы казанских церквей; в теплом дрожащем воздухе гудели шмели. На кладбище печально прогудел колокол.

Акинфий обнажил голову:

— Погребают сердешную...

В Услоне прочный, домовитый старик с узловатыми, жилистыми руками сидел на завалинке, лицо покрыто золотым загаром.

— Князь, а начальство строго к нему,— рассказывал Демидову крестьянин.— Служивые у княжьего

мальчонки из кармашка вынули зеркальце — малому была утеха; у княжон сорвали последние ленты и кружева и кинули в пыль на дорогу... Вот оно что!

Вечером по дороге к парому подкатила телега, на ворохе соломы сидел, сгорбившись, Меншиков; угловатая голова его покачивалась. Рядом сидели большеглазые девушки и белокурый мальчишка. Позади в бричке ехали два солдата и офицер. Бородатый возница в посконной рубахе и портках, босой, понукал коня; шел он рядом с телегой размашистым шагом и старался не глядеть на опального...

Акинфий Демидов всю ночь не мог уснуть, думал о превратностях жизни: «Был князь, и нет...»

Вспомнились ему Москва, кузня, копоть, багровый полусвет, молодец в преображенском кафтане. Демидов скрипнул зубами:

— Ух, лешие, какой дуб под корень свалили!

2

В Санкт-Питербурх Акинфий Демидов прибыл в сентябре; дули непрестанные морские ветры, стояла мокрядь; было неуютно, сыро. По многим местам серели длинные плетни да заборы; город затих в стройке. В матросской слободке слонялись моряки. В гавани отстаивались иноземные корабли. В царских кружалах и по непристойным местам, где проживали гулящие женки, толкались норвежцы, немцы, датчане, англичане, турки, французы. Пьяные матросы и рыбаки ходили в обнимку и орали песни.

Акинфий Никитич хотел было просить старинного покровителя барона Шафирова замолвить словечко перед царем, но дознался, что и этот находился в опале. По слухам, вельможа сам беспокоился за свою судьбу, боясь, как бы не последовать вдогонку за сиятельным Меншиковым.

Царь был молод, почитай дитя, был ему на исходе тринадцатый год, жил он привольно и весело, опекаемый князем Долгоруким. Сын того князя, юнец Иван Алексеевич, по душе пришелся царю. Хоть и весьма молод был князь Иван, но все запретное и срамное для его лет знал до тонкости; имел необычную слабость к женскому полу и к вину, в меру сил своих и возможностей просвещал и императора. Юный Петр Алексеевич сердечно привязался к Долгорукому и произвел его в

камергеры. Оба они все ночи проводили в забавах и зачастую в непристойном для их возраста веселии.

Воспитателем императора считался вельможа Остерман — умный и просвещенный немец, привезенный из иноземщины царем Петром I. Остерману приходилось вести и государственные дела. Старый вельможа находился в затруднительном положении. У него было немало врагов среди придворной знати: только и ждали случая, как бы подвести его под опалу. Надо было держать ухо востро и вершить государственные дела умело, но не менее важным и первостатейным было воспитание юного и способного императора. И тут выходило непримиримое: малый намек, данный императору о важности науки и трудолюбия, вызывал у царственного отрока неприязнь и охлаждение... Так и сложилось при дворце: Долгорукие были для веселия, Остерман же — для дел.

Акинфий Демидов через чиновных людишек добился свидания с Андреем Ивановичем Остерманом. Жил вельможа скупо, мрачновато, и сам он, чистый и аккуратный, вел речи размеренно, спокойно. Он весьма доброжелательно принял Демидова и выслушал челобитную о приписке новых деревень для добычи сибирских руд. Глядя на Остермана, Акинфий Демидов раздумывал: посулить соболей или промолчать?

Немец хорошо осведомлен был о рудных делах и на просьбу заводчика пообещал:

— Металлы нашему государству необходимы, и о челобитной вашей будет доложено императору...

Он поднялся,— несмотря на старость, был прям и подвижен,— первый откланялся, давая этим понять Демидову, что беседа их исчерпана.

Акинфий Никитич не верил в быстроту решений и был весьма удивлен, когда дознался, что спустя несколько дней Остерман запрашивал Берг-коллегию о демидовском деле.

Хотелось еще Акинфию хоть глазком поглядеть на императора. Туляк помнил дни, когда государь Петр Алексеевич да государыня Екатерина Алексеевна запросто принимали и отмечали Демидовых; хотелось увидеть молодого царя. Неугомонный, растревоженный этими помыслами, Акинфий Демидов разъезжал по Санкт-Питербурху. Было известно, что император забавы ради выехал со свитой на охоту в Стрельну.

В одном придворном доме Акинфия Никитича пред-

ставили юному камергеру, князю Долгорукому. Князек был высок ростом, строен, румянец играл во всю щеку, губы пухлые. «Сластолюбец»,— определил Демидов, степенно поклонился и повел речь о делах государственных. Камергер слушал рассеянно, поминутно переглядывался с хозяйкой — пухлой женщиной с темными усиками на верхней губе. Хозяйка млела под горячим взглядом повесы. Акинфий Никитич прикинул и порешил, что приспела пора действовать. Он бережно взял князя под руку: юнец был тонок, жухляв, и рядом с ним Демидов казался грузным. Подведя князя к окну, он улыбнулся:

— Ваше сиятельство, в Сибири на Каменном Поясе только и слуху о вашем братском попечении о здоровье царя-императора.

Уши князя загорелись; он благодарно пожал заводчику руку. Демидов меж тем продолжал:

— Не зная, чем показать свое радение перед государством, осмелюсь вас просить принять от меня невеликий дар. Привез я из Сибири соболей да самоцвет необычной игры...

— Едемте, сейчас же едемте! — сразу заторопился юноша.— Хочу видеть дары Сибири!

Акинфий Никитич усадил камергера в свою карету. Князь поразился богатству и великолепию: карета была просторна, позолочена, на запятках стояли два гайдука. Рысистые кони играли в дорогой упряжке...

— Вы в карты играете? — спросил камергер.

— Никак нет, ваше сиятельство! — Акинфий посмотрел на князька: на вздернутой губе пробивался первый нежный пушок.

— А вино пьете? — опять спросил князек.

Демидов отрицательно покачал головой. Камергер весь засиял.

— Ну, раз в карты не играете, вино не пьете, значит женщин отменно обожаете...

— Гхе, гхе! — поперхнулся заводчик.

— Не стесняйтесь,— улыбнулся князь, наклонился к уху Акинфия и стал рассказывать...

— Ух ты! — вздохнул Акинфий,— А мы-то по-сибирски, по-медвежьи те дела творим...

В демидовском особняке, неподалеку от Мойки-реки, все было добротно, привольно: стены крыты дорогим штофом, в люстрах сверкал горный хрусталь, на паркете

постланы мягкие персидские ковры... Князь морщил лоб и думал: «Из хамов вышел, а живет богато!»

Демидов провел камергера в боковушку; там на длинном столе лежали собольи меха; в лучистом свете мех отливал серебром; рухлядь была легка, мягка, и, когда ее гладили, из-под руки сыпались искорки...

— Демидов, голубчик! — алчно засияли глаза князя, румяным лицом он зарылся в мех.— Вот так подарок!.. Проси у меня чего пожелаешь!..

Акинфий Никитич разгладил усы, шевельнул плечами:

— А желать-то мне и нечего. Любы вы мне, ваше сиятельство, вот и хотел потешить. Боле ничего и не надо. Разве что?.. Да нет, не смею, ваше сиятельство...

— Вы о женщине? — полюбопытствовал камергер.

Акинфий усмехнулся:

— Что вы, ваше сиятельство, мне ли тем тонким делом заниматься, стар становлюсь... Держал думку увидеть государя-императора да к ногам его пасть...

Камергер поморщил лоб, курносое лицо улыбнулось:

— Это нетрудно... Седлайте коней, едем в Ропшу! Государь там отдыхать сейчас изволит.

— Ой ли! — возрадовался Акинфий.— Неужто будет встреча?

— Будет! — Князь проворно сгреб соболей в кучу, весело крикнул: — Демидов, вели отослать ко мне!..

«Однако и жаден же! — подумал Акинфий.— Молод, а руки цепкие. Видать с погляду: порода боярских кровей...»

После изысканного обеда и вин Акинфий и юный камергер сели на рысистых коней и поехали в Ропшу. Кони шли рядом, тянулись друг к другу мордами, обнюхивались и ржали. Вдоль дороги шли низинные места — болота и рощи; справа свинцово блестело плоское море. В Ропшу и обратно ехали колымаги, вершники, скакали гайдуки. Завидя князя Долгорукого, почтительно останавливались, кланялись, подолгу смотрели вслед.

«Несмышленыш, а в фаворе знатном,— подумал Демидов.— Эх, Петр Алексеевич, кабы ты жил да ведал, каким бы помелом повымел эту пустую шушеру!»

Всю дорогу князь без умолку болтал о женщинах. Демидов сам в этом деле понимал толк, но бесстыдство юнца заставляло его недовольно морщиться.

«Чего, как сорока, стрекочет? Эка невидаль женки! Женки да женки, а где дела? А дел-то и нет... Их, жили — были, а померли — и вспомнить-то нечем!..»

В Ропше среди лип стоял небольшой окрашенный в зеленый цвет дворец. Перед ним — куртины, дорожки, посыпанные золотым песком. Перед крыльцом бил фонтан; на деревьях чуялось дыхание наступавшей осени. Ветер срывал с деревьев и устилал жухлым листом клумбы и дорожки. Хмурилось небо, и на высоких липах бесприютно каркали вороны.

Во дворце шло веселье. Государь, две сестры камергера и молоденькая тетка императора цесаревна Елизавета Петровна играли в жмурки. В обширном зале, несмотря на дневной час, горели люстры, бронзовые бра. Цесаревна Елизавета, одетая по-мужски, была отменно прекрасна.

Царь раскрыл объятия и кинулся навстречу камергеру:

— Ах, душа моя, как мы тут без тебя соскучились. А это кто изволит? — Он уставился голубыми глазами на Демидова.

Акинфий Никитич растерялся.

«Господи, неужто это царь земли русской? — с горечью подумал он.— И хил и мал...»

Царь был невысок ростом, тщедушен, слегка курнос. Он капризно топнул ножкой, зазвенели шпоры. На нем надет охотничий зеленый камзол. Показывая на Акинфия, камергер сказал царю:

— Жалуй, человек этот почитаем был твоим дедом Петром Алексеевичем. То — сын Демидов!

Юнец вряд ли слыхал о Демидове, но все, что соприкасалось с именем великого деда, льстило его самолюбию.

— Баловаться да играть любите? — весело спросил царь.

Акинфий Демидов шагнул вперед и, поскользнувшись, упал на вощеном паркете. Цесаревна и княжны дружно захлопали в ладоши:

— Вот и медведь! Только охотиться!

Демидов поднялся на карачки, на шее вздулись жилы. Он конфузливо покраснел, но чутьем догадался, что царю и молодым княжнам приятна эта оплошность. Не успел он подняться, как царь быстро вскочил ему на широкие плечи и весело закричал:

— А ну, вези, Демидов!

Сердце Акинфия загорелось от досады: неужто ему, властелину Каменного Пояса, знатных руд да многих тысяч кабальных, быть конягой? Что бы сказали людишки, глядя на такое унижение? Однако он вовремя вспомнил, что вершник, вскочивший ему на плечи, император всероссийский. Акинфий Демидов фыркнул:

— Эх, куда ни шло, для царя можно!..

Поднялся он на четвереньки, как добрый конь, заржал по-жеребячьи и затопал по паркету. Девицы покатились со смеху...

3

Остерман сдержал свое слово. Акинфию Демидову дали грамоту о приписке новых крестьянских хозяйств к сибирским заводам. Юнец царь остался доволен Демидовым и сказал ему заученные слова:

— Ты, Демидов, нашему великому деду исправно служил, послужи и нам верно! В долгу не останемся...

Акинфий Никитич поцеловал его руку, а на душе тлела тревога. Он с горечью подумал: «Дед-то подлинно был велик и грозен, вон как поднял Россию, а внук-то... Э-эх!..»

Лучше не думать об этом.

Возвращался Демидов на Каменный Пояс по санному пути. Зимняя дорога установилась под Новгородом. Акинфий оставил Санкт-Питербурх в большой тревоге. Двор собирался в Москву, доходили слухи, что царь затеял навсегда поселиться в древнем граде; это весьма радовало вельмож, приверженцев старины. В Москве жилось обильно, вольготно, люди не торопились; под боком лежали дворянские поместья да вотчины. Петровский «парадиз» у туманных берегов не многим пришелся по сердцу: был неуютен, лежал на пустынных топких болотах. Недостроенный Санкт-Питербурх не имел многих удобств, казался тесным и неприглядным.

Слухи подтверждались: царь издал указ о прекращении стройки новых фрегатов, а кои были — поставили многие на причал, посняв с них убранства и орудия. Сподвижники и сторонники петровских новшеств немало кручинились такому обороту дела. Могло статься, все повернется к допетровской Руси.

Акинфий Демидов не одобрял малодушия, да и дела в государстве требовали иного.

В стране было неспокойно. Весной в Москве произо-

шел большой пожар; в Немецкой слободе погорело немало дворов. Гвардейские солдаты, прибывшие на пожар, пограбили немцев, грозили порубить их.

На Украине волновалось недовольное казачество. В Алатырском уезде, через который довелось проезжать Демидову, разбойники выжгли село князя Куракина, пожгли церковь, многие дворы и подходили к самому Алатырю-городу.

По всей Пензенской губернии набралось много гулящего люда, который бесчинствовал на лесных дорогах и разорял помещичьи усадьбы. Стало известно, что в горах по верховью Хопра и окрестным урочищам скопилось до пяти тысяч голытьбы: стоят лагерем, роют землянки, по зиме мыслят подняться на драку.

Уезжая из Санкт-Питербурха, не преминул Акинфий Демидов откланяться цесаревне Елизавете и поднести ей самоцвет невиданной красоты, припасенный им для князя Меншикова. Цесаревна вся зарделась, ласково улыбнулась Акинфию:

— Вашу внимательность, Демидов, не забуду...

Рослый крепкозубый туляк в тесном французском кафтане привлек внимание цесаревны. Она обожала богатырей и умниц, пристально поглядела Демидову в глаза. От этого взгляда в голове Акинфия пошел хмель...

Ехал Акинфий Никитич по бесконечным снежным русским просторам, скрипели полозья, по ночам на перелесках выли волки, по заезжим дворам было тесно от ямщиков, душно и тошно от кислого, едкого пота и запаха, который подолгу держался в овчинах. Дороги завьюжились, сильно укачивало. И всю дорогу Демидов не мог выбросить из головы думку о цесаревне Елизавете. Пригожа, румяна, смех у нее был приятный — от души...

В январе в Невьянск прискакал нарочный и привез недобрую весть. На иорданском водоосвящении на Москве-реке во время парада царь нежданно занедужил. Болезнь оказалась опасная — оспа. За тяжкой болезнью государь не мог подписать духовной.

В бреду царь звал к себе то вельможу Остермана, то покойную свою сестрицу. Мечась по постели, больной закричал:

— Запрягай сани, хочу ехать к сестре!

Во втором часу ночи, не приходя в сознание, он скончался...

В ту же ночь состоялось заседание тайного верховного совета совместно с присутствующими во дворце представителями высшего генералитета, синода и сената. На этом заседании императрицей была избрана царевна Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская. Она согласилась принять императорскую корону, подписав предложенные «верховниками» кондиции, ограничивающие самодержавную власть.

Прибыв из Митавы в Москву для восшествия на престол, она сумела объединить недовольную часть дворянства и гвардии, которые были против усиления власти «верховников». На торжественном приеме она разорвала кондиции и была провозглашена самодержавной императрицей...

Глава третья

I

В диких местах Сибири отстроил Акинфий Демидов Колыванский завод. Для ограждения его от набегов зюнгорских орд превратил он этот завод в крепость. Из смоляного леса — бревна были в обхват, тверды как камень,— плотники из Устюжны срубили надежные заплоты и дозорные башни. В новом городище заводчик поселил казаков, вооружил их пушками своего литья и ружьями. На опасных горных перевалах рубили засеки, ставили сторожевые дозоры. Зимой на реке Чаруше чусовские мастера ладили плоскодонные ладьи да пристани. Демидов разослал рудознатцев по всему Алтаю. На Барнаулке-реке, неподалеку от впадения ее в Обь, строили заводской городок: зимние избушки, склады; обносили все крепким заплотом. Демидов захватил обширную округу, поболе любого иноземного государства. Акинфий Никитич просил Берг-коллегию дозволить работать в этом краю только ему одному, а других охочих людей туда не пускать.

В колыванских рудниках шла непрестанная работа: кабальные добывали медную руду, плавили ее в доменных печах, отливали слитки и отсылали в демидовскую вотчину в Невьянск, где берегли ее в каменных амбарах. По дорогам и рекам среди шатучего народа прошел темный слух: «Бережет Демидов медь: дворец медный строить будет, дабы он во веки веков стоял на Каменном Поясе и чтобы хозяина его извечно помнили».

В народной молве таилась доля правды. На самом деле затеял Акинфий Никитич строить, но только не палаты медные...

Демидов часто приходил в каменные амбары и, подолгу разглядывая медь, о чем-то думал. Литье старика на Черноисточенском озере не выходило из памяти. Отделить серебро от меди — труд опасный, государев закон грозил смертью за литье благородных металлов — золота и серебра. Под боком у Невьянска, в горном правлении в Екатеринбурхе, снова сидел злейший недруг Демидова — начальник сибирских казенных заводов Татищев. После воцарения Анны Иоанновны повезло ему: попал в особую милость и был опять назначен на Каменный Пояс. Он не забыл старых ссор с заводчиком и ждал только случая, как бы свести с ним счеты. По-прежнему на заводы Демидова пытались проникнуть фискалы и прибыльщики и прознать о проделках заводчика, но Акинфий не дремал. Подосланные Татищевым доглядчики нежданно-негаданно пропадали — словно и не жили на земле. Куда пропадали демидовские враги, про то знали только страшные зыбуны — «няши». Засасывали они жертву; молчаливо хоронили в гнилой могиле. По ночам над зыбунами бегали болотные огни.

Надумал Акинфий Демидов построить высокую каменную башню с тайными подвалами. Писал он о том в Санкт-Питербурх приказчику:

«Намерен я строить в нашей вотчине, Невьянске, башню по образцу, кой в иноземщине, в граде Пизе, есть. Внизу той башни мыслю сладить каменные амбары под сибирскую медь, а вверху содержать караул для обережения от пожаров и для поверстки людишек на работу. Наказываю тебе сыскать в Санкт-Питербурхе иноземцев-каменщиков, которые дошлы в башенной стройке...»

Старый приказчик прикинул про себя: «Невьянск и без того крепость о семи башнях. Подвалы и кладь медная — все сие зря. Мозгует Акинфий Никитич другое...»

Приказчик Демидова, человек проворный, уговорил градоправителя отпустить знающего мастера и десять каменщиков. Градоправитель долго не соглашался, но упрямый демидовский холоп, оставшись один на один с ним, упросил:

— Не понапрасну прошу. Демидовы в долгу не бывают.

В гаванских ведомостях по приказу градоправителя списали из-за хвори одиннадцать человек; они уехали по сибирской дороге на Каменный Пояс.

По строгому наказу Акинфия приказчики сыскивали каменщиков всюду и гнали в Невьянск. Тесали камень, копали склепы, бутили фундамент. Сотни каменщиков возводили башню. Строил башню крепостной зодчий. Высоким серым заплотом оберегали ее от любопытного глаза. Прохожие слышали грохот камня да в лихую пору крики: били батожьем неугодливых хозяину. Стены башенные вели из крепких, тяжелых кирпичин, а кладку вязали полосовым железом. Косяки в дверях и в бойницах ставили литые, чугунные.

Каменщики жили за тыном в землянках, на поселок их не отпускали.

Башню отстроили; высота ее была в двадцать семь сажен, островерхая железная крыша с ветряницей на тонком шпиле да чугунный шар с золотыми шипами венчали ее. До половины башня четырехугольная, гладкая, а верхние три яруса — восьмигранные, с колоннами да балконами, обнесенными литыми перилами. На башне мастер установил заморские куранты с одиннадцатью колоколами. Каждые четверть часа и получасье куранты играли приятные мелодии.

Башня, по примеру пизанской в Италии, строилась с наклоном на юго-запад; чудилось, что она рухнет и каменная кладь расколется на части. Внизу у башни укрепили плотину — ладила ее работная артель, вколачивая в плотине сваи. Двадцатипятипудовая чугунная баба била с высоты дубовые сваи и глубоко вгоняла их в землю. И тут приключилось неслыханное. Задумал Акинфий Демидов построить секретный шлюз и его, когда нужно, поднимать, и тогда прудовая вода с буйством шла бы в подвалы башни...

Но кто поднимет тяжелый, намокший шлюз из дубовых пластин? Эта мысль тревожила хозяина...

Плотинная артель работала дружно: дубовые сваи в обхват уходили одна за другой в землю. С уханьем, надрываясь, артельщики снимали бабу, переставляли копер на другое место и перетаскивали чугунную кладь.

Так и шло. Однажды переставили копер, а литую бабу оставили отлеживаться до утра. Ушли измотанные: работа натужная. Утром глядь-поглядь — нет бабы.

— Осподи,— ахнул артельный,— ох, беда! Где же баба? Уж не черт ли ее с голодухи слопал?

Работные плотинщики головы повесили: быть порке! Демидов не даст спуску. На стройку прилетел Щука, злобен и лют, начал допрос.

Но тут бабу нашли на другом конце стройки, на тропке. С трудом мужики приволокли ее к плотине и на чем свет стали бранить охальника:

— Иль нечиста сила, прудовый водяной, сволок чугунную бабу, или дурни морили коней...

На третий день вновь исчезла чугунная баба, и опять ее нашли на знакомой тропке.

— Осподи,— вздыхал плотинный.— И что за напасти?

Стали искать следов на земле, но копыт не было.

— Неужто и не черт, а людишки — и без коней?

Истомленные тяжелой работой, мужики грозили:

— Игрушку да забаву нашли... Пымать да спустить шкуру до пят!

Вечером после работы крепкие, жилистые забойщики завалились в засаду. Над прудом дымил холодный туман; из-за рощи выкатился месяц; по воде заколебалась серебристая дорога. Рабочие глядели на пруд.

«А что, ежели и впрямь водяной балует?» — со страхом подумал плотинный, но, ободряя работных, уговаривал:

— Не трусь, мальцы, хошь и водяной — все равно бородищу выдеру! Не озорничай, поганый.

На стройке брякнул колокол, в подземельях башни, где ладили потайную плавильню, кончалась работа, страдальщики с гомоном расходились по землянкам на роздых...

— Сегодня, братцы, может, и не выйдет: у меня крест на шее — эх-х, и жалость! — Плотинный поскреб в затылке.

— Тш-ш...— Бородатый дядька схватил плотинного за руку.— Тишь-ко, идет.

Из башни вышла темная плечистая фигура, с развалкой подошла к бабе, потопталась...

— Никак леший? — изумился плотинщик.

Лохматый черный лиходей покряхтел, ухватил чугунную бабу и поволок по тропке.

Плотинщики ахнули:

— Никак домовой из башни. Эх, была не была!

— Стой, чертяка... Ребра ломать будем! — заорали работные.

Человек бросил бабу, подбоченился.

— Братцы, да это никак Федька Бугай?

На силача набежал плотинный:

— Ты что ж, лешай!

— А что?

— Как что! Мерин ты, что ли, такую махину таскать?

— Не-е... Побаловать трошки удумал...

Плотинщики окружили дядьку; забыли обиду, скалили зубы:

— Ты не ту бабу уволок!

— На чугунной бабе зуб сломаешь!

— Пошто? — спросил лохматый дядька; на лбу его темнело каторжное клеймо.

— Ай да монах, ай да Федька!

Федька Бугай подлинно был монах. Раскольники поджидали антихриста; годов пять тому назад в Пензе-граде на базаре монах Федор в хмельном виде взобрался на крышу лавки, поднял скуфью на палку и начал кричать, что царь Петр — антихрист и будет он класть в ближнюю среду клейма на людские лица. И кому наложит антихристово клеймо, тому и хлеб будет.

Монаха схватили — оказался беглый драгун,— драли на пытке в Тайной канцелярии, выжгли на лбу клеймо и угнали в Сибирь на каторгу. С каторги драгун сбежал и спрятался у Демидовых...

Бугай был огромен ростом, сутул, плечи широченные, руки длинные и цепкие. Голова медвежья: лоб — низок, из глубоких глазниц угрюмо поблескивали злые глаза. Был он неряшливый, лохматый.

— Вы, братцы, поставьте хмельного,— напрашивался Федька,— перестану баловаться... В подземелье скушно...

— Вот жеребец! — плотинщики хлопали Федьку по спине.— Рады штоф выставить, да где деньги брать? У Демидовых одна плата: под старость кила да грыжа.

Доложили Акинфию Никитичу. «Вот кто будет поднимать намокший шлюз из дубовых пластин»,— решил Демидов.

Башню и хоромы обнес Акинфий Демидов каменной стеной и чугунной решеткой. Сейчас же по окончании стройки каменщиков развели по дальним заводам и шахтам. Строителя башни под особым надзором отвезли на колыванские рудники и приковали к тачке. При-

казчик Колыванского завода, приковывая строителя к тачке, поглядел на его скорбное лицо и сказал:

— Благодари, молодец, господа. Ишь, пощадил Демидов. Другой кто — в яме гнил бы.

В подземелье, где хлюпала вода и бегали крысы, башенный строитель через два месяца сошел с ума.

На открытие башни в летний погожий день приехал из Шайтанского завода брат Акинфия — Никита Никитич,— высохший, желтолицый, нос обострился, выглядел он коршуном. Поп освятил башню; в крепостце палили из пушек; звонили в колокола. На красном крыльце разостлали бухарский ковер, поставили кресло. Развалившись в кресле, Акинфий зорко поглядывал на людей. Согнанный народ кричал «ура»...

На башне заморские куранты отзванивали часы и получасья...

2

Щука на Ялупанов-острове отобрал лихих заворуев, каторжных, у кого клеймены лица, рваны ноздри, резаны уши; глухой ночью пригнал он их в Невьянск да упрятал в подземелье наклонной башни. В работной ватаге привели и старика литейщика, что на Черноисточенском озере плавил серебро. В подземельях было душно, темно, горели скупые светильники; запоры прочные, из толстого кованого железа, дверь дубовая, за дверью — приставы.

Пищу давали через оконце в каменном своде.

Работные люди знали: нечисто в башне,— да помалкивали.

В полночный час Щука с подручными доставлял в подземелье колыванскую медь. Плавилась она в тайной домнице. Мастер, поблескивая зелеными глазами, хлопотал у печи. Лицо его почернело от сажи, борода взлохматилась, загрязнилась; блестели одни крепкие зубы. На полуголом теле выпирали мокрые от пота ключицы, он заскорузлой ладонью стирал с лица соленый пот, бранил Щуку и хозяина:

— Псы! Ввергли в преисподнюю. Хошь ночью дозволили бы на небо поглядеть.

— Хороши и так будете! Дозволь на небо глядеть, а там в лес да в горы пятки намажешь. Знай работай! — прикрикнул Щука.

— Невмоготу нам. Отпусти; все равно смерть,— так на воле! — жаловались варнаки.

— На пеньковую веревку удумали или на дыбу? — Щука крепко сжимал плеть. Лязгали кандалы у каторжных. Дышали тяжело; приходили в ярость:

— Не грози, барский пес!..

— Молчать, заворуи! Забыли, чей хлеб жрете! — грозил плетью Щука.

Доглядчик был бесстрашен, проворен и лют; каторжные побаивались его.

На засаленном гайтане раскольника болтался медный крест. Перед делом и едой старик истово крестился и клал поклоны.

Каторжные вышучивали старика:

— На хозяина-выжигу робишь, пошто молишься?

— Мне мастерство любо, а не хозяин! — угрюмо отвечал литейщик.

Работные жадно глядели, как мастер плавил серебро; в короткие минутки роздыха старик сидел на земле и на металле резал форму. Выходило — рубль...

Прошло два месяца. В подземелье спустился сам Акинфий Демидов.

Хозяин слегка сутулился, в его усах серебрились отдельные волосинки; под крепким шагом гремели ступени. Ржавые петли заскрипели, распахнулась дубовая дверь. Кабальные полукружьем сунулись к двери. Щука высоко поднял над головой фонарь; на пороге стоял грозный хозяин.

Каторжные гремели кандалами, роптали:

— Пошто мучишь в кандалье? Пошто томишь в подземелье?

Демидов спокойно сдвинул брови; его серые глаза были суровы.

— Бунтовать будем... Слышь-ко, царю отпишем...

Демидов поднял руку; плечи у него широченные, челюсти — угловаты и крепки.

— Где чеканщик? — грозно спросил хозяин.

— Я тута,— из-за спины варнаков блеснули кошачьи глаза.

— Подойди!

Мастер угрюмо отозвался:

— На цепу, как пес, я, а ты подойди.

Хозяин шагнул вперед; озлобленные литейщики, ворча, медленно отступили, дали дорогу Демидову. Он подошел к старику.

— Ну, сробил?

Старик ухмыльнулся в бороду, зазвенела цепь. Он

разжал кулак; на ладони лежал серебряный рубль. Литейщик, как дитя, радовался:

— Вот — первый рублик... О-го-го! Что царский!

Демидов взял рубль, по-хозяйски оглядел, подбросил на ладони:

— Добро!

— Сам вижу — добро! — сердито отозвался монетчик.

Акинфий повернулся к Щуке:

— По чарке водки варнакам отпустить.

Каторжные загремели кандалами. Демидов крепко зажал отчеканенный рубль в кулак и грузным шагом пошел к выходу. Хозяин нес голову высоко, на гомон не оглянулся, не пригрозил...

Выйдя из тайников, Акинфий поднялся на башню. Под тяжелыми ногами хозяина поскрипывали ступени. Он взобрался наверх. В лицо повеял горный ветер, кругом синели горы, леса, голубым серпом блестела Нейва-река; внизу простирался белесый пруд; налетевший ветерок рябил воду. На камне у шлюзов сидел Бугай, тянул из рога табак; сизый дымок вился над шлюзами. По холмам и оврагу овечьей отарой разбрелись избенки. Демидов прислонился к перилам и завороженным оком любовался своим заводом. От бегущих в небе облаков ему показалось, что он на каменном корабле плывет навстречу солнцу и простору. Легко и глубоко вдохнув полной грудью приятный, освежающий воздух, Акинфий радовался: «Вот оно — мое царство!»

Он гордо смотрел на свое богатство и думал: «И деньги свои. Демидовские рубли, да добротней царских!»

Внизу проскрипело железо, зашаркало: куранты на башне готовились отбивать часы.

Глава четвертая

I

В Невьянске сидел владыкой Акинфий Демидов, а в Екатеринбурхе вновь появился и стал управлять горными делами его лютый враг Василий Никитич Татищев. Сейчас это был не капитанишка, а большой государственный человек, к голосу которого прислушивалась сама императрица Анна Иоанновна. Вел себя Василий Никитич независимо и к тому же всей душой

ненавидел немцев, заполонивших Россию. Любимец государыни Бирон не изучал русского языка. Все доклады к нему русские сановники писали по-немецки. На высокие государственные должности Бирон старался протащить только своих курляндцев. Василий Никитич не мог оставаться равнодушным к этому издевательству над всем русским. Еще более нетерпимо он относился и к отечественным подхалимам, которые в угоду немцам старались забыть, что они русские люди, и проявляли восторг перед всем немецким. Это было оскорбительно для русской души. Василий Никитич при встрече с придворным поэтом Василием Тредьяковским посоветовал ему написать сатиру, высмеивающую подобострастных любителей иноземщины. Сам он всегда писал в Санкт-Питербурх только по-русски и по приезде к месту службы немедленно переименовал Екатеринбурх в Екатерининск, а немецкие названия горных чинов заменил русскими. Бирона это взбесило, и он решил посчитаться с Татищевым.

Но пока Василий Никитич сидел на Урале прочно и строго соблюдал государственные интересы. Он знал о Демидовых много такого, о чем сам Акинфий Никитич побоялся бы вымолвить вслух. Уральский заводчик решил во что бы то ни стало при содействии Бирона выжить своего врага с Камня. Но и ему неожиданно пришлось затрепетать перед государственной властью. Весной 1733 года подканцелярист Григорий Капустин, провинциальный фискал, по наущению Татищева подал на Демидова извет прямо государыне.

«Акинфий Демидов,— писал фискал государыне,— со своих невьянских заводов оказался в неплатеже десятины и торговых пошлин. Кроме того, ведомо, что найдена на сибирских заводах Демидова серебряная руда, весьма годная, а ноне ту руду без указа плавить не велено, однако ж Демидов руду добывает, везет в Невьянск, и, оборони бог, ходят слухи о недозволенном».

Извет возымел силу: Акинфия Демидова задержали в Москве, назначили по делу следствие.

В Невьянске за хозяина остался брат Никита Никитич; это безмерно тревожило Акинфия: «Справится ли больной брат с огромным хозяйством?»

Но в Невьянске по-прежнему дымили домны, в кричных ритмично работали обжимные молоты, шумно двигались водяные колеса, сверкая мириадами брызг. Все

было по-старому, работный народ еще больше притих: страшился жестокого Никиты Никитича.

С восходом солнца Демидова-младшего усаживали в кресло и возили по двору. Под солнцем поблескивал пруд, к прозрачному небу вились утренние дымки: хозяйки торопились со стряпней. Над прудом наклонилась островерхая башня, отсвечивал шпиль; над ним медленно проплывали облака.

Лицо у Никиты Никитича было темное, безжизненное, похожее на лицо иконописного угодника древнего письма. К параличу у больного добавилось пучеглазие. Не моргая, по-совиному, он смотрел на встречных людей и окликал:

— Кто? Куда? Зачем?

Правая, здоровая рука его нервно стучала костылем с блестящим наконечником. За креслом хозяина стоял рыжебровый услужливый дядька в плисовых штанах и легком кафтане и осыпал бранью всех встречных и поперечных.

Демидов-младший потакал сквернослову, потешался, когда тот поносил молодух. Чмокая сухими, тонкими губами, он подбадривал слугу:

— Так их! Так их! Похлеще!

Ему нравилось смущать женщин. Молодки, потупя глаза, обиженно поджимали губы и, кланяясь, проходили мимо хозяина. Паралитик бесстыдно разглядывал их.

За конюшнями, на узком утоптанном дворике, стоял дубовый столб; к нему был прикован цепью матерый медведь. Никита Никитич потешался травлей медведя; со двора приводили барских псов и спускали на тихого зверя. Пленник первые дни был добродушен, мирно посапывал, тянулся за хлебом. Демидов науськивал собак; медведь отбивался, приходил в ярость. В забаве хозяин перекалечил полсворы псов; гончие грызли зверя: на нем клочьями висела рваная кожа, запеклась кровь; зверь злился, злобно глядел на мучителя, огромное тело дрожало от ярости.

Хозяин улыбался, постукивал костылем.

Рыжебровый дядька возил Демидова-младшего к правежной избе.

Здесь подолгу раздавались крики и стоны...

В полдень Никиту Никитича везли к столу, слуга подвязывал хозяину салфетку. Ел Демидов-младший жадно, закрыв глаза, громко чавкал. Торопясь прогло-

тить, он часто давился; пищу больной хватал рукой, рвал зубами. В редкой белобрысой бороденке застревали хлебные крошки, кусочки мяса. У стола вертелся пес, поджидая подачек, умильно глядел на хозяина, крутил хвостом.

Демидов подманивал пса и пытался ткнуть его остроконечным костылем. Поджав хвост, пес отбегал обиженно, но через минуту, забыв обиду, вновь вертелся у хозяйского стола...

После обеда хозяин дремал в кресле; нижняя челюсть отвисала, в неопрятном рту торчали пеньки сгнивших зубов. Недремлющий дядька, размахивая руками над остренькой головой хозяина, отгонял назойливых мух.

Вечером кресло-возило с Демидовым-младшим ставили на крыльцо и сгоняли молодух. Они пели песни; небо было тихо, гас закат, и песни были приятны. Паралитик, склонив набок голову, оглядывал женщин.

Стояли белые ночи; белесый свет проникал в горницы и тревожил Никиту Никитича. Грузные каменные своды отцовской палаты давили, и сон приходил не скоро...

В жаркий день над полями стояло марево, парило; петух в палисаднике расхаживал с раскрытым клювом. Из-за гор, погромыхивая, шла темная туча. По дороге серым зверем пробежал пыльный вихрь, и с ним на заводской двор ворвался на вороном скакуне Щука.

Демидов-младший сидел на крыльце в кресле.

— Щука! — крикнул Никита Никитич.— Щука!

Холоп соскочил с коня и, не оглядываясь, подбежал к крыльцу.

Паралитик нетерпеливо стукнул костылем:

— Сказывай, что?

Гонец указал на тучу, взялся за кресло:

— Гроза идет, надо в горницы.

Демидов глянул на Щуку, взор варнака мрачен; хозяин понял.

— Везите в хоромы! — приказал он.

Возило с хозяином вкатили в хоромы; Щука хлопнул слугу по плечу:

— Ты, мил-друг, выйди!

Дядька, топая подкованными сапогами, вышел, осторожно закрыл за собой дверь. В горнице потемнело, в слюдяные окна с тихим шорохом ударили первые капли дождя.

Никита Демидов закрыл глаза, нервно застучал костылем.

— С чем прискакал? — спросил он Щуку.

— Вести привез, хозяин!

Холоп проворно расстегнул на груди рубаху, достал кожаную ладанку, извлек из нее письмо. За окном ударил и раскатился гром. Под каменными сводами глухо отдалось эхо, Демидов вздрогнул, открыл глаза:

— Читай!

Щука прокашлялся, прошелся на цыпочках по горнице, потрогал дверь, закрыл надежно.

Писал брат Акинфий.

«Сей ирод Татищев,— тихо читал Щука,— со своими крапивниками пристал к нам, как смола липучая. Почитая нас, Демидовых, мохнорылыми, сия яичница драченая добилась посылки государева офицера Урлиха... Тебе, братец, ведомо, что народ наш приписной, о чем грамоты имеются в наличии. Такожды сей скорохват и шутила поклеп возводит о сребре...»

Щука поперхнулся, притих. Демидов вытянул гусиную шею, на ней надулись синие жилы.

— Дале читай! — сказал он строго.

Холоп наклонился и чуть слышно изрек:

— Остальное, господин, на словах. Народишко, что в подвалах башни, жил и не жил! И следа не стало!

Хозяин снова нервно заколотил в пол костылем. Над башенным шпилем сверкнула молния. Ударил гром, раскаты его потрясали окна. Демидов поднял глаза:

— Наказать Бугаю, когда дадут знак, открыть шлюзы.

— Поднимет, не сумлевайтесь...

— А теперь иди! — Никита махнул рукой.— Иди!

В горнице стало совсем темно; хозяин опустил голову; костыль лежал рядом; рука нервно сжималась. Щука легкой, кошачьей походкой вышел из барского покоя.

2

Верную весточку подал Акинфий Никитич: спустя день в Невьянск наехал горный офицер Урлих. Был он молод; проворно соскочил с брички и пошел прямо в демидовские хоромы. Никита Никитич обрядился в бархатный кафтан, надел завитой парик, отчего казался теперь остроносым и еще суше. Сидел Никита в кресле

и зорко поглядывал на дверь. Только что офицер переступил порог, Демидов потянулся к нему:

— Простите мне, гость дорогой, из-за болести я встретить не смог...

На офицере надет зеленый мундир, высокие сапоги — ботфорты, при шпаге, в руках — треуголка. Парик прост, пылен. Офицер щелкнул каблуками, поклонился. Демидов глазами указал на кресло:

— Садитесь, устали...

Гость не заставил ждать, сел прочно:

— Благодарю. От многих наслышался о вас, а видеть не доводилось.

— Вот и свиделись,— улыбнулся Никита.— О Демидовых кто не слышал. Льем пушки отечеству, чай за тем и прибыли...

— Вы угадали.— Офицер оглянулся и сердечно сказал: — У вас тут везде так прочно. Меня это поражает...

Демидов поднял голову и похвалился:

— Навек строились. Отец любил крепко, прочно ладить все. Да и край тут...

— Край дальний, но богатый,— согласился гость.

Демидов посмотрел на заношенное офицерское платье; на загорелых щеках юноши пробивалась щетинка, пышные брови густо срослись на переносице. Хозяин шевельнулся, повернул лицо в сторону гостя. Офицер смущенно опустил глаза: истощенное, желтое лицо стервятника было ему неприятно. В Санкт-Питербурхе и дорогой он наслышался о жестоком характере Никиты,— таким он и представлял его себе. Хозяин предложил:

— Сегодня о деле не будем говорить, сейчас вы отдохнете.— Демидов тяжело застучал костылем.

В горницу вошла черноглазая служанка, молча поклонилась.

— Отведи господина офицера в покой да накажи баню наладить: господин офицер с дороги! — приказал хозяин.

Гость шевельнулся, но Демидов нетерпеливо стукнул костылем:

— Почтите нашу уральскую баню...

Молодка ласково смотрела на офицера. Хозяин прикрикнул:

— Аль не слышишь? Веди гостя в покои!

Служанка поклонилась гостю и раскрыла дверь. В полутемном коридоре под каменными сводами гулко отдавались шаги.

В горнице, где поместили санкт-питербурхского гонца, было мрачновато; узкие высокие окна слабо пропускали свет, под сводами стоял полумрак. На стене в дубовой черной раме висел портрет Никиты Демидова-отца,— его признал гость по рассказам.

Офицер сбросил портупею, положил на скамью шпагу, снял мундир и заходил по горнице; широкие половицы из тяжелого дуба гулко отдавали шаги. Куда бы ни поворачивался гость, за ним зорко следили с портрета жгучие глаза Никиты Демидова. Офицеру казалось, что тот хитро улыбается в свою смоляную бороду.

Гостю стало не по себе; не снимая пыльных сапог, он бросился на широкий диван и закрыл глаза. Кожа на диване была прохладна и пахла легким тленом; от усталости слегка кружилась голова. После столицы, где в гостиных все было хрупко и блестело, здесь давили массивность и темные цвета: дуб, камень, железо...

Спал и не спал гость; не слышал, как открылась тяжелая дверь и кто-то вошел.

— А вы и не поели? — Голос был тепел, приятен; офицер открыл глаза; перед ним стояла черноглазая молодка; у нее смуглое лицо и густые черные брови.— Надо поесть,— повторила она,— чать, устали?

Гость быстро вскочил, потянулся и улыбнулся молодке, сверкнули белые зубы. Молодка зарделась.

— Умыться бы! — попросил гость.

Она проворно приволокла медный таз, наполненный холодной водой; офицер умылся; стало легко и приятно.

Служанка сытно накормила гостя, взбила пуховую постель и отошла к двери. Она стояла, потупив глаза и нервно теребя края передника, чего-то выжидала...

— Ты что? — Гость поднял на нее голубые глаза и улыбнулся. Она была стройна, крепка.— Сколько тебе годов? — спросил он.

— Осьмнадцать. Не будет ли каких повелений? — Девка густо покраснела.

— Никаких. Я буду спать, можешь идти.— Офицер глянул на портрет. Ему показалось, что Демидов насмешливо улыбнулся.

Молодка, отступая спиной, взялась за дверное кольцо. Тяжелая дверь с певучим скрипом полуоткрылась, и девушка скрылась.

В окна заползали сумерки. Офицер поразился: на высокой башне куранты играли приятную мелодию.

Засыпая, он вспоминал то насмешливые, жгучие глаза портрета, то лукавые — молодки...

«Живут сюзеренами. Дам не видно, зато холопки».

Он повернулся, приятная теплота и усталость охватили молодое, здоровое тело.

3

Демидовские монетчики в подземелье невьянской башни спали тяжелым сном. Томили духота, мерзкие испарения; многие, гремя кандальем, бредили. На обрубке в каганце слабо светился огонек, по углам колебались густые тени. От духоты томила жажда, бородатые кандальники часто вскакивали, шатаясь и скребясь, шли к бадье, жадно пили тухлую воду. Напившись, валились на землю, храпели.

Старик монетчик с седой бородой не спал; в малом коробе поблескивали серебряные рублевки. Кабальный, расчесывая до крови закоростевшее тело, не отрывал от серебра глаз.

«В муках рождаем тебя.— Он звякнул цепью, поджал под себя по-татарски ноги, продолжал думать: — А сколь мук на свете от серебра? Пошто так? Зачем Демид упрятал нас, и всю жизнь чекань деньгу?»

Чеканщик приложил ухо к камню: слышалось, куранты играли мелодию. Рядом по бородатому лицу сонного мужика,— он лежал, разметав ноги и руки,— ползали мухи. Мастерко уныло допытывался: «Отколь мухи? Человек дохнет, а муха, ничтожная тварь, живет...»

Он смахнул муху; она покружилась и уселась на черный свод.

Старик бережно снял ошейник, цепи уложил рядом,— тайком подпилил их старик и при шагах дозорных снова надевал. Размялся; сухой и легкий, он заходил по тайнику. По стенам колебалась его уродливая тень...

Следя за полетом мухи, монетчик сумрачно поглядел вверх. Там темнел узкий лаз, крытый решеткой...

Старик вздохнул, перешагнул через сонное тело.

— Крепок человек! — залюбовался спящим старик.— А кабален. Демидовская ржа изъест всю крепость. Эх-х...

Литейщик подошел к дубовой двери, приложил ухо. Где-то далеко в подземелье глухо пели кабальные.

— Господи,— перекрестился старик,— наши поют, правоверцы... Почему так много народу набрело?

В углу, в запечье, где было тепло, поднялся лохматый кандальник, на черном от сажи лице блестели белки:

— Ты что не спишь? Колобродишь?

В эту минуту по каменным ступеням башни загремели шаги. Мастер быстро, как мышь, юркнул к печи, надел ошейник, присмирел. В замке со звоном повернулся ключ.

— Идут! Пошто в полунощь идут? — удивился монетчик.

Дверь тяжело, медленно подалась во тьму; в узком коридоре с фонарем в руке стоял Щука, за ним пять дозорных.

— Спят, чертушки,— поморщился Щука.— Ну и дух! Ух, варнаки!

У двери остались двое дозорных, в руках — пищали. Щука шагнул вперед, за ним — трое. Натруженные монетчики не шелохнулись, храпели. Старик поднял голову, глаза злы:

— Пошто в полунощь прибрели, дня для расправы нет?

Щука насупился:

— Ты, старый пес, греховодник, покажи, где рублевки и серебро в слитках?

Литейщик поднялся, прошел вдоль печи. Сам лохматый, тело тощее, торчали ребра.

«Как пес лютый»,— подумал Щука и сказал:

— Хозяину серебро понадобилось, чуешь?

Старик удивился:

— А зачем слитки?

— Пир хозяин задает, людей дивить будет.— Щука подошел к кошелке; в ней поблескивали рубли.

Мастерко огрызнулся:

— То вороны на падаль летят.

Щука взял кошелку за поручни: грузна.

— Эй,— крикнул он.— Бери двое!

Дозорные с натугой подняли кошелку; поскрипывали свежие вицы.

— Рубли считаны!

Разбуженные шумом кабальные ругались. Гремели кандалы. Дозорные, огрызаясь, поклали в коробы серебро и утащили в проход. Дубовая дверь захлопнулась за ними. Загремел замок.

В запечье поднялся лохматый мужик:

— Братцы, пошто сребро уволокли в неурочное время? Неладно будет!

На башне куранты заиграли получасье...

В эту пору дозорщик на башне глядел на высокие звезды, на ночную синь неба. Внизу у плотины с фонарем стояли грозный Бугай и кривоногий Щука. В хозяйских хоромах стояла тишина. На поселке пропели полунощники петухи; над прудом дымился легкий туман. Далеко на задворье лязгал цепью растревоженный болячками медведь.

Дозорщик надвинул на глаза шапку: холодил гулевой ветер. Обойдя башню, холоп крикнул вниз:

— Валяй!

Щука толкнул Бугая в спину.

Взъерошенный плотинный угрюмо перекрестился. Он положил мускулистые руки на бревно и поглядел на Щуку:

— Жать?

— Жми!

Бугай грудью навалился на бревно, ухнул. Под плотиной зазвенела струйка.

— Еще! Жми! — прохрипел Щука, поставив на землю фонарь, и стал рядом.

Бугай расстегнул ворот рубахи; грудь волосата, на гайтане болтался крест. Низколобое мохнатое лицо плотинного натужилось.

— Еще!

Дубовый щит пополз вверх, вода у плотины ударилась в берег и с ревом ринулась в темный лаз...

Дозорный на башне снял шапку, положил крест:

— Господи, ревет-то как. Зверь!

Куранты играли мелодию; она была нежна, тосклива.

Офицер Урлих проснулся: приснился менуэт. Он долго слушал: где-то шумела вода, потом стало стихать; мелодия на башне смолкла. В узкое окно задумчиво глядело созвездие Стрельца.

На перине тепло, мягко; офицер вздохнул, и снова дремота смежила очи...

Туман над прудом стал гуще; звезды угасли; на поселке заскрипели ворота: бабы шли доить коров.

Дозорный глянул вниз: ни Щуки, ни плотинного у шлюзов не было. Шлюзы вновь опущены; пруд поблескивал; тихо. В ушах у дозорного стоял звон. Он нето-

ропливо, с раздумьем, стал спускаться с башни; сошел на этаж, где медленно двигался грузный вал, было много колес, тягачей... Где-то зашаркало, зазвенело: куранты собирались отбивать утренний час.

Дозорный миновал вал, спустился ниже; ступени лестницы стали шире, грузней. Вот и конец лестницы... В каменной камере было тихо, пусто...

— Господи, ох-х,— схватился рукой за сердце доглядчик.

В полу, в решетчатом окошке, торчала застрявшая голова: глаза выпучены, бородища мокрая. К дозорному тянулась когтистая застывшая рука...

— Что только робят Демидовы! — Он с оглядкой подошел к окошку, его сердце гулко колотилось.

Не глядя, он с размаху ткнул сапогом в мохнатую голову. Булькнула вода, утопленник сорвался с решетки и исчез в глубине.

Дозорный схватил крышку и торопливо прикрыл окно...

Бугай вернулся с плотины в свою избенку на лесных вырубках до восхода солнца. Усталый, голодный, придя домой, снял рубаху; от его громадного косматого тела валил пар. Работный нацедил жбан квасу, взял хлеба и вышел на двор.

Из-за гор блеснули первые лучи солнца; над порубками на лесное озеро со свистом пролетела запоздавшая утиная стайка. Бугай сидел на бревне, насыщался.

Внезапно раздался выстрел. Бугай бросил недоеденный хлеб, вскочил. «Что такое?» — изумился он. У плетня таял пороховой дымок, и по вырубкам проворно убегал кривоногий человек. Грудь плотинного ожгло; он взглянул и увидел кровь — понял все...

Богатырь схватил бревно, на котором сидел, и, вертя над лохматой головой, бросился за убийцей.

Отбежав сотню шагов, Бугай запнулся за пень и упал мертвым.

4

Государственный доверенный офицер Урлих проснулся рано, его отвели в баню, испарили. Гость телом был крепок, упруг и с наслаждением хлестался веником. В бане стоял непереносимый жар, потрескивала каменка: офицер покрякивал от приятного пара и просил: «А нельзя ли еще?»

Демидовский слуга сам обомлел, ахал: «Из господ, а хлещется, как холоп. Ишь сердце какое!»

Распаренный офицер соскочил с полка, рванул дверь, выбежал на воздух и помчался к пруду. С разбегу он нырнул головой в самую глубь. Холоп развел руками: «Вот ирод, что творит!» Офицер остудил в пруду разгоряченное тело, отпил квасу, оделся...

Гостя пригласили к демидовскому столу. Черноглазая служанка проводила его в столовую горницу. Молодка шла впереди, беспокойно оглядываясь. Офицер не утерпел, тронул ее за локоть. Она приостановилась.

— Ты, барин, не очень-то всему верь! — нахмурив брови, прошептала она.

— То есть чему? — затаил дыхание Урлих.

Служанка промолчала, повела круглыми плечами и пошла вперед. Офицер подумал: «Совсем приятная девушка...»

Никита Никитич, одетый в малиновый бархатный кафтан и жабо, в свежем, пышно завитом парике, давно поджидал гостя.

— Как спалось господину офицеру? — поднимая выпученные глаза на гостя, спросил Демидов.

Урлих поклонился и сел за стол против хозяина. За спиной Демидова, держась за возило, стоял дядька в красной рубахе. Насколько был могуч и крепок холоп, настолько жалким и тщедушным выглядел хозяин. Никита Никитич кивнул прислужнице, и она налила в чары вина. Но, глядя на бархатный кафтан и пудреный парик хозяина, гость заметил, что за всем этим внешним лоском скрывались невежество и худые манеры. За желтыми, давно не подрезанными ногтями Никиты Никитича чернела грязь; за едой хозяин чавкал и брызгал слюной; гость еле сдерживал брезгливость. Пил хозяин много и этим еще больше удивлял офицера. «Паралитик, а пьет за семерых здоровых»,— подумал он.

Однако Демидов не хмелел: он хищно поглядывал то на бутыли, то на гостя...

На башне часы заиграли приятную мелодию. Урлих вздрогнул и поднял на хозяина глаза:

— Отколь сии музыкальные куранты взялись у вас?

Демидов шевельнул перстами, на них блеснули драгоценные камни; он скупо ответил:

— Братец наш Акинфий Никитич добыл в инозем-

щине сии куранты. Из Голландской земли купчишки по наказу привезли...

Гость вспомнил ночную музыку, загадочный шум и внезапно спросил хозяина:

— Ночью почудилось мне, большая вода была; что могло сие означать?

Служанка опустила глаза, теребила краешки передника. Лицо Никиты Никитича побагровело; хозяин надулся индюком и хрипло выдавил:

— Пошто холопы не сказывали мне? Може, беда какая приключилась? Кличьте Щуку!

Слуга-хожалый протопал к двери, с грохотом распахнул ее и рявкнул:

— Щука, черт, хозяин зовет!

Холоп стал на свое место, служанка отошла к двери, притихла. В горницу торопливо вошел кривоногий Щука, сапоги и плисовые штаны его были забрызганы грязью.

Щука по-уставному, как раскольник, поклонился Демидову:

— Беда стряслась, хозяин. Плотину прорвало, да и подвалишки под башней затопли...

— Как так? — Никита Никитич схватился за костыль и застучал зло.— Разор! А еще что?

Щука дышал тяжело и часто, глаза воровски избегали глядеть на офицера; он еще раз поклонился Демидову:

— А еще, хозяин, беглые варнаки убили плотинного. На перелесье нашли тело...

Паралитик вытянул длинную жилистую шею, пучеглазие испугало офицера. Хозяин сипло, как гусак, зашипел:

— Сами видите, господин офицер, как в наших краях опасно живется. Каторжные и варнаки из Сибири бегут, а Каменный Пояс на перепутье, оттого часты беды... Вот оно, насолили Демидовым, разорили плотину... Уйди, холоп, уйди, не могу о бедах слышать!

Щука, пятясь, вышел за дверь.

Демидов залпом осушил чару, закричал:

— Везите на заводишко; и господин офицер, я чаю, заждался к делу приступить...

Хозяина вывезли на обширный двор, озолоченный утренним солнцем. Все блестело: и серебристый пруд, и шпиль башни, и зелень. В корпусах стучали молоты, черным дымом дышали домны. У крыльца бродили

куры; хохлатый петух задорно посмотрел на Демидова и прокукарекал. Хозяин ткнул перстом в петуха:

— В котел прохвоста!

Возило остановили посреди двора. Демидов насторожил ухо: отовсюду неслись знакомые, налаженные звуки.

«Ну, слава те господи! — успокоился Никита.— Цепной пес Щука чисто обладил».

Хозяин повернул свое желтое лицо к гостю и сказал вслух:

— Сами видите, ходить я не мастер, искалечен болезнью. Вы, господин офицер, извольте сами оглядеть все, что надумается. Холопишко проводит ваше благородие.

Перед офицером как из-под земли появился Щука.

— Пожалуйте, ваше благородие.

Урлих в сопровождении приказчика обошел мастерские. Огромный, грузный молот падал на раскаленное железо; огненной метелью из-под молота сыпались искры. Кругом рвались белые струи пламени, по песчаным канавкам лился расплавленный металл; среди этого пекла бегали потные, грязные люди и, как демоны, подхватывали на лету белые куски железа; ковшами, как похлебку, разливали чугун. В дверь дуло, а у печей и молота от жары выжигало ресницы, и глаза наливались кровью. Люди были полуголы, по телу катился пот; на разгоряченных людей у печей прямо из ведра хлестали студеной водой.

Офицеру стало не по себе, он быстро пошел к выходу и был рад, когда вышел к пруду.

— Покажите башню! — попросил он Щуку.

Офицер вошел в башню и долго заглядывал вниз; стояла тишина; в решетке виднелась мутная вода.

— Жаль, что затопило,— со вздохом сказал Урлих и пронзительно посмотрел на Щуку.— Погиб народ?

— Никак нет, ваша милость. Народишку тут не доводилось бывать. Клети для меди были, да и те впусте стояли.— Щука стоял тихо, понурив голову.

— А ежели воду вычерпать? — поднял на приказчика глаза офицер.

— Эх, ваше благородие, да ее во сто годов не вычерпаешь.

Офицер выпрямился, стал строг:

— Я тогда пруд спущу!

Демидовский приказчик угрюмо откликнулся:

— Пруд-то не шутка спустить, да тогда завод станет и пушки не отлиты останутся. Вот ведь как! Может, на башню подниметесь?

— Нет.

Быстрым шагом Урлих пошел к себе в горницу и потребовал из конторы записи о литье железа.

5

Шла третья неделя; питербурхский гость никак не мог проверить конторские записи, все было запутано. В отчаянии офицер метался по горнице и не знал, что предпринять.

Утро и обед Урлих проводил с хозяином. Демидов сидел чинно, важно и все жаловался гостю: донимает доносами злой соседишка Татищев. Урлих отмалчивался.

Из головы не выходило: «Потопил народ Демидов, потопил».

За столом и в горнице по-прежнему прислуживала черноглазая служанка. Офицер только сейчас заметил, до чего у девки длинные да пушистые косы. Ресницы у нее густые и черные.

«Хороша девушка»,— подумал он; было приятно глядеть в ее глаза; не стесняясь Демидова, офицер любовался холопкой. Хозяин словно и не замечал этого.

Однажды вечером усталый от работы господин Урлих шел по темному коридору; никого из холопов не было в этот поздний час. Только в хозяйской горнице дверь была приоткрыта, и косой солнечный луч падал на каменный пол коридора.

Офицер хотел прикрыть дверь, подошел и стал, как прикованный. В кресле сидел хозяин без парика, отчего он выглядел болезненнее; слуги за возилом не было. Перед хозяином стояла черноглазая служанка и кончиком фартука утирала глаза. По вздрагиванию плеч девушки Урлих догадался: она плачет. Хозяин меж тем протянул сухую руку и пытался ухватить служанку за подбородок.

— Целуй меня, дурочка. Ну!

— Не мо-о-гу-у...— сквозь слезы выдавила девка.— Не мо-гу-у...

— А ты моги, а ты моги! — Голос хозяина был слащав, он вертел острой головкой на длинной шее и мурлыкал.

Офицеру стало не по себе.

«Шелудивый кот»,— брезгливо подумал он.

Надо было уйти от этого зрелища: не к лицу офицеру подсматривать,— но внезапная тоска навалилась на сердце и приковала Урлиха к порогу.

Демидов продолжал уговаривать девку:

— Ты поцелуй да уготовь мне постельку.

— Что вы, барин! — простонала девушка.— Не могу! Вы лучше меня потопите, как...

— Помолчи! — стукнул костылем хозяин и заметил приоткрытую дверь.

Офицер нырнул в тень.

— Закрой! — приказал девке Никита, но чернавка выбежала из горницы и прихлопнула дверь. Вслед ей в горнице истошно закричал паралитик:

— Вернись, дура-а!

Служанка темным коридором пробежала в горенку гостя и стала стелить постель. Урлих неслышным шагом вошел к себе. Девушка роняла слезы; плечи ее вздрагивали. Взбивая перину, она вдруг заплакала в голос и пожаловалась:

— Ох, не могу! Ох, не могу...

— Почему «не могу»? Что «не могу»? — спросил офицер.

— Ему подыхать пора, а он...— Она опустила глаза и зашептала: — А ты бойся их, бойся! Они со Щукой в подвалах потопили народ и рубли сами робили. И Бугая пристрелили они. Они и тебя убить могут.

Урлих еще неделю прожил в Невьянске, лазил на башню, подолгу глядел на горы, на бегущие облака,— но тревога его не проходила. Под башней в затопленных тайниках плавали трупы, но как доказать это? Взять с собой черноглазку, но что скажут дворяне да хозяин? Пристыдят: спутался-де офицер с холопкой. Да и будет ли вера холопке? Демидовское слово и слово холопки не в одной цене ходят.

Демидов притомился от чужого взгляда в его поместье, он беспокойно посматривал на офицера и недовольно думал: «Когда провалится к чертям незваный гость?»

Гость между тем собрался в обратный путь. В конторских книгах Урлих заметил фальшь: не вносил Демидов десятину железом государству. Подозрения эти подтверждала и черноглазка.

— Выкупите меня, господин Урлих, у вас холопкой

быть приятнее; у Демидова страшно! — просила она.

В последний вечер девушка пришла стелить гостю постель и горько плакала.

— Убьет меня Демид! Ой, убьет! — пожаловалась она.

Он промолчал. Служанка степенно отошла к двери, почтительно поклонилась:

— Прощай, барин...

За дубовой дверью затихли ее шаги; Урлиху стало горько, он повалился лицом в пуховик и терзался всю ночь.

Для отъезда столичного офицера Демидов предоставил свою колымагу, обитую бархатом; два конных пристава охраняли Урлиха. Никита Никитич, важно одетый, сидел в кресле посреди двора, провожал гостя:

— Добрый путь господину офицеру. Кланяйтесь от меня царице-матушке, их неусыпными попечениями держатся наши заводишки.

Демидов посмотрел вслед колымаге и сказал сердито:

— Освободились от соглядатая...

На запрудье, на огородах, в синем сарафане стояла черноглазая служанка.

На дороге улеглась пыль; она вздохнула, и крупная слезинка покатилась по ее щеке...

6

После немалых трудностей добрался Урлих до Москвы. Доро́гой донимали осенние дожди, проселки утопали в грязи, вздулись реки. Ломались колеса, рвались постромки, подолгу приходилось стоять у кузниц да в почтовых ямах. В Москве офицера поджидал приказ: Урлиху свыше давался совет пожить в Москве и не торопиться в Санкт-Питербурх. Урлих понял, что ослушание грозит опалой. Делать было нечего, офицер остановился в Замоскворечье у дальней родственницы. В Москве жизнь шла вяло, замоскворецкие улицы рано затихали; от разбойников и татей ворота и калитки запирались на крепкие запоры с заходом солнца. Родственница Урлиха была старая глухая дева; ей доходил восьмой десяток. От тоски господин Урлих неумеренно прикладывался к бутылям и жаловался старухе:

— В демидовском царстве народ живет по-каторжному. Демидов грозен: сам и пушки льет, и деньги чека-

нит, и расправу чинит. Когда захочет — губит народ. Я государыне о сем доложить жажду, а меня на Москве держат...

Старуха подслеповатыми глазами посмотрела на молодца и прошамкала:

— И, батюшка, не лезь лучше, не лезь, оно спокойнее. С богатым не судись, батюшка, с сильным не борись... Нажалуешься и сам не рад будешь. Молчи да живи! Лежачий камень и тот мохом обрастает, батюшка, вон оно как!

В Москве Урлих прожил до санного пути и возвратился в Санкт-Питербурх, когда указом государыни дело о злоупотреблениях Демидовых было прекращено.

Урлиху же предложили обратиться к исполнению обычных дел; этим все и окончилось...

Глава пятая

Девка-чернавка сбежала от Демидовых к отцу, доменщику Гордею. Никита Никитич был зол, грозил:

— Никуда от Демидовых не сбежишь. От нас ни одна козявка не бегала.

Параличный хозяин приказал Щуке:

— Приведи!

Вечером приказчик пришел к литейщику. В пасти высоченной домны пылал жадный огонь; черные, закопченные сажей стропила и крыша озарялись багровым отсветом. Потные голые рабочие с потемневшими лицами суетились возле печи.

Перед домницей стоял доменщик Гордей и, насторожив ухо, слушал клокотанье в ней. Расплавленная лава ослепляюще светилась. Литейщик был широкоплеч, мускулист, с подпаленной густой бородой и черными глазами. Увидев Щуку, работный угрюмо отвернулся и, как будто не замечая его, уставился в жадный зев домны.

Палила невыносимая жара. Щука покосился на багровое пламя и, ероша бороду, крикнул:

— Небось тепло?

Гордей отмалчивался.

— Вот что! — хлопнул по голенищу плетью приказчик.— Пошто твоя дочь от хозяина сбегла? Гони немедля! Понял?

Доменщик сердито поглядел на демидовского холуя и снова перевел глаза на огненную пасть чудища.

— Ну,— прохрипел Щука.— Гони!

— Чего «ну»?

А про себя подумал: «Момент, и золы от пса не останется».

— Заберем, ежели по добру не хочешь! — крикнул Щука и повернулся к выходу.

Доменщик, опустив плечи, молчал; только сжимались и разжимались кулаки...

К вечеру демидовские холопы пригнали сбежавшую девушку в покои к хозяину. Потупив глаза, она стояла перед Никитой Никитичем. Демидов прищурил глаза, спросил слащаво:

— Почему сбежала, красавица?

Девушка молчала, хозяин ударил рукой по столу.

— Ты вот что,— приказал он строго служанке,— иди, постелю мне готовь.

Она опустила голову, зарделась.

— Ну, не мешкай, проворь!

Прислужница нежданно выпрямилась, глянула, словно ножом полоснула; затопала ногой:

— Без закону не пойду на грех. Не пойду!

— Экось крапива какая. Погоди ж ты! — прикрикнул Никита.

Он пригрозил ей:

— А ежели засеку?

— Ну и секи!

Демидов позеленел, схватил прислужницу за платье, рванул; девушка стояла на своем:

— Не пойду!

— Не баба, а черт! Ишь ты! — Никите вдруг понравилось такое упорство, но отступать было поздно; хоть служанка и крепко по нраву пришлась, а высечь надо за упрямство.

На грозный хозяйский зов прибежали послушные холуи и стащили непокорную в допросную. На скамье под розгой девка не сдалась, кричала:

— Секи, пес! Без закону не пойду.

Горемычную отстегали крепко. Пересиливая боль, она еле поднялась. Никита улыбнулся:

— Кобылка с волком тягалась, только хвост да грива у ней осталась!

Избитая глянула на хозяина с ненавистью. Демидов закусил губы, заложил руки за спину и покачал головой:

— Ишь ты упрямица.

До полуночи в хозяйских хоромах светились яркие огни. Демидов погнал нарочного за попом.

Барские посланцы выволокли седенького худущего попика из постели и в одной исподней рубахе и в портках представили хозяину.

— Ты вот что, поп,— повел злым взглядом Никита.— Приготовься разом венчать и отпевать. Ризы!

Попика облачили и повели в большую горницу. Шел он ни жив ни мертв...

Днем на шахте в мокрой дудке обвалом придавило безродного рудокопщика. Бездыханное тело извлекли из-под каменных глыб и бросили под навес, прикрыв из жалости соломой. По указу хозяина мертвеца доставили в хоромы, усадили в кресло. Мертвец почернел; нос заострился; сладковатый тошнотворный душок мертвечины наполнял горницу.

Ввели служанку; она увидела мертвеца и задрожала вся. Демидов без парика сидел посреди горницы.

— Ну, поп, венчай девку с горщиком.

— Батюшка! — Поповская бородка задрожала, глаза заюлили; поп брякнулся в ноги Демидову.

Злые глаза Никиты потемнели, пригрозил:

— Венчай, поп, девку с горщиком — сто целковых. Откажешься — в плети! Ну-кось!

Голос у попа от страха дрожал. Девицу поставили рядом с креслом. Щука затеплил восковые свечи: одну сунул в распухшую руку покойника, другую — девке.

— Как звать-то? — спросил попик, не глядя на служанку.

Она молчала.

— Ты что же? — толкнул ее в спину Щука.— Зовут ее Аксинья, а этого,— ткнул в спину покойника,— Роман! Запомни, батя...

Над девкой и мертвецом холопы держали венцы, а у самих от страха дрожали поджилки...

За окном занимался синий рассвет, служанку повенчали с мертвецом.

— Погоди, еще не все! — Щука сгреб мертвеца за шиворот, оттащил в угол.— Теперь отпевай. Экое горе, от радости молодожен в одночасье отошел!

Поп стал снимать епитрахиль.

— Отпевай, слышь, что ли, батя?

Демидов насупился, глянул на попа. Седенький по-

ник засуетился, снова надел епитрахиль и задребезжал напуганно:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

Покойника наскоро отпели и унесли в подклеть.

— Ну вот и все! В контору заходи, батя. Вот ты, Аксинья, и мужняя жена.

Рассвело. По улице загомонил народ. Никита Никитич глянул в окно, на сизый свет, поежился.

— Поди-ка теперь стели постель,— приказал он Аксинье...

Солнце шло к полудню, когда Щука тихонько подошел к хозяйской горнице и стал прислушиваться. За дверью стояла тишина. Никита густо покашливал.

Довольный Щука подумал: «Сошло все по-доброму... Кхи, кхи»,— холоп, прикрывая волосатой ладошкой рот, заперхал.

— Ну, кто там? Какой леший? — злым голосом спросил из-за двери Никита Никитич.

По голосу холоп догадался, что хозяин не в себе. Щука распахнул дверь. В кресле одиноко сидел Демидов; приказчик повел носом: «Как там девка? Чать, прохлаждается, холопка, на барской постельке».

У холопа от изумления раскрылся рот; ему не хватало воздуха. Горница была пуста, посреди пола валялся хозяйский парик. Только тут заметил приказчик: обрюзглое лицо хозяина исцарапано, под глазом синеет добрая метина. Горный ветер барабанил рамами раскрытого окна. Щука со страхом смотрел в глаза хозяину.

Демидов сердито засопел, молча отвернулся, чтобы не видеть лица своего заплечного.

— Сбежала, подлюга! — вскипел Щука и сжал кулаки.

В тот же вечер по указу Никиты Никитича холоп Щука пошел к домне. Гордей, увидя варнака, потемнел, насупил брови. Домна жарко пылала ровным пламенем, освещая закоптелый навес.

Щука подошел вплотную к Гордею, тронул за плечо:

— Где Аксинья? Айда со мной!

Работный сгреб с плеча холопскую руку, отбросил:

— Уйди, сейчас буду пускать лаву!

Он сумрачно повернулся и пошел наверх к жерлу. Щука не отставал и шел следом:

— Слышь, что ли?

Из пасти домны летели искры. Печь тяжко, прерывисто клокотала.

— Ну что? Аль не видишь, голова? Чего лезешь?

Гордей, расставив ноги, угрюмо смотрел в жерло домны. Щука опять тронул его за плечо, скрипнул зубами:

— Идем!

— Уходи подале от греха, уходи! — быстро блеснул глазами Гордей.

Щука глянул в лицо работного и ужаснулся: оно было неузнаваемо. С глазами, наполненными ненавистью, доменщик, как завороженный, медленно надвигался на Щуку. Подпаленная борода Гордея багровела в отсветах пламени. Сухими, потрескавшимися губами он шептал что-то...

Щука понял все и стал пятиться:

— Ты что же это, а? Ты что ж это?

— Уйди, Христа ради! — доменщик взмахнул руками, схватил Щуку.

— Люди-и-и...

Щука вцепился в горло противнику и заорал.

— Ты так? — Гордей с хрустом оторвал холопскую руку от горла, схватил Щуку поперек и поднял над собой.

В секунду Щука увидел широкое клокочущее жерло домны, бегущих рабочих; надрывая глотку, крикнул:

— Пусти, слышь, пусти! Озолочу!

— Молчи, гад...

Доменщик уверенно подошел и сбросил Щуку в клокочущее жерло.

Над домницей взметнулся и рассеялся легкий парок. Рабочие онемели. Гордей поспешно сошел вниз; не оглядываясь он пригрозил:

— Не трожь меня! Загублю!

Доменщик Гордей и его дочка с той поры как в воду канули.

Глава шестая

I

Акинфий Демидов все еще пребывал в Санкт-Питербурхе и дивился тому, какая большая перемена произошла в нравах и делах с той поры, как скончался царь Петр Алексеевич. При нем люди жили сурово, уме-

ренно и помышляли о делах. Санкт-Питербурх вырастал среди вересковых болот, на топях: в такой работе человек жесточал; в новую гавань приходило много иноземных кораблей; жили торговые люди торопливо, суетно, как на великом торжище. На петровских ассамблеях за должное почиталась простота в обращении и в нарядах. В только что отстроенном городе дома не отличались обширностью; жили просто. Часто в той горнице, в которой только что отобедали, убирали столы, подметали полы веником, несмотря на стужу,— ассамблеи происходили только зимой,— раскрывали окна и проветривали; тут и танцевали. Царь жил просто, не любил роскоши.

При царице Анне Иоанновне все изменилось. Знать в Санкт-Питербурхе жила шумно, изысканно. При дворе праздник сменялся праздником, балы шли за машкерадами; все блистали на них неслыханной роскошью, дорогим платьем. Анна Иоанновна не пропускала ни одного пустячного случая для развлечения. Царицу окружали иностранцы, большею частью курляндские немцы. Курляндец Бирон, пожалованный в обер-камергеры, украшенный лентами и орденами, неотлучно находился при ней; все это сильно оскорбляло русское достоинство.

Демидов разъезжал по влиятельным лицам, ко всему приглядывался, прислушивался. Празднества и машкерады истребляли много денег, а их было мало: все вельможи с вожделением глядели на Демидова как на тугой денежный мешок. Однако Акинфий Никитич раскошеливался неохотно: размышлял и приценивал людей,— которые из них поустойчивее; все гнутся перед тобой, а завтра ты червь и кандальник, увозимый в Пелым или в другое отдаленное, гиблое место, и все отвернутся от тебя. Так было со сподвижниками царя Петра Алексеевича — сиятельным князем Меншиковым и другими.

«Однако ж,— думал Демидов,— с волками жить — по-волчьи выть».

Рудные земли и казенные заводы на Каменном Поясе расхватывались вельможами, и эта раздача шла при участии всемогущего фаворита Бирона. Главным начальником горного ведомства в Санкт-Питербурхе он назначил неизвестного проходимца, своего соотечественника Курта фон Шемберга, который фактически являлся лишь подставным лицом и помогал ему беззастен-

чиво грабить казну. Знаменитую на Каменном Поясе гору Благодать, богатую лучшими рудами, Бирон пожаловал Шембергу, иначе говоря — себе. У Акинфия Демидова дух заняло:

— Вот так кусок отхватил!

Он завидовал немцам, но в то же время старался угодить им. Акинфий хитрил и обхаживал придворных. За короткий срок он сдружился с младшим братом фаворита Густавом Бироном.

Жил тот в пожалованном царицей особняке на Васильевском острове; дом стоял, окруженный ельником, и напоминал за́мок. Высокий рыжий Густав Бирон увлекался конями и псами, часто охотился в приневских лесах и на полесованье всегда бывал пьян и жесток.

Встречал курляндец Демидова отменно; вдвоем они гоняли по полю коней. В волосатых руках курляндца — в них чуялась сила — кони смирели и были покорны. Дарил Акинфий Демидов Густаву Бирону добрых псов, кровных коней и сибирскую рухлядь.

Стоял февраль; на улицах столицы была гололедица, изморозь делала город неуютным и постылым; сальные фонари зажигали с четырех часов пополудни: они смотрели в сумрак слепо и беспризорно, пуще навевали тоску и одиночество. При дворе восьмой день шел машкерад, все до забвения увеселялись, часто меняя машкерадное платье и поражая друг друга расточительностью. Вечером, в десятом часу, при дворе и в саду, где ветер с моря раскачивал черные голые ветки, зажигали фейерверк. В Санкт-Питербурх король польский прислал своих придворных итальянских комедиантов, и они ставили комедии.

По неприветливым улицам проехал Акинфий Демидов на Васильевский остров. Над ветхой церковью Исаакия, что неподалеку от Адмиралтейства, кружило воронье. На углу гулко хлопал рукавицами будочник. На Адмиралтейском шпиле гасла вечерняя заря.

Демидов застал Густава Бирона пьяным, с помутневшим взором; курляндец лежал на софе и ругался: утром подохла лучшая гончая. Завидев друга, он обрадовался, приподнялся и обнял заводчика; парик у Демидова съехал набок.

— Моя друг, собак подох, и я печален. Ты доставишь мне лютший?

Демидов оправил парик, сел рядом, обнял царедворца за талию.

— Доставлю, Густавушка, ей-богу доставлю.— Акинфий вздохнул.— Весь Урал перерою, а достану пса. Ух, и пса!

— Вот я говориль это. Обожаю тебя.— Бирон полез целоваться к Демидову; заводчик уловил подходящий момент и попросил:

— Я, Густавушка, за делом приехал. Тоска зашибла, хочу зреть царицу-матушку, нашу заботницу.

— Будет, эти день будет,— пообещал хозяин.

— Ой ли! — Демидов схватил царедворца за руку.— Забудешь, поди?

— Мой память крепко. Помни! — Бирон, пошатываясь, поднялся с софы, повторил: — Помни!

— Я тебе подарочек приготовил.— Акинфий умильно смотрел на курляндца.— Вот поди сам полюбуйся.

Бирон неторопливо — у него изрядно заплетались ноги — пошел в столовую; за ним, ухмыляясь, шествовал Акинфий. На круглом столе стоял ларец. Бирон жадно открыл его, запустил руку; в ларце зазвенели серебряные рубли...

В эту самую минуту за окном заскрипели полозья; гулко щелкнули бичом. Над ельником с криком поднялось вспугнутое воронье. Курляндец хлопнул крышкой ларца и подошел к окну. Сквозь заиндевелое окно видна была темная карета, кучер в ливрейной накидке важно восседал на козлах; с запяток спрыгнули два рослых гайдука и услужливо открыли дверцы кареты.

— Иоганн приехал. Вот черт, не ко времени, куда это девать? — Курляндец, пошатываясь, пошел к гостиной.

Дверь распахнулась, вошел Иоганн Бирон. Могущественный фаворит государыни Анны Иоанновны во многом походил на брата, только был чуть ниже, плотнее.

На фаворите был надет бархатный камзол темно-вишневого цвета с кружевным жабо. Нежной белизны чулки плотно обтягивали крепкие икры. На груди, на бархатном поле, сверкала бриллиантовая звезда. Демидов молча поклонился Бирону.

Сверлящим взглядом фаворит окинул горницу и, не здороваясь, спросил Акинфия:

— С Урал приехаль?

Не ожидая ответа, он сосредоточенно сдвинул рыжеватые брови и жадно протянул руки к ларцу.

— Что это? — Он проворно вырвал его из рук брата и откинул крышку.

В шандалах с треском горели свечи — в их трепетном свете засверкали новенькие серебряные рубли. Бирон запустил в ларец руку, сгреб горсть рублевиков и пропустил их сквозь пальцы. Монеты тонко зазвенели; в серых глазах вельможи блеснул жадный огонек.

— О, хорош рубли! Ваш? — Он хлопнул крышкой ларца и поставил рядом с собой.

Брат потянулся было к ларцу, но, встретив жесткий взгляд Иоганна, отодвинулся и опустил голову. Демидов прокашлялся, покосился на Густава Бирона.

— Иоганн,— сказал брат,— Никитич любит государыню, хочет целовать ее руку.

— Я всегда говориль, что вы верны слуг своей государыни.— Бирон величественно наклонил голову.

Акинфий прижал руку к сердцу:

— Ваше сиятельство, мы столь облагодетельствованы государями нашими; как сие забыть? Вашим попечением процветаем...

Бирон встал с кресла, прошелся, охорашиваясь, по горнице.

— Хотите ехать к государыне? Можно.

— Ваше сиятельство...— Демидов поклонился.

— Мы будем играть в карты. Государыня любит веселиться! — перебил его Бирон.

За окном шумел ветер, каркало воронье. На камине часы с розовощекими амурами отзвонили восемь. В шандалах потрескивали свечи. Бирон взял шкатулку, передал лакею. Вышколенный старик дворецкий бережно принял ларец, исчез за дверью. Фаворит величественно подошел к Акинфию, протянул два пальца:

— Вы хороший заводчик, об том говориль, мне известно. Государыне приятно будет вас видеть. Приезжайте... Да, весьма кстати! — приостановился в задумчивости Бирон и озабоченно сказал Демидову: — Вы, конечно, знаешь главный начальник горных заводов фон Шемберг. Он не имеет соответственно своей персоне хорома! — подняв палец, весело засмеялся вдруг вельможа, довольный тем, что вспомнил это русское слово.— Нельзя ли ему помогать, милый?

— Мои хоромы, ваше сиятельство, к услугам вашего соотечественника! — низко и угодливо поклонился Акинфий.

— О, сие весьма хорошо! Мы не забудем вашей

услуги!— с важностью сказал фаворит. Демидов и брат Бирона проводили его до прихожей.

Гайдуки укутали дородное тело вельможи в лисью шубу, под руки отвели в карету и усадили. В заиндевелом окне мелькнули огни фонарей удаляющейся кареты.

— Ух,— вздохнул Густав.— Мой брац ошень неравнодушна к деньгам. Что я теперь буду делать?

— Не беспокойся! — спокойно отозвался Акинфий.— Я еще ларец с такой укладкой доставлю... А ты, Густавушка, поворожи мне с братцем о рудной землице...

Он взял курляндца под руку, наклонился к уху и стал о чем-то упрашивать.

2

Акинфия Демидова допустили во дворец. К этому дню уральский заводчик готовился отменно. За день до поездки он послал Бирону сибирских соболей, чем последний остался очень доволен. Царицыным шутихам тоже отосланы были дары.

«Шуты,— рассуждал Акинфий Никитич,— а нужные людишки. Ко времени, глядишь, ввернет словцо, и ты в барыше...»

Густаву Бирону Демидов отыскал и доставил доброго псину. Все шло хорошо. Перед отъездом Акинфий облачился во французский кафтан модного покроя; в мастерских портного Шевалдье из сил выбились, отделывая тот кафтан. Француз цирюльник навил пышный парик.

В карету впрягли рысистых коней и подали к подъезду. Акинфий Демидов в собольей шубе сел в карету, и кони тронулись...

Демидова несколько часов продержали в приемной, пока не позвали во внутренние покои. Царица сидела в широком кресле, обитом французским гобеленом. Была она грузна и рыхла, с оплывшим серым лицом. Завидев заводчика, она насупилась, крепко сжала рот. Ее серые глаза с выражением недоверия остановились на Демидове. Стоявший за креслом царицы Эрнест Бирон быстро склонился и что-то шепнул ей. Она вяло улыбнулась и протянула мясистую руку, унизанную перстнями. Акинфий стал на колени и почтительно приложился к руке.

Бирон кивком головы одобрил поведение Демидова.

Гость незаметно огляделся и осмелел. Кругом расположились фрейлины в пышных робронах; у ног государыни на скамеечках сидели шутихи-говорухи. Царица любила, чтобы говорухи без умолку болтали. Наперсница Новокшонова, старая и костлявая дева, закричала:

— Ехало не едет и ну не везет...

Государыня оглянулась на шутиху, а та опять прокричала:

— Ни под гору, ни в гору. Ни с места: ни тпру ни ну!..

Желая потешить государыню, Демидов спросил шутиху:

— Неужто про меня, голубица, верещишь?

Шутиха высунула тонкий, как жало, язык и подразнилась:

— Бу-бу... А то про кого ж — сидит ворон на дубу...

Демидов догадался, что сказанное надо почитать за смешное, и, сохраняя меру и вежливость, засмеялся вслед за фрейлинами. Одна из них — большеглазая и томная, с темной мушкой в углу губ, сложенных сердечком,— лукаво улыбнулась Демидову. Была фрейлина стройна и в теле: понравилась заводчику, да не до того было.

Акинфий Никитич решил использовать выходку шутихи в свою выгоду. Он поклонился царице:

— Подлинно, государыня-матушка, ду-ду, сижу, как ворон на дубу. Пришлых по заводам обирают в рекруты, а робить некому...

Анна Иоанновна, несколько оживляясь, спросила шутиху:

— Ну что, Натальюшка, на это скажешь?

Новокшонова завертела глазами, блестели белки:

— У того молодца и золотца, что пуговка из оловца... Рогатой скотины — ухват да мутовка, дворовой птицы — сыч да ворона...

Тройной подбородок царицы задрожал от смеха, она приложила к тусклым глазам кружевной платочек. Смущенный Акинфий Демидов стоял ни жив ни мертв, растерянно смотрел на нее. Царица откинулась на спинку кресла, в ее завитых волосах блестели самоцветы. Голубое платье царицы — цвет не по ее возрасту — шуршало.

Чтобы показать свое благоволение к Демидову, Анна Иоанновна, сказала:

— Ну, Никитич, проси милости.

Акинфий опустился на колени:

— Матушка-государыня, многие милости твои низошли до нас. Вели записанных по заводам пришлых людишек освободить от рекрутчины!

Государыня быстро повернулась к Бирону:

— Эрнест, слышал просьбу?

Бирон наклонился к креслу, волнистые локоны его парика повисли и заколыхались. Он откликнулся:

— Слышаль, государыня. Добрый слуг — нельзя отказать!

Государыня подняла глаза на Демидова:

— Вставай, Никитич, дарую тебе эту льготу!

Царица встала и, шумя шелковым платьем, пошла по залу. Позади чопорно шли фрейлины. Бирон подмигнул Акинфию:

— Следуй!

Прошли зал, в котором несколько придворных танцевали менуэт. Государыня просияла и кивнула головой; сие означало: продолжать танцы. Но сама она, отяжелевшая от пищи, воздержалась от веселья и прошествовала дальше. За ней нарядной толпой степенно двигались придворные; незаметно появилось мужское общество. Демидов чувствовал себя стесненно; откуда только бралась неуклюжесть? К тому же французский камзол нестерпимо жал богатырские плечи, и некуда было спрятать большие руки. Придворные, в кружевах, в бархатных кафтанах, пудреные, пребывали в приятном настроении, перекидывались шуточками на иноземном языке.

В будничных царских покоях — сюда допускались только особы близкие — Анна Иоанновна уселась у стола. Седой вельможа, легкий и сухой, в шитом золотом камзоле, положил перед царицей непочатую колоду карт: в послеобеденный час царица изредка допускала игру. Многие незаметно ощупали карманы кафтанов. Демидов догадался, что по этикету все должны будут проигрывать: заводчик поотстал и шепнул дворецкому о ларце.

Задвигали стульями, усаживаясь за стол. Царица распечатала колоду и передала ее своему другу обер-камергеру Бирону; тот стал метать. Свечи в канделябрах светили тускло, покои имели низкие потолки, и потому становилось душно. Шутихи молча уселись у ног царицы. Лицо костлявой Новокшоновой посерело: устала старая девица.

Дворцовый слуга с бакенбардами, одетый в камзол с золотыми галунами, подсунул Демидову заветный ларец. Анна Иоанновна кокетливо держала карты веером; все видели, каких мастей они. За спиной царицы стояли советчиками два генерала из курляндцев. Каждый из придворных ходил к царице в масть. Она принимала это как привычное, жадно сгребая выигрыши в кучку.

Демидову было не по себе; он надулся павлином. Не изловчившись осторожно заглянуть в карты царицы, заводчик клал на стол масти, для себя выгодные. Они ложились у него на стол с крепким хлестом, по-мужицки; придворные укоризненно морщились. И каждый раз, когда Акинфий выкидывал карту, у него на спине в швах трещал французский кафтанишко; Акинфий Никитич горестно думал: «Ей-ей, набью морду портнишке Шевалдье за подвох...»

От пышного теплого парика Демидову было душно. Он подбрасывал карты и подмечал, что государыня покрывала их невпопад, допускала грубые передержки: крыла семерки двойками, королей — дамами. Акинфий доставал из ларца новенькие рублевки и платил проигрыш.

Царица осталась довольна; перед ней выросла горка серебра.

Рубли свежей чеканки радовали глаз. Анна Иоанновна вспомнила темный слушок: будто Демидовы добывали тайно серебро и чеканили монету. Рубли были звонки, чуялся в них добрый металл. Часа через два дно демидовского ларца опустело.

Не отрывая жадного взгляда от серебра, царица не утерпела. Когда Акинфий квитался по проигрышу новенькими рублевками, она, лукаво улыбаясь, спросила, указывая на серебро:

— Моей или твоей работы, Никитич?

Акинфий запнулся, но мигом нашелся: знал дерзкий заводчик, что у государевых людей против него нет никаких прямых улик. Он смело поднял на Анну Иоанновну глаза и уклончиво, но ловко ответил:

— Мы все твои, матушка-государыня: и я твой, все мое — твое!

Умный ответ понравился: царица и придворные рассмеялись...

В гостиной было душно, на стеклах осели капли. Пламя свечей в канделябрах то меркло, то ярко вспыхивало. Старый слуга в мягких туфлях бесшумно и

размеренно, с бесстрастным лицом, снимал темный нагар. Шутиха Новокшонова, прикорнув у ног царицы, сладко дремала. Камергер Бирон холодными серыми глазами зорко следил за играющими...

Спустя неделю Акинфию Демидову вручили указ императрицы, по которому за Демидовым записывались все «пришлые» — попросту беглые — людишки, пребывающие в нетях крепостные, тати, разбойники и каторжные. На вечные времена весь этот пришлый народ освобождался от рекрутчины.

Получив указ, Акинфий Демидов наказал доверенным отсыпать в кожаные мешки двадцать тысяч серебряных рублевиков и отослать камергеру Бирону. На той же неделе под Ладогой Демидов устроил знатную охоту на медведей. Полсотни жадных курляндцев с Густавом Бироном и Куртом фон Шембергом съехалось на медвежью обкладу. Густав Бирон пил до синего дыма в глазах, много раз его отливали водой. Со всей округи согнали с рогатинами мужиков, которые злобно поглядывали на куражившихся немцев. Завидя среди них Демидова, один из мужиков поклонился ему:

— Некстати вы, батюшка, связались с курляндцами. Не к лицу это русскому человеку...

— Молчи, окаянный, а то плетью перешибу!— закричал на него Акинфий.

Охотник укоризненно покачал головой:

— А я-то думал, русский ты, свой, а выходит — оборотень!

Кровь ударила в лицо Демидову, он размахнулся, но мужик на лыжах быстро уклонился от удара, размашисто махнул в ельник — и поминай как звали!

Охота удалась: убили медведя, жгли костры, кочевряжились пьяные курляндцы. Мужикам становилось не по себе, они сторожили немцев, угрюмо поглядывали на пьяный задор. Не радовался и Акинфий, в ушах его все еще звучало укоряющее слово: «Оборотень!»

Однако он постарался быстро заглушить укоры совести, с большой чарой полез к Густаву Бирону и, опорожнив ее за здравие курляндца, заискивающе попросил:

— Жизнь-то какая веселая, Густавушка, только дела проклятые донимают, и на охоте отдыха от мыслей нет. Помоги, братец!

Бирон хмельными глазами посмотрел на заводчика.

— Проси, Демидов! За устроенный огромный удо-

вольствий я и Курт фон Шемберг все сделаем для тебя!

— В силах ли то сробить, что думается мне?— с задором промолвил Акинфий.

— Мы все можем!— с важностью отозвался и Шемберг.

— Мне невеликое: убрать бы с Каменного Пояса Ваську Татищева! Вот как застрял в глотке!— со злостью выпалил Демидов.

— О! — весело сверкнули глаза Шемберга.— Сам Эрнест будет несказанно доволен сему! Сей нахальный человек всюду сует свой глаз! Это непременно будет сделано, Демидов. Моя вам рука!— Курляндец с важностью протянул Акинфию руку, и тот пожал ее.

— Запомни, так и будет!— подтвердил и Густав.

В их словах почувствовалась лютая ненависть к честному русскому человеку, который не хотел склонить перед ними головы.

После удачной охоты Демидов с гостями веселым обозом двинулся в Санкт-Питербурх. Дороги утопали в снегах. Попутные серые деревушки по крыши ушли в сугробы, и не видно было их убогости. На зимнем солнце поля сверкали белизной, и кружевным инеем блестел лес.

За шумным охотничьим обозом скакали псари с медными рогами, лаяли псы. На широких розвальнях, раскинув когтистые лапы, на брюхе лежал убитый медведь. Из оскаленной пасти на синеватый снег падали яркие кровинки.

Воздух стыл, дали становились пепельными. Пьяные курляндцы пели бестолковые и непонятные песни...

В Санкт-Питербурхе Акинфия Демидова поджидали неприятные вести. В людской сидели посланцы с Каменного Пояса — Мосолов и два бравых молодца.

Демидов переступил порог; завидев гонцов, нахмурился:

«Не к добру примчали!»

Мосолов поднялся со скамьи и, смело глядя в глаза хозяину, сказал:

— Еще не все утеряно, хозяин!

— И то добро.— Акинфий поджал губы, сел на скамью.— Докладывай, холоп!

Молодцы опустили головы, страшась грозного хозяйского взгляда. Мосолов не трусил, смотрел прямо на Демидова.

— Беда случилась, хозяин: штейгер, немец Трегер, сбежал с Колывани... Недоброе дело задумал он!

— Пошто не догнали?— В серых глазах Акинфия вспыхнул злой огонек.

— Гнали до Казани по всем дорогам да тропам, у переправ людишек пытали; сбег, окаянный. Неужто мы смилостивились бы?..

Молодцы встрепенулись; по их решительному виду понял Акинфий, что холопы не лгут; без жалости расправились бы со штейгером.

— Что ж теперь?— Демидов грузно прошелся по людской, на его ногах надеты были теплые сибирские пимы — не успел снять после охоты. На поясе висел кривой охотничий нож, Акинфий крепко сжал черенок, с лютой ненавистью выругался:— Поди, крапивное семя опять возрадуется и возьмется за свое. Ух-х!..

В душе Демидова поднялось мстительное чувство.

«Как клопы, из здорового тела сосут кровь!— сердито подумал Акинфий про канцелярских волокитчиков и сутяг.— Чуют, где пожива».

— Ну, докладывай; или все порассказал? — пристально посмотрел он на Мосолова.

— Ушел, подлюга, а довести дела, хозяин, я не мог: мчал сюда по следу,— отозвался приказчик.

— То добро,— одобрил Демидов старательного холопа.— Досказывай!

— Так вот, дознались мы,— продолжал Мосолов,— чужеземец Трегер до Питербурха допер, а тут к саксонскому посланнику ходил и подстрекал его порассказать матушке-царице, что мы на Колывани льем серебро...

— Так,— вздохнул Акинфий.— Дале сказывай!

— От повара да дворовых людишек-то и дознались мы. Также выпытали, где бывает этот Трегер. Подлюга, сделав дело, нанялся на гамбургский корабль и в немецком кабачишке, что в гавани, хвастал об отъезде и о содеянной тебе пакости, хозяин. Мы в том кабаке были и воочию видели немчишку...

— Ох, и душно!— пожаловался Акинфий, снял с головы парик и бросил его на скамью. Минут пять он сидел хмурый, низко опустив голову.

Мосолов терпеливо ожидал решения. Демидов встал, поднялись и молодцы.

— Вот что!— сказал после глубокого раздумья Акинфий.— Вели закладывать рысистых в карету; еду

к государыне... А саксонца Трегера будто и на свете не было. Понятно?

Мосолов кивнул головой:

— Понятно, Акинфий Никитич!

Демидов прошелся по горнице, пригрозил:

— Погоди-ко, будешь ты, сукин пес, в Гамбурге, где раки зимуют!

Голос хозяина прозвучал жестко.

В одиннадцатом часу утра Демидов приехал во дворец.

Царедворцы не хотели пустить, но упрямый заводчик уселся в кресло и пригрозил спальничему:

— С места не сойду, пока не оповестите о моем приезде царицу-матушку. Приехал я с прибылями государевой казне...

За окном стлался холодный туман; зимнее питербурхское утро вставало поздно. По коридорам бегали непричесанные заспанные фрейлины. Акинфий заметил среди них большеглазую с темной мушкой, ту самую, которая на приеме у царицы улыбалась ему. Фрейлина торопливо шла через приемную.

Демидов силился вспомнить придворный этикет, но так и не вспомнил.

— Камер-фрау, ваше степенство, сударыня, одну минутку обождите!— вставая, торопливо сказал он фрейлине.

Придворная жеманница удивленно посмотрела на Демидова, одетого все в тот же французский кафтан и парик, и вдруг узнала его.

— Красавушка-барышня!— Акинфий схватил руку фрейлины, стремясь поцеловать.

Девушка с удивлением рассматривала заводчика и вдруг весело засмеялась:

— Как вы сюда попали, сударь?

— Заботы привели, матушка-сударыня. Царицу-матушку повидать надобно по важному делу.

Фрейлина прижала к губам тонкий пальчик с колечком, на котором сверкнула капелька бирюзы. Акинфию стало легко на душе, он осмелел и медведем пошел на фрейлину:

— Руду нашел, серебро нашел, хочу государыне к стопам положить!— гаркнул Акинфий; под его крепкими ногами потрескивал паркет.

— Тс... Тсс...— Придворная погрозила пальчиком. Однако по всему было видно, что кряжистый уралец

пришелся ей по сердцу своей напористостью. Она пообещала:— Их величество еще в постели, но я осмелюсь доложить...

Не успел Акинфий опомниться и договориться, как она легкими шажками убежала...

В приемную, семеня ножками, опять вошел дворецкий.

— На!— Демидов кинул ему горсть серебряных рублевиков.— Схоронись, не мозоль моих глаз!

Дворецкий сухими ручками сгреб рубли, но не уходил.

Акинфий не садился, топтался, сопел и с нетерпением поглядывал на дверь в дальние покои, в которых, по его догадке, пребывала государыня.

Наконец, к изумлению дворецкого, из внутренних покоев вышла бойкая фрейлина и, сделав перед Демидовым реверанс, пригласила:

— Пожалуйте! Их императорское величество просят...

Демидов, стуча каблуками, твердым шагом ринулся в спальню.

Анна Иоанновна сидела облаченной и тревожно смотрела на заводчика:

— Что случилось, Никитич? Ты ни свет ни заря пожаловал.

Демидов упал перед царицей на колени:

— Не могу утерпеть, государыня-матушка, от радости. Людишки мои нежданно-негаданно в Сибири у Колывань-озера открыли серебряную руду. Бью челом и прошу вас, милостивая матушка, принять открытое... Не худое серебришко!

Лицо царицы построжало, она укоризненно покачала головой:

— Ой, хитришь ты, Никитич, перед своей государыней! По глазам твоим вижу.

— Что ты, государыня-матушка, чистосердечно мыслю государству прибыль принесть!

Тяжело дыша, Анна Иоанновна встала, взяла Акинфия за плечо, подняла:

— Вижу, насквозь вижу тебя, Никитич. Но за расторопность и хватку твою щажу тебя...

Демидов приложился к руке царицы. Она немного подумала и, как бы вспомнив что-то, торжественным тоном сказала:

— Жалую тебе, Никитич, то, о чем просишь. Пойди благодари герцога Эрнеста, хвалит больно тебя.

Царица еще раз поднесла к губам Демидова руку и, осчастливив его вялой улыбкой, удалилась в другой покой. Неизвестно откуда вынырнула большеглазая фрейлина, схватила Акинфия за руку:

— Теперь вам надо уходить: аудиенция окончена.

Она провела Демидова в приемную.

— Уф-ф!— шумно вздохнула она.— Какой вы неловкий!

Акинфий встрепенулся.

— То верно,— неловкий, зато силен. Вот!

Он согнул свою руку. И тут совершенно неожиданно для него приключился большой конфуз: рукав бархатного наряда не выдержал, лопнул по швам.

— Медведь!— восторженно заблестели глаза девушки.

Акинфий покраснел, растерялся. Из покоев по паркету раздались гулкие шаги. Фрейлина толкнула Акинфия в плечо.

— Уходите скорей, нас могут заметить. Ну!

Демидов, придерживая лопнувший рукав, быстро и ловко юркнул к выходу.

Спустя три часа Акинфий Никитич ходил по обширным покоям; батя строил их широко и привольно. В покоях стояла прохлада, в углах выступила изморозь: печи топились редко. Хозяин не любил тепла. «От него тело млеет и душа коробится»,— жаловался он на жарко натопленные печи. На сердце Акинфия было покойно и радостно. Он сделал большой кукиш и тыкал кому-то невидимому:

— На-кось, крапивное семя, выкуси!

Спустя два дня из гаванского кабачка вышел саксонец Трегер, и больше никто его никогда не видел. Так и не дождались его на гамбургском корабле.

Мосолов доложил хозяину:

— Который день мы ходили за ним, так и не видели; исчез человек со свету...

Акинфий по глазам холопа угадал, что его невысказанный приказ выполнен сурово и неукоснительно.

...В самый разгар весны, в мае 1737 года, Акинфий Демидов вернулся на Урал. Прибыл он на струге и на Утке-пристани неожиданно встретил своего врага Татищева. Каждая жилочка на лице Акинфия затрепетала от восторга и звериного ликования. Четыре работных

бережно несли носилки, на которых лежал исхудалый, больной Василий Никитич.

— Это куда его? — тихонько спросил он приказчика.

— Выбывает их превосходительство,— сдержанно ответил служака.— Повелением государыни назначен Василий Никитич в Оренбург для устроения Башкирского края.

— В почетную ссылку, стало быть?— нарочито громко переспросил Демидов, но приказчик пожал плечами:

— Не можем знать, господин!

Акинфий повеселел. Наконец-то свален его враг! Бирон сдержал свое слово!

Заводчик победоносно оглянулся и увидел на пристани толпу крестьян с обнаженными головами. Они уныло глядели вслед удаляющимся носилкам.

— А вы-то что поникли, как трава под снегом?— с деланным сочувствием спросил их Демидов.

— Поникнешь, когда хорошего русского человека подальше от нас убирают! А только думается нам, не век вековать немцам на нашей шее! Смахнет Русь и эту нечисть, как смахнула татар и ляхов-панов!

Акинфий ничего не ответил, повернулся и молча пошел прочь. Его самого раздирали противоречивые чувства...

Демидов проехал в Екатерининск. Хоть он и дружил с курляндцами, но сердце его сжалось, когда он узнал, что город-завод вновь переименован в Екатеринбурх. В Горном управлении уж изрядно набралось немцев, и горные звания вновь были переименованы в немецкие. Но все же даже немцам трудно было стереть память о Василии Никитиче Татищеве. Уезжая, он подарил свою богатейшую по тому времени библиотеку из тысячи книг горной школе, которая в эти годы стала иначе выглядеть. Татищев сумел убедить крестьян отдавать своих детей в учение, и сейчас в словесной школе насчитывалось сто семьдесят учеников, а в арифметической — двадцать шесть. Это были дети крестьян, мастеровых, работных и солдат местного гарнизона.

С дозволения начальства Акинфий прошел в класс и был поражен. Высокий, приятного вида учитель Кирьяк Кондратович, питомец Киевской духовной академии, читал ученикам Горация. И, что было всего удивительнее, школяры бойко отвечали учителю по-латыни. На

уроке горного дела Демидов как раскрыл рот, так и остался жадно слушать до конца.

«Да, времена ныне пошли другие!» — с горечью подумал он.

Он еще раз оглядел оживленные лица ребят и ушел из школы, чтобы не вспоминать больше о Татищеве...

Глава седьмая

1

Прошло восемь лет; в 1745 году на Колывано-Воскресенские заводы, по указу государыни Елизаветы Петровны, прибыл опытный в горном деле бригадир Андрей Беер. Демидовские приказчики продолжали копать и плавить серебряную руду. Пробовали они сопротивляться наезжему бригадиру, но горный начальник имел при себе царский указ да солдат. Своевольных приказчиков он без промедления арестовал и направил в Екатеринбурх, в главную горную контору, для допроса и взыскания. Кладовые с серебряными слитками бригадир опечатал, а к делу приставил новых людей.

В тот же год Андрей Беер на подводах под надежным караулом представил в Санкт-Питербурх сорок четыре пуда золотистого серебра. Императрица Елизавета Петровна повелела из этого серебра отлить раку для мощей святого Александра Невского, что и было сделано искусными мастерами.

В 1745 году императрицей Елизаветой Петровной был дан указ правительствующему сенату: по нему Колывано-Воскресенские заводы Демидовых передавались казне с уплатой заводчикам огромных сумм.

Заводы отходили в казну со всеми отведенными для того землями, с выкопанными всякими рудами и инструментами, с пушками и мелким оружием, и с мастеровыми людьми, и собственными его, Демидова, крепостными крестьянами.

Но Акинфия Никитича Демидова уже не было в живых; 5 августа 1745 года он скончался.

Смерть пришла для грозного заводчика нежданно-негаданно...

2

Акинфию Демидову шел шестьдесят седьмой год. Несметные богатства накопил уральский властелин: золото, драгоценные камни, ткани, хрусталь. Далеко за пределами отечества славились огромные заводы Невьянский и Тагильский.

Сбылась мечта Акинфия Никитича: заграбастал он уральские рудные земли и возвел на них семнадцать заводов, вокруг которых застроились многолюдные рабочие поселки. Тридцать тысяч работных людей, вместе с приписными крестьянами, неустанно работали на демидовских заводах. Для защиты от набегов обиженных притеснением башкиров понастроил Акинфий на заводах крепостцы с бастионами, окопал рвами и вооружил их пушками. В крепостцах за кошт заводчика содержались гарнизоны.

По Каме-реке и по Чусовой ходили демидовские баржи, груженные железом, клейменные знаком «соболь». По дорогам шли бесконечные обозы с пушками, с чугунными и железными мортирами, с ядрами, гранатами и фузеями; везли их до реки Чусовой, где по вешней воде спускали струги в понизовье до указанных государыней мест. В борах, в глухомани звенел топор: тысячи приписных крестьян валили вековые лесины и жгли уголь, потом, надрывая тощую животину, доставляли его к ненасытным домнам.

В бездонных сырых шахтах, в кромешной тьме неустанно гремели кирки и лом: горщики ломали руду. Звякали цепи: прикованные к тачкам работные подвозили руду в рудоразборные светлицы.

В каменном невьянском замке с наклонной башней Акинфий чувствовал себя царьком. Год от году росла его жадность. Он предложил казне неслыханное дело: брался уплатить в государстве всю подушную подать, а взамен просил уступить все солеварни, какие есть на Руси, в том числе и соликамские варницы торговых людей Строгановых. И еще просил Акинфий Никитич повысить продажную цену соли. Государева казна не пошла на это неслыханное дело.

Пролетели годочки, уходили силы, незаметно подкралась и старость.

Жизненная усталость и тоска томили старика. Желтолицый, обрюзглый, нос его закорючился, как у стервятника, он метался по гулким горницам своей камен-

ной крепости. Смутный страх и тревога волновали его. Он подходил к зеркалу и трогал дряблую кожу:

— Что, бирюк, состарился? Неужто скоро конец?

От докучливых мыслей на крутом лбу выступал холодный пот. Он отворачивался от своего изображения в зеркале, но вид искаженного старостью лица преследовал его. Он валился на диван и звал:

— Мосолов!

Приказчик переступал порог хозяйской горницы, по-собачьи заглядывал в глаза Акинфия. Хозяин, отдавая наказы по заводам, тут же совместно с приказчиком для отвлечения себя от тягостных мыслей надумывал потехи...

3

Грустный, злой, Акинфий отправился в невьянские боры на охоту. Весь день охотники с борзыми плыли по реке Нейве. Жгло солнце: тело распарилось, разъедал соленый пот; к этому докучали проклятые оводы. Борзые лежали на корме, вывалив из пасти мясистые языки, задыхались от жары. У Ефимкиной курьи обеспокоились, заскулили псы: в реке сидел медведь и фыркал — по воде шел веселый гул. Завидев людей, зверь нехотя подгреб к берегу и юркнул в тальник. Мосолов зло сплюнул:

— Угреб-таки, окаянный. Вот бы пальнуть!

Акинфий опустил за борт руку и пропускал меж пальцев воду. Зеркальная струя была студена и тороплива. «Вот и я так хотел ограбастать все в жизни. А жизнь-то меж пальцев протекла!» — горько подумал Акинфий.

Напрасно Мосолов старался развеселить хозяина. Чело Акинфия Никитича помрачнело. И никак не мог угадать приказчик, какой потехи поджидал Демидов.

Под вечер охотники пристали к берегу. Гудели и вились серыми столбами комары; с реки несло сыростью и запахом тины. За медными соснами догорал закат. На глухое озеро над лесом пролетела запоздалая утиная стайка. Из серых еловых лап разложили дымный костер.

Акинфий всю ночь не сомкнул глаз, лежал спиной к костру; огонь хорошо грел его старые кости. Ночной лес затаенно гудел; среди вековых сосен лежала плотная тьма; под лапой зверя трещал валежник, в чаще

ухал филин. И опять Акинфий подумал о смерти: «Неужто скоро в домок из шести досок, под дерновое одеяльце?»

Росистым утром по лесу гоняли старого лося. Псы устали. Старый лось был ловкий, увертливый, хоть и притомился; видно было, как в беге через поляну вздымались его бока,— однако зверь ушел. Вместо досады Акинфий приободрился, разгладил насупленные брови, загоготал:

— Ушел-таки, чертушка. Стар, да удал!

— Может, это и не лось, а сам леший?— откликнулся недовольный Мосолов.— Вестимо, леший!

— Пусть сам черт, лишь бы ловок!— заблестели хозяйские глаза.

— Вестимо,— догадался Мосолов.— Старый дуб крепок, гроза — и та не всегда свалит.

К вечеру повеселевший Акинфий приплыл к Невьянску.

Усталый, измученный, он еле добрался до постели, но заснуть не пришлось. Из-за гор подошла темная туча; всю ночь над шиханами и борами гремела буря. Грозовой ветер с корнем рвал и крушил на шихане вековые сосны и, как былинки, уносил их на Нейву-реку. В давние годы Акинфий любил могучие, буйные грозы. В борах шел раскатистый гул, от ливня вздувались реки, шумели потоки, мохнатые черные тучи рвались с грозным рокотом, дух захватывало от блеска бесноватых молний. Стоя на шихане с непокрытой головой, подхлестываемый ливнем, Акинфий кричал:

— Жарче, хлеще вдарь!

От грома содрогались горы, и слуга, в страхе взирая на хозяина, торопливо крестился:

— Свят, свят! С нами крестная сила!

И в эту ночь, так же как и в былые годы, шумел ливень, барабанил в окна. Сон был тревожен, и тело дряхлело. Всю ночь снилась Тула, старая отцовская кузня, жена Дунька, Сенька Сокол, кровь... Потом все таяло дымком, и бродил Акинфий по подземельям, под ногами хлюпала вонючая грязь, в осклизлой мерзости ползали гады; от смрада у Акинфия кружилась голова, спирало дыхание. Грозный каменный свод непреодолимо опускался на Акинфия; в смертельном страхе он уперся руками в холодный камень, но не смог остановить его. У Акинфия задрожали руки, и бессильные слезы потекли по дряблым щекам. Камень падал, он

слышал хруст своих собственных костей. И в эту минуту Акинфий простонал, открыл отяжелевшие веки.

За окном золотистой каймой вспыхнул гребешок далеких гор: всходило бодрое солнце. На травах сверкала крупная роса. Блестели умытые грозой деревья. Легкий ветерок пробежал по листве сада, с веток серебром сверкнули капли. Демидова потянуло в родные места: «В Тулу! В Тулу!..»

Неделю длились сборы. Акинфий Никитич нетерпеливо ходил по двору и торопил всех. Кузнецы ковали коней, каретники полировали возок; портные обряжали в новые наряды ямских и слуг. По дороге от Невьянска до Чусовой подновляли мосты. Приказчики объезжали придорожные деревни, сгоняли народ приветствовать господина. Было настрого приказано заводским и приписным, чтобы бабы выходили на дорогу при проезде Демидова в новых сарафанах, а мужики — расчесанными да в новых лаптях и в чистых портках. На пристанях по Чусовой повесили флаги, словно готовились к царской встрече...

Настал день отъезда Акинфия Никитича в Тулу; обоз во множество подвод вытянулся по дороге. Впереди ехали пятьдесят конных казаков, одетых в новые жупаны; с обозом шло пятьдесят пеших стрельцов. Телеги были полны богатой клади: мечтал Демидов удивить невиданным богатством родную Тулу. Ехал Акинфий Никитич в раззолоченной карете с дворянским гербом, позади экипажа на запятках стояли два гайдука. Путь лежал по вновь проложенному большаку до реки Чусовой. Впереди поезда скакали вестовые. При выезде Демидова из Невьянской вотчины ударили из пушки, звонили колокола...

Но ничто уже не радовало Акинфия: неожиданная слабость охватила его тело. Напрасно лекарь на остановках делал притирания, ничто не помогало: слабел Акинфий Никитич...

В Утке карету и возки поставили на струги и поплыли по Чусовой. На воде было привольно, мелькали леса, обдували ветры, но это не приносило облегчения...

Лежал Акинфий Никитич на взбитых перинах, хорошо укрытый.

Мимо плыли горы, скалы, леса, и небо было синее и необъятное...

«И всё то мое!» — жадно думал он.

Но взор слабел, и не слушались руки. Струги проплыли Чусовую, вышли на Каму-реку. Под Егожихой на пристань выходил воевода, но Демидов не принял его: не пожелал показать своей хворости.

Сам себя Акинфий утешал: «Погоди, еще встану на ноги, еще поживу!»

Ему казалось: стоит только добраться до родной Тулы, ступить на родную землю — как и силы вернутся...

Вот и камское устье.

Плохо стало Акинфию; остановили струги. На берегу высились скалы да шумел бор. Хозяин наказал перенести себя на берег и положить на землю...

Опускалась ночь; над лесом сверкали крупные звезды; шумела река; играла рыба...

Акинфий молча смотрел на звезды, и все теперь казалось ему чужим и отошедшим назад. Душу давила глубокая тоска, он закрыл глаза и жадно хватал свежий ночной воздух...

Неизвестно, сколько времени он дремал, но проснулся так же внезапно, как и задремал, словно от толчка.

Перед ним стоял высокий седобородый старец, за спиной его виднелись лица родных.

«Уж не поп ли соборовать?» — подумал Акинфий и спросил — голос был тих и слаб:

— Кто ты?

— Я — человек,— просто ответил старец.— Прослышал я, что ты плывешь, захотел поглядеть на тебя...

— Я не птица и не зверь диковинный,— строго прошептал Акинфий.— Пошто на меня глядеть?..

Старик усмехнулся, глаза ясны.

— Верно, ты не птица и не зверь невиданный,— согласился он.— Но ты необычный человек, и жадность твоя необычна... А потому я хотел поглядеть на тебя — убийцу моего сына... Помнишь беглого солдата Бирюка, а?

— Ух, леший! — разозлился Акинфий.— Или ты не знаешь, как я могуч и властен? Оглянись и увидишь, сколько я заводов на Камне возвел!

— Эх, и хвастлив ты не в меру! — покачал головой старец.— Не твоих рук это дело! Возводили заводы, закладывали шахты, лили пушки, копали руду русские

люди! Заботливые рабочие руки вознесли край до славы!

— Уйди, уйди, лукавый! — закричал Акинфий и открыл глаза. Старца не было: растаял как дым. Рядом трещал костер, в густую тьму сыпались быстрые золотые искры. Слуги спали крепко.

«Померещилось! А может совесть говорила?» — подумал Акинфий, повернулся на бок и захрапел...

Утром на зорьке, когда из-за камского бора выплыло солнце, Акинфий лежал тихий и молчаливый.

Холопы из камня вытесали крест и поставили на берегу Камы...

Гуляют камские ветры, шумят воды, и волжские да камские бурлаки горьким соленым потом поливают прибрежные тропы.

Грозного невьянского хозяина отвезли в Тулу и похоронили рядом с отцом. Ненасытный Акинфий Демидов, мечтавший захватить весь Каменный Пояс, успокоился на маленьком клочке земли.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное
издание

Федоров *Евгений Александрович*

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ



Книга первая

ДЕМИДОВЫ

Ответственная за выпуск *Е. А. Борсук*

Художник *С. П. Савич*

Художественный редактор *В. Н. Валентович*

Технический редактор *И. П. Тихонова*

Корректор *Л. А. Еркович*

ИБ № 2694

Сдано в набор 15.06.87. Подписано в печать 03.12.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 19,94. Тираж 2 500 000 экз. (8-й завод 1 300 001—1 500 000 экз., 7-й завод 1 150 001—1 300 000 экз. изд-ва «Беларусь».
Изд. 5662. Зак. 1288. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Полымя» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа.
220005, Минск, Красная, 23.

Федоров Е. А.

Ф33 Каменный Пояс: Роман в 3 кн. Кн. I. Демидовы.— Мн.: Полымя, 1988.— 363 с.

ISBN 5—339—00128—8.

Роман «Демидовы» — первая книга трилогии «Каменный Пояс» русского советского писателя Е. А. Федорова (1897—1961). В центре повествования — зарождение русской промышленности на Урале.

Талантливый тульский оружейник Никита Демидов благодаря покровительству Петра I начинает строительство горных заводов. Скупая за бесценок обширные земли, нещадно эксплуатируя крестьян, Демидов и его сыновья становятся хозяевами Каменного Пояса — Урала.

Роман охватывает период русской истории начиная от последних лет XVII века и кончая серединой XVIII века.

Ф $\frac{4702010200-160}{М\ 306(03)-88}$ БЗ 3—88

ББК 84.4Р7

ВТОРАЯ КНИГА ТРИЛОГИИ

Е. А. Федорова

«КАМЕННЫЙ ПОЯС» — «НАСЛЕДНИКИ» —

БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В 1988 ГОДУ.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ТРИЛОГИЮ КНИГА

«ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР»

ВЫЙДЕТ В СВЕТ В 1989 ГОДУ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги и картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 куб. м древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.

Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

Сдавайте макулатуру заготовительным организациям!

1 р. 90 к.